VASA INIQUITATIS
COCYTI BIBLIOTHECA

Тони Дювер

ОСТРОВ В АТЛАНТИКЕ

gеревод Валерия Нугатова

Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр

Tony Duvert
L'ILE ATLANTIQUE

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка: Алексей Кропин
Верстка: Дарья Громова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

©1979 by Les ditions de Minuit
© Kolonna Publications, 2018

ISBN 978-5-98144-238-4

I

Жюльен приподнимается на кровати: церковный колокол пробил полдесятого. Стена за головой сырая и пахнет сгнившей тканью или грибами. Мальчик боится зажечь свет: он не уверен, что родители спят. Они увидят свет под дверью между комнатами.

– Все сильнее и сильнее. Не знаю: идти – не идти. Нет, не пойду. Ничего не будет, дождь хлещет. Нет, ничего не будет.

Ни ветерка. Волны бьются о берег под проливным дождем. Конец апреля.

Жюльен прислушивается. Они уже спят. Громогласный храп резко прерывается икотой, затем медленно, с присвистом возобновляется – это его мать, Симона Рокен.

– А старик чего ждет? Дрочит, сука.

Жюльен и сам обхватывает ладонью свой мальчишечий член. Но ему противно то, о чем он только что подумал, и он убирает руку.

– Ну все, теперь слышу.

Другой храп – это уже отец.

Жюльен не решается встать, но оставаться тоже не хочется. Сна ни в одном глазу.

– Ладно, попробую. Может, придет Гийяр. Может, там будет Рене. Хорошо, пойду.

Он уже встал и уверенно движется в темноте. Комната крохотная: кровать, комод и стул. Жюльен быстро ощупывает стену: он знает, что сразу за углом комода – две скрипучие половицы. Он широко их перешагивает, словно спящего сторожевого пса или остро отточенную косу.

Затем минут пять Жюльен открывает окно и ставни – миллиметр за миллиметром. Он не боится скрипа петель: он утром их смазал. При каждом прикосновении трещит и стонет сама древесина, прогнившая от соли и ветра.

– Блядь.

Сквозняком из рук вырывает ставню, и она хлопает о стену снаружи. Пригородный домик вздрагивает.

У Жюльена сперло дыхание, и он замирает. Здесь, у окна, родительского храпа не слышно из-за дождя.

– Что стряслось? Ветра же нет. Даже не пернет. Левая. Осторожней.

Через минуту он успокаивается. Теперь можно одеться. Он ставит туфли на подоконник: обуется на улице.

Потом передумывает из-за дождя и завязывает шнурки в комнате. Крепкие крестьянские или сиротские башмаки.

Он встает. Всматривается в глубь сада. Глаза привыкают к темноте. Вскоре он уже различает детали. Улицы не освещены: свет вырубают после десяти. Низенькие белые дома разбросаны по плоским участкам земли без деревьев.

Дождь уже не такой сильный.

– Угу там будет Гийяр.

Его школьный плащ висит на кухне. Пойти за ним нереально. Он надевает курточку от пижамы

поверх пуловера. Рукава стягивают суставы тисками.

Жюльен с разбега запрыгивает на подоконник и приземляется внизу. Пускается бегом, на цыпочках, огибая лужи. Дворы здесь почти не огорожены со стороны улицы.

Место встречи – корабельный док Тере.

Ален Вио живет у бабки. Ему девять. Мальчишки прозвали его Сороконожкой, потому что он слегка косит. Он сбежал из дома еще в десять часов: бабка Вио ложится рано, а ему нравится дождь.

Его дом – так же, как и дом Жюльена – расположен в западном предместье Сен-Реми, там, где начинаются огороды. Внизу под утесом море черное, беспокойное и воняет больше, чем в порту. Туда не смотрят и никогда не спускаются. Красивые пляжи – на юго-востоке, с другой стороны города, где живут богачи.

Вио пришел в док первым. На нем была слегка просвечивающая накидка велосипедиста из дымчатого целлофана. Она доходила до лодыжек, но была разорвана спереди. По голым коленям хлестал ливень. Вио сжимал под мышкой бутерброд с паштетом, так что из-под накидки за версту разило чесноком и жирной печенью.

Он спустился в док, забрался в лодку, вытащенную на гальку, сел и принялся есть, не откидывая капюшон: промокший, он улыбался до ушей, уплетая толстый ломоть хлеба.

Старуха Вио терпеть не могла, когда внук таскал у нее еду. Она кричала, ругалась, давала подзатыльники, если ловила с поличным. Однажды сирота, которому было не то пять, не то шесть,

настолько вывел ее из себя, что она попросила соседа догнать и наказать его. Тот снял с Вио штаны и отлупил до крови прямо возле дома. Всего один раз на те пятьдесят, когда ему удавалось улизнуть.

Другие дети смеются и говорят, что после этого случая Ален Вио и стал косоглазым.

Зато теперь он научился уклоняться от ударов, его больше не подловишь. Он ворует под носом у старухи, подглядывая за ней тем глазом, что смотрит немного вбок. Мало говорит и плохо успевает в классе. Но он умен.

Бабка пытается его воспитывать и орет:

– Ну почему не попросить, вместо того чтоб воровать?

Вио и сам не знает. Он и впрямь не любит просить – ни у нее, ни у кого-то еще. Еда, которую готовит эта черствая и язвительная мумия, не доставляет ему никакого удовольствия. Он поглощает ее машинально, а пирует вечером, когда в одиночку поедает в постели то, что сумел стянуть днем. Размокший от масла гренок, остатки ссохшегося паштета, кроличья грудка в застывшем соусе, сырое яйцо и особенно – шкурки от сала. Бабка отделяет и откладывает их на суп, но он выслеживает, отыскивает и крадет их с крысиным терпением. Янтарная копченая шкурка, белый жилковатый жирок, покрытый насечками, и жесткая щетина, что колется, как старухин подбородок, – все это сводит его с ума. Он разжевывает шкурки под подушкой, измазывает в жире пальцы, засыпает прямо на них. К мясным прослойкам в сале он равнодушен.

Бабка Вио объясняет соседкам, что этот косоглазый не такой уж вредный ребенок: просто он не может себе отказать. Дичок.

Доктор Амбрез, молодая женщина, спросила, не воровала ли бабка в детстве. Никогда, ответила Вио. Родители убили бы ее на месте. Шестьдесят пять лет назад ее спину закалили порками. Но мы были честными и не воровали, как какие-нибудь уголовники.

Врачиха Амбрез объясняет, что Алена вполне можно прооперировать. Мадам Вио злобно, наотрез отказывается, рассердившись так, словно пригрозили сделать молодой и красивой ее саму.

Порой врачиха оставляет малышу использованный шприц. Видно, она не боится, что тот поранится. Он играет под ее присмотром. Пускает струйки воды, прокалывает яблоки, морковку, капустные кочерыжки, тряпки.

Он нарочно сдирает иголкой кожу на пальце, пускает кровь и с вызовом наблюдает за женщиной, но та не реагирует. Он удовлетворенно сосет ранку и снова начинает колоть бабкин скарб. Игла вскоре ломается. Врачиха улыбается, разговаривает, но не угрожает, не кричит, не бьет, не накладывает бинт, не охает, не хлопает дверью. Ален Вио в таком недоумении, что даже ничего крадет до самого утра.

Уже неделю Рене Тере наверстывает алгебру. Ему исполнилось тринадцать, и как старший сын он принял серьезное решение.

Теперь он глотает ужей, грызет тараканов, пьет желчь, гладит пауков, целует в губы тьмутьмущую жаб. Другими словами, он почти не мастурбирует, терпит родителей, больше не курит, слушается в классе, каждое утром моется от носа до пупка, не толкает двух своих сестренок, качает пресс на коврике перед кроватью и корпит над математикой.

Он считает очень важными все эти добровольные лишения. Он даже прикидывает в уме, а не сходить ли на мессу. Но ему не по нраву кюре. В Сен-Реми с его двадцатью шестью тысячами жителями есть другие приходы и другие священники, но Рене благоразумно игнорирует этот факт. Ему удобнее презирать скопом всю церковь в лице одного человека, с которым он знаком лично.

Тере пока что не нашел в своем новом поведении ни единого преимущества. Напротив, у него ощущение, что люди им пользуются. Они проявляют жестокость, провоцируемые его собственной мягкостью. С тех пор как он начал исправлять свои ошибки, он страдает от неисправимых ошибок других. Мальчик закипает: еще один день с ужами, и он взорвется.

– Рене куда ты задевал свои трусы? Я их не нахожу, – кричит его мать, романтичная натура, стоя перед стиральной машинкой. Тере – владельцы довольно популярного и хорошего продуктового магазина в старом Сен-Реми. Муж знает толк в этом деле, жена придает солидности, но покупатели торгуются. Они зарабатывают какие-то крохи.

– Я бросил их в грязное, – глухо отвечает Рене. Чувствуя, как растет раздражение, он втягивает голову в плечи. Вечно она со своими трусами. Он готов перерезать глотку всем матерям на свете.

После ужина мадам Тере любит заняться работой по дому, стремясь показать окружающим, в какой кабале она находится. Муж погружается в свои счета. Дети молча переглядываются. Затем Луиза Тере укладывает девочек и включает телик. Тогда у Рене появляется возможность сбежать.

– Ну, я их не нахожу, – повторяет мадам Тере сквозь шум воды. – Ты точно переодел трусы? Дру-

жок, они валяются у тебя под кроватью. Иди сюда и найди их – я не собираюсь тут ночевать!

В магазине Луиза Тере всегда ухожена, никогда не носит домашний халат и даже прикидывается модницей. Ее считают натуральной блондинкой. Она умеет быть любезной с кем надо. О ней никто не подумает дурного. Это одна из первых взрослых красоток на районе. Но, как только лавка закрывается, мадам Тере надевает какую-то рванину и впадает в хандру, которую проявляет только в семейном кругу.

В фантазиях она видела себя дамой в длинных перчатках, жительницей Елисейских полей с рекламы духов «Парижский вечер» в «Селексьон». Эта заманчивая мечта так и не сбылась: она презирает мужа-неудачника и его детей. Покупателей с их фуагра и китайскими винами. Она презирает все и вся. Она ненавидит себя и не любит никого, кроме себя.

– Рене, я жду! Мне нужны все трусы! Я не собираюсь затевать стирку для тебя персонально.

Рене пришлось выйти из кухни, расстаться с учебником математики и успокаивающими арифметическими знаками, войти в ванную и обшарить взглядом нижнее белье всей семьи. Луиза Тере, с разгоряченными щеками, закатанными рукавами и скошенным взглядом, скрывает радость под маской деловитости.

«Нарочно заныкала», – думает Рене.

В такие минуты он, всего-навсего половозрелый ребенок, чувствует себя подростком и таким же отбросом, как они. Чтобы этого избежать, ему пришлось пережить смехотворный приступ стыдливости. Но кто способен этого избежать? Его хватают, загоняют в угол, тычут носом. Теперь его

черед: пусть тоже через все это пройдет, а то было бы слишком просто.

Покрасневший Рене тычет пальцем в свои грязные трусы, вдруг обнаружив их посреди нескольких курчавых кружевных пятен, похожих на розовых обосранных медуз: трусики девочек. Он мгновенно в подробностях рассматривает все загрязнения, спереди и сзади. Его маленький сопливый хуек, желтоватое очко и потемневшие резинки – у всех перед глазами. Предательский оттиск, мерзкий негатив.

Широким жестом, выражающим усталость, мадам Тере запихивает комок белья в машинку. Ее глаза сверкают от удовольствия. Она затевает большую стирку раз в неделю и терпеть не может, когда ее мужики меняют белье чаще: они ведь уже не пацаны, в их возрасте не принято пачкаться. Если муж или сын вдруг надумает переодеться не один, а два раза в неделю, она изводит их подозрениями, засыпает вопросами и упреками. Они ведут двойную жизнь, у них стыдная болезнь. Они загружают мадам Тере работой: она им не служанка.

Доказывая это, она кричит, орет и ругается, словно судомойка, требующая расчет. Порой она так отчаянно жалуется, что мужчины предлагают постирать вместо нее. Но она дрожит от негодовании при одной мысли об этом матереубийстве и отказывается резким тоном, приводя категоричные аргументы: машинка сломается, они все перепутают, пересыплют порошка, белье порвется в клочья. У нее на шее толпа иждивенцев, ее мучения никогда не кончатся. Мадам Тере властвует безраздельно и в своих страданиях тоже не терпит возражений.

Рене Тере хватает свой плащ, коротковатый макинтош, и что-то бормочет: он сходит к Гийярам посмотреть фильм по другому каналу, заканчивающийся в одиннадцать тридцать или сорок.

Гийярам доверяют. Овдовевший отец снюхался с полицией и стал подрабатывать маляром. Четырнадцатилетний Марк помогает ему после уроков. Он хороший, умелый сын. Папаша Гийяр щедро ему платит. Работника у них нет, но они копят деньги. Никто не знает, что после ужина папаша Гийяр запирается у себя в комнате с бутылкой коньяка или старого рома. Но Марку с Рене об этом известно, и они этим пользуются.

На свой день рождения Рене прежде всего принял решение порвать с остальными.

Он уже пропустил одну встречу, хотя с недавних пор они проводились на огородах, которыми владеют его родители (их называют «дворами»). Там течет узкая, тихая, довольно чистая речка, спускающаяся к морю, и расположен корабельный док. Ветхая решетка отграничивает, но нисколько не ограждает этот клочок земли. Огород стоит под паром. Лодки никогда не спускают на воду: семье Тере они достались от кого-то при покупке участка, а теперь просто стоят и гниют.

Рене пойдет вечером на стрелку вместе с Марком. Ему невтерпеж. Семейных и школьных добродетелей хватило всего на одну неделю: шесть дней насмарку.

Сиденье велика намокло. Он смахивает влагу, садится и трогается с места под дождем.

Реймонда Сеньеле принесла макароны и визгливым, запинающимся голосом грозно возвестила:

– Это настоящие спагетти! По-итальянски! На-

стоящий соус! Не консервы какие-то!

– Только гляньте, сколько там мяса! – добавила она, поставила тарелку и пристально посмотрела на спагетти, словно заставляя их держать рот на замке.

Четверо мальчиков медленно и сдержанно покачали затылками и с опаской слегка пожали плечами, уставившись на блюдо-буревестник. Назревали тревога и капитуляция, а также смутно предвкушались шкварки.

Мадам Сеньеле резко села, как это ни странно при ее расплывающихся формах.

Робер Сеньеле, неповоротливый начальничек из энергосети, вытаращился на макароны, утопавшие в комковатом буром соусе. Он наклонил дрожащий нос покоренного гурмана, а затем издал возглас решительного одобрения.

Дети рановато выдохнули: мадам Сеньеле не могла удовлетвориться столь краткой похвалой.

– Это вам не вся эта гадость магазинная, – с горечью подчеркнула она.

Она объяснила достоинства блюда. Одиннадцатилетний Жан-Батист Сеньеле насмешливо взглянул на тринадцатилетнего брата Доминика и с изумлением биолога стал изучать черноватые шарики, застрявшие в клейком соусе. Он был хорошеньким и смешливым. Мальчик вовремя спохватился, пока мать не обратила внимания на его выходку.

Мсье Сеньеле, не имея собственного мнения о соусах серийного производства, наложил макарон и напустил на себя важный семейно-гастрономический вид. На самом деле он был алкоголиком и ел очень мало, без аппетита и желания. Его раздутый живот, грудь колесом и тяжелый затылок

внушали уважение и заставляли забыть о дистрофичных конечностях. Впрочем, он порол своих детей так же, как мясник забивает животных, – напыщенно и хладнокровно.

Тарелки мальчиков наполнились до краев: ребятам нужно расти. Реймонда Сеньеле пичкала их шкварками и запрещала возражать, то есть оставлять их на тарелке.

– Ммм, ммм, – промычал мсье Сеньеле, проглатывая толстый рулон спагетти, который он, вращая локтем, с пафосом, многословным наставлениями и туристическими замечаниями намотал вокруг вилки. Отец заставил потомство последовать его примеру.

Удовлетворив вкусовые рецепторы, он выполнил свой супружеский долг.

– Ммм, ммм, – подтвердил он. – Никакого сравнения с Италией. Хотя это нормально – нормально. Ведь это приготовлено французской поварихой. Французской! А значит, лучшей в мире!.. Ммм.

Все за столом задумались над этим утверждением. Робер Сеньеле доел остаток и освободил тарелку. Он откупорил второй литр вина и сказал:

– Моя дорогая, это, ммм… Я бы сказал, это… объедение!.. Объедение! Дорогая, твой соус – объедение!

Дети с тревогой переглянулись. Слово «объедение» вызвало в памяти объедки, и, хотя для пояснения отец выпятил широкую и влажную нижнюю губу, они почуяли опасную промашку. Они ждали реакции мадам Сеньеле, боясь смотреть в ее сторону.

Но мать просто ела. Обычно они отводили взгляд и напускали на себя безразличие: ведь Рей-

монда Сеньеле была отталкивающей обжорой. Правда, сама она этого не осознавала и претендовала на хорошие манеры, изящество и мелкобуржуазное воспитание: казалось бы, за столом она должна быть опрятной и молчаливой, но еда все портила.

Мадам Сеньеле брала спагетти, не ломая комедии с вилкой. Она всасывала их по семь-восемь штук, точно простуженный пацаненок, заглатывающий сопли сразу из двух ноздрей. Макароны выписывали одну-единственную кривую прямиком из тарелки в желудок, но по пути их обсасывали и с чавканьем раскусывали.

Расслышав сквозь собственную ротовую канонаду слово «объедение», Реймонда Сеньеле лишь подняла глаза к потолку, а затем бросила мрачный, отрывистый взгляд на бутылки и мужа. Она удостоверилась, что сыновья едят как следует, испепелила взглядом младшего, слегка чахлого семилетнего Филиппа, который немного замешкался, и снова принялась жевать, точно жук-богомол.

Наконец наевшись досыта, она скорчила недовольную, привередливую, притворно капризную гримасу и, сделав крысиную мордочку, чего все ждали как материнского ритуала, заверещала:

– Нет! Нет! Не говори мне так! Это не похоже на «буитони»! Пф! Прррф! Нет! Нет! Мои не настоящие!

Она жалобно усмехнулась. Все за столом тоже жалобно, хоть и неубедительно усмехнулись.

Обиженная Реймонда Сеньеле настаивала.

– Нет! Нет! Не настоящие! – верещала она.

Она снова принялась жрать, склонив правое ухо к тарелке и словно слушая, как макароны подхалимничают и лебезят перед ней. Она поднесла

их к широко раскрытому рту, обнажила зубы и высунула язык. Взгляд у нее стал стеклянным, и, оскалившись, словно блюющая собака, она грубо всосала еду со свистом сточного отверстия. Затем снова сделала крысиную мордочку:

– И потом у меня даже нет мяса! В моем соусе!.. Никаких «буитони»! Жареное мясо как же! Вместе с этой их отравой! Как будто я его жарю!.. Нет! Никакого мяса! – снова заверещала она, посасывая. – Абсолютно никакого! Пфф! Пф! Мой!

Она показала подбородком на шарики и жалобно усмехнулась. Все за столом жалобно усмехнулись. Старший, пятнадцатилетний Бертран, увалень с толстым задом, толстой шеей, толстым подбородком и квадратными щеками, усыпанными прыщами с желтыми головками, хрипло возразил, лукаво улыбаясь:

– Он хороший мам! У тебя хорошие соусы! Ну нет же!

Уверенным жестом он поправил очки с золотистыми ободками на своем разбитом носу, усеянном преющими черными точками. Подражая отцу, сын принял рассудительный вид. Он стукнул по тарелке, перевернув разварившиеся макароны в лужице муки, слабо приправленной томатами и обжаренной на растительном масле. Собрал соус большим черпачком, слепленным из хлеба, который держал четырьмя пальцами. Снова улыбнулся, прожевал. Ему нравилось мирно сосуществовать со старшими.

Наступила удовлетворенная тишина, все поели и помирились.

Но тут высокий голосок прошептал:

– У меня живот болит.

Это был Филипп. Его позднее появление, ма-

ленький рост, само его присутствие постоянно удивляли.

Все подскочили. Филиппу действительно было плохо: он даже не заметил, какую произвел сенсацию. Ему захотелось уйти и проблеваться, но он не решался спросить. Он боялся: нельзя выплевывать то, что давала мама. Надо бы удержать это внутри, но желудок не слушался. Таких детей домохозяйки называют разборчивыми, трудными, привередами, мучением, наказаньем божьим.

Мадам Сеньеле поразмыслила минутку и, сощурившись, быстро выбрала одну из двух возможных тактик.

Угрожающе низким и медленным голосом она сказала:

– Да нет, ничего у тебя не болит, Филипп. Я же тебя знаю. Ты покакал в школе?

– Да, – пробормотал ребенок и побледнел.

– А потом, здесь? Я не видела, чтобы ты какал.

– Нет, – признался Филипп.

Он умоляюще нахмурил брови: его сейчас вырвет прямо за столом, который был покрыт горделивым восточным ковром из зеленовато-синего нейлона, сплошь усеянного цветами.

Мадам Сеньеле поняла, что сын насилу сдерживается. Похоже, она задумалась и постаралась говорить слащавым контральто:

– Ну тогда иди. Скорее. Хватит уже. Хочешь, чтобы я тебя отвела?

– Нет, – тихо сказал малыш, вставая, и убежал.

Было слышно, как он выблевал огромный сгусток в унитаз. Все немного позавидовали Филиппу и сглотнули слюну. Тошнило всех, ведь малыши – это кишки, и больше ничего.

Все молчали. Мадам Сеньеле пожала плечами

и снова заговорила визгливым, заполошным голосом:

– Никогда не ходит в туалет! Вечно играется! Ему некогда! А в школе тем более! Он врет! Мне учительница говорила! Пусть не рассказывает сказки! Иначе его бы не стошнило от парочки макарон! Он даже не доел свою тарелку!.. Сами посмотрите, а я так старалась!.. Ну а вы, – продолжила она, – вы же мне это не оставите?

Она схватила блюдо с остывающими шкварками. Дети снова протянули тарелки.

– И правда объедение, дорогая, – повторил мсье Сеньеле устало, словно исчерпал запас комплиментов, и подлил себе вина. Его движения стали ватными. Несколько капель упало на скатерть. Он нализался.

Филипп смыл за собой и вернулся в столовую. Мадам Сеньеле встретила его сурово и решила немедленно уложить спать, раз уж ему так плохо.

В раздражении она подождала, пока он выпьет воды. Филипп был сущим мучением для матери. Его слабая пищеварительная система не принимала стряпню домашних мегер и школьных столовок. Он был такой тощий, что просто стыдно перед респектабельными, представительными мамашами. После консультации доктор Жюрье прописал свежую, легкую, отборную пищу: пусть ребенок ест ровно столько, сколько сможет. Мадам Сеньеле оскорбилась: ее обвиняют в том, что она не умеет готовить? Она уперлась и при первом же удобном случае ударила Филиппа по щеке, чтобы он понимал, что такое здоровый желудок. Она продолжала его кормить, как прежде, угрожая слабительным, клизмами, парафином и еще более худшими наказаниями.

– Твои братья никогда мне такого не устраивали! Никогда!

Реймонда Сеньеле скрипнула зубами, укладывая больного в постель. Сил ее больше не было. Этот ребенок за столом – ежевечерняя пытка. Цирк-шапито. Теперь все должно измениться. Если он хоть раз еще такое сделает, она его выпорет. И заставит покакать прямо у нее на глазах, как малявки какают, потому что это единственный выход. Или, может, он съел что-нибудь втихаря, купил какую-то вкусняшку? Разумеется, гадость. И на какие шиши? Он вдобавок еще и воришка? Он же дал слово, что ничего не крал. Надо проверить его кошелек.

Она укутывает Филиппа в постели, словно надевает на него смирительную рубашку, и уходит. Ребенок остается один в темноте. Он озяб после рвоты и стучит зубами. Немного раздвинув свой кокон плечами, он сворачивается клубком и укрывается до самых ушей.

Вечерами, когда Жан-Батист Сеньеле тайком уходил из дома, он не встречал никаких препятствий. Характер у него был спокойный, он веселился, хитрил, обманывал. Спал в одной комнате со старшим братом – Бертраном. Тот был прилежным лицеистом и ложился в пол-одиннадцатого, читал или болтал какое-то время, а потом выключал свет. Включенным оставался лишь ночничок у изголовья Жана-Батиста, но и он вскоре гас. Бертран мастурбировал, натянув одеяло на шею и извиваясь так, словно переодевал плавки под полотенцем на пляже. Через пару минут он уже храпел, вытерев член специальным носовым платком – жестким, хрустящим, слипшимся, зеленовато-желтым. Он его прятал и изредка стирал.

Даже когда мсье и мадам Сеньеле подолгу засиживались перед телевизором и смотрели фильм или устраивали семейную сцену, они забывали о существовании детей, как только те расходились по комнатам. Все уединялись и закрывали двери: Реймонда и Робер, Жан-Батист и Бертран, Филипп и Доминик. Родители никогда не проводили ночную проверку – не прислушивались, не приглядывались и не искали причины нарушений тишины. Похоже, они считали, что хорошо выдрессированные дети не обладают свободой воли. Вечером после спектакля их складывают в сундук для марионеток, и они лежат там, немые, неподвижные, перепуганные, до следующего дня, когда их оттуда достают и снова начинают ими управлять, говоря вместо них.

Сеньеле занимали особнячок с палисадником – их собственность. Оставалось еще семнадцать лет оплачивать векселя. Этот особнячок располагался на севере Сен-Реми – на окраине, где уже четверть века возводились строения дотоле не известного на острове типа. Это были жилища мелких служащих: низенькие, уже успевшие обветшать здания в форме куба, индивидуальные дома из сборных элементов, вычурные, пошлые, криво разбросанные по насыпям – с собственной травой, газонокосилкой, высохшими и пышными туями.

Даже не дождавшись, пока брат уснет, Жан-Батист встал в темноте, взял одежду и вышел. Он закрылся в туалете и переоделся. Спрятал пижаму за смывным бачком.

Он выбежал в сад через кухню. Велосипеда у него не было: надо было встретиться со старшим Кормайоном, который отвозил его на мопеде.

Ночь славная. Дождь приятный. Тепло одетый

Жан-Батист напевал. Он забыл, что его могли услышать из дома. В этом жилище, в этом районе, в этих родительских казармах, на этих ухабистых участках он не чувствовал себя как дома.

Один из мальчишек, слева от малыша Леско, повторил:

– Чё вы стебетесь над моим ножом это ж «лубинокс»!

Восьмилетний Леско был самым младшим. Его никогда раньше не видели на ночных сборищах. Его привел тринадцатилетний двоюродный брат – Эрве Пелиссон. Он воспользовался тем, что мадам Леско была завалена работой: тридцатилетняя вдова держала скромное кафе рядом с консервным заводом возле порта. Она готовила несколько блюд: мидии, омлет, рагу, овощи, запеченные в сухарях и обслуживала до поздней ночи. Многочисленные посетители кафе были оживленными, семейными людьми. Эрве, любивший эту обстановку, часто приходил помочь. Племянник был очень славным малым, всегда веселым, услужливым, добрым христианином и боготворил малыша.

– Видал? – спросил Жоашен Леско, показывая на балки корабельного дока, освещенные лампой.

– Что? – спросил Эрве.

– Вверху! – благоговейно прошептал малыш Леско. – Не видел? Ну, там полно паучьей тины!..

Эрве засмеялся и поцеловал его:

– Не паучья тина, а паутина! – исправил он и наклонился к ребятам, сидевшим впереди:

– Эй, послушайте, что говорит мой двоюродный брат!..

Какой-то старший приказал выключить фонарики и замолчать. Жоашен Леско узнал его: это

был Гийяр. Ребенок делил старших на две группы: тех, что с ним разговаривал, и тех, кто его презирал. Марк Гийяр и Эрве относились к первой категории, все остальные – ко второй. Жоашен стал слушать.

Но ему хотелось спать. Он плохо понимал смысл фраз и скучал. Лодка, в которой он сидел, немного промокла от воды, и ребята раскачивали ее задницами.

Жоашен засунул большой палец в рот, обхватил нос указательным и стал засыпать с открытыми глазами, слегка покачиваясь. Свет теперь исходил лишь от огарка свечи, вокруг которого они построили клетушку из гальки.

Позже Жоашен закрыл глаза и повалился на дно. Двоюродный брат взял его на колени, прислонил к груди, обнял одной рукой, а другую засунул ему между ляжками и бесшумно поцеловал его. Жоашен приподнял голову и не стал сопротивляться.

Чуть позже мокрые и запыхавшиеся ребята вошли в док вместе с порывом холодного воздуха. На несколько секунд включились фонарики. Леско открыл глаза и спросил, что случилось.

– Это те, что с Тере и Рокен, – пояснил Эрве. – Они возвращаются.

Его рука все так же лежала на маленьком твердом члене Жоашена, щекотавшем ладонь. Ребенок больше не задавал вопросов.

Но этим дело не кончилось. Они долго спорили. Кто-то заговорил о Рош-Нотр-Дам. Прозвучало слово «девчонки». Несколько голосов высказались против. Потом перешли на шепот. Наступило примирение; Жоашен снова заснул; Эрве вскоре его разбудил, и они ушли. Мальчишки разбрелись.

Неизвестно как Жоашен оказался в своей кровати.

Учительница литературы в смешанном лицее Сен-Реми (куда входил и частный коллеж), Лора Буатар, уже пятнадцать лет была любовницей Мориса Глер , учителя философии из того же заведения. Оба родились на острове.

Будучи холостяками, они жили вместе, имели двух детей, шокировали своим поведением, часто бывали у важных персон, подбирались к пятидесятилетию. Вдвоем они вели культурную хронику в «Объединенном республиканце» – оппозиционном правительственном еженедельнике, активно читавшемся в департаменте, в который входил остров.

Глера писал статьи-рассуждения. Лора Буатар сочиняла рецензии на книги, музыку, местное искусство.

Она перестала быть счастливой. Морис Глера слишком много пьет, слишком много курит и слишком много поучает в кафе учеников выпускных классов. Он хвастается пьесой – так и не поставленной (а впрочем, так и не законченной), и философским трактатом – так и не написанным, о котором он повсюду болтает, опрокидывая рюмку за рюмкой. Он стареет.

Тем не менее Лора и Морис одеваются, причесываются, спариваются, читают, говорят и думают, как молодежь. Они не отстают от нее ни на шаг. Они здешняя интеллигенция и не скрывают этого.

Со своими двумя детьми, сыном и дочерью, они обращаются хорошо. Однако в период полового созревания портится мягкий характер двенадцатилетнего Франсуа-Жерара.

Лора Буатар смотрит на часы. Скоро полночь. Морис вернется пьяный, отчаявшийся, трогательный, чудесный. Завтра утром нужно отдать материал в «Объединенный республиканец». Она считает строки. Лора Буатар выразила свое восхищение тремя романами; ей больше нечего сказать; но она еще не набрала нужного объема.

Вздыхая, она выходит из своего кабинета и со смутным медицинским интересом роется в груде новинок. Это придаст ей сил. Она замечает книгу карманного формата, посвященную диабету, научно-популярную. Какое облегчение. Можно не задумываясь написать рецензию. Лора Буатар открывает брошюру, снова садится, кладет ее рядом с машинкой и начинает писать статью, по привычке выдергивая наугад фразы и нанизывая их с тем апломбом, что завоевал ей репутацию эксперта.

Болит поясница, Лора чувствует себя измотанной, красивой, зрелой, волнующей. Возможно, даже очень красивой. Очень. Сейчас же выпить водки, очень крепкой, ледяной, из очень красивой и очень простой рюмки. Апельсиновый сок? Лень доставать прибор. Глянуть, есть ли в бутылке.

«…Следует ответить утвердительно и отказать себе в утреннем круассане! Ведь доктор Про на самом деле искренне признается, что на уровне диабета важную роль играет понятие сахара, в виду присутствия недостатка инсулина, который поджелудочная железа, к прискорбию, более не вырабатывает.

Но является ли это основанием, заслуживающим скверного названия «диабет»? К прискорбию, снова утвердительный ответ. Но, к счастью, следует знать, что погружаться в беспокойство

еще преждевременно, поскольку на самом деле эта болезнь хорошо лечится, если приняться за нее вовремя, а наследственный фактор (в котором беременная женщина будет играть определяющую роль) далеко не всегда является решающим.

Именно это утверждает доктор Про, который на самом деле без колебаний утверждает, что эта болезнь бесспорно лечится, если приняться за нее не слишком поздно. Конечно, при условии, что условия, которые этому поспособствуют, будут строго соблюдаться самим больным, который выполняет в данном случае довольно значительную роль. Хороший совет, которому несомненно следует последовать».

Черт, еще подготовиться к уроку по «Федре». Она ненавидит эту пьесу. Автор любил женщин? Ох уж эти писатели. Программы. Все нужно менять.

«Однако, тем не менее, нужно придерживаться строгой диеты и отказаться от фруктов, которые являются необходимыми. Такова польза от этой ценной книжечки, понятной всем и наверняка принесущей пользу всем тем, кому она сможет помочь. Быть может, завтра и вам!»

Лора Буатар обожала свой игривый, располагающий тон – уж она-то разбиралась в своем ремесле. Она, конечно, чувствовала, что ее фразы слегка корявы, но в этом особенность журналистики: приходится закрывать глаза на некоторые недочеты, ведь нужно успеть к сроку.

Впрочем, ее хроники все равно никто не читал – даже набиравший их печатник. Она получала комплименты и пользовалась известностью. Люди просто проверяли каждую неделю, на месте ли ее подпись или инициалы, и в противном слу-

чае сообщили бы ей об этом при встрече.

Она пошла на кухню и приготовила себе легкий ледяной коктейль – водка с апельсиновым соком. Затем вернулась к своему креслу походкой мечтательного эльфа. Ей захотелось сочинить очень красивое, очень простое и очень тихое стихотворение. Ох уж эта мумия Расин! Нет, урок подождет. Хватит с нее поденщины. Она выпила водку, и ей вдруг стало хорошо. («…Легкий ледяной коктейль из водки с апельсиновым соком сможет, если вы устали… поскольку следует знать, что…» – начала она мысленно печатать на машинке обрывки фраз.)

Она смешала второй бокал, покрепче.

Забилась в уголок дивана, по-девичьи, по-кошачьи подогнув под себя ноги. «Объединенный республиканец» взял у нее интервью после напыщенного самоубийства Глера, мятежного пророка, властителя дум целого поколения, которое принесет свои всходы в грядущем. («…Следует знать, что мы слишком сильно любили друг друга и потому не поженились… к тому же Морис слишком сильно уважал во мне… и связь, которая нас… да, он… глубоко, да… его сложное отношение к собственному телу… отношение, как он говорил, глубоко спорное и…»)

– Черт, еще завтра этот концерт.

Кровь из носа надо написать статью сегодня вечером, последний срок: иначе она выйдет только через десять дней, а пианистка, дочь бывшего супрефекта, придет в ярость и подключит свои связи.

Лора Буатар снова вспомнила о Морисе. Гений. Истинный. Ни на кого не похожий. Выше всего, выше всех. Но как отучить его от пьянства – при-

вычки избавляться от собственной сущности и заполнять себя алкоголем? Иначе он никогда не завершит свой исполинский труд. Помочь ему – это ее задача. («…Да, в сущности, это так… алкоголь… обоюдоострый яд… вот о чем идет речь… наркотик… в сущности наркотик… наркотик. Алкоголь. Я. Спасти его. Ему. Быстро. Добиться успеха. Труд этой ценой. Его. Наш. Я должна. Защищать. Вдохновлять. Порождать. Та, кто. Быть

той. Лора, *laurus*, лавр. *Lugdunum*, Лион. *Populus*, попа. Лаура де Нов. «Канцоньере». Лавр, Лоран, гриль (или грилль?), лавролистная калина (или колина?), лавр благородный, крашеные волосы: «Лореаль». Любил ли Данте женщин. И впрямь. Вот о чем речь. Лауреат, Лоури, Лорел, Харди. Лавровые: сассафрас. Лот, лото, лоток, лотерея, лодка, лодыжка, лауданум. Лад. Леди. Я… Быть собой.»)

Легкий скрип двери («открывают? закрывают?») нарушает поток ее мыслей. Она решила, что вернулся Морис. («…Такой легкий скрип… возможно, радостный… счастье… это чудесно…»)

Она подготовила теплый голос, взволнованное лицо – ладная леди – и встала.

– Дорогой, – окликнула она. – Морис?

Никого не было. Нет, она почувствовала движение у себя за спиной, в темноте коридора, у детских комнат.

(«Неужели Морис… Мое спасение? Пасть так низко? Ребятишки, пока мы вдвоем… мы… Нет. Безумие. Проверить».)

Сначала она открыла дверь четырнадцатилетней Амели-Лианы. Девочка храпела, положив голову на прелестный локтевой сгиб. Вся цветущая, вся в прыщиках, вся в темноте, вся в парах, столетние кружева, розовые креветки, черные ногти,

лилии. Лора Буатар залюбовалась ею при свете из коридора («… я немножко лесбиянка… как, впрочем, все женщины…»).

Она закрыла дверь, почувствовала резкое головокружение («я же так мало выпила…») и направилась в гостиную за водкой. Затем вернулась и открыла дверь Франсуа-Жерара. Свет не горел, но она услышала громкий скрип пружинной сетки.

– Франсуа-Жерар?

– Да, – откликнулся мальчик.

– Ах, дорогой, ты не спишь? Можно включить свет?

– Лора, нет, прошу, глаза слепит!

– Хорошо, дорогой, понимаю. Это ты скрипел?

– В смысле «скрипел»? – переспрашивает Франсуа, разыгрывая удивление.

– Ну… в общем, дверью! Дверью!

– А, угу, когда я… уфф… когда ходил ссать.

– Писать, дорогой? – говорит Лора Буатар. – Понятно. Но ты… забыл смыть за собой, да?

– А, угу. Да нет. Просто не получилось. Лора, ну ты же знаешь.

– Что значит «не получилось», дорогой? Бачок сломан?

– Уфф, нет, я о том что не получилось поссать. (Франсуа начинает говорить сбивчиво.) Не знаю что со мной такое никак не засну хха блядь не знаю в чем дело. Фффффух! Не по приколу.

– Перестань, дорогой, перестань, – говорит Лора. – Упокойся. Мне кажется, я поняла. Ну да, поняла!.. Знаешь, у девушек тоже бывают деликатные проблемы в этом возрасте… Отношение к собственному телу больше не… гмм… понимаешь…

Она сделала глоток и глазами поискала сына в полумраке. Он натянул одеяло под самый подбородок. «Высоковато, – подумала она. – Что он там прячет?.. Это?..»

– А что если тебе рассказать о себе? – продолжала Лора Буатар. – Ну да, обо мне, о твоей матери, чтобы далеко не ходить!.. Но… то, что ты мне говоришь, то, что ты высказываешь, дорогой… Я это принимаю. Больше, чем ты думаешь. Сынок… Я чувствую, что когда-нибудь ты сделаешь какую-то девушку очень-очень глубоко счастливой. Я знаю. В самом деле… Не переживай. Успокойся.

– Э… Лора, а завтра я все равно пойду в лицей? – спросил Франсуа, умевший извлекать выгоду из самых трудных ситуаций.

– Дорогой, я знаю… Ты понимаешь всю важность… Речь вовсе не идет… но ведь… Не хочешь ли ты поскорее заснуть, а завтра, уверяю тебя… Ты будешь жалеть, что не пошел. Этот чертов лицей. Глупость, но. Нам все нужны эти… эти правила. Хочешь пилюлю? Разумеется, никакой химии, просто травки.

Франсуа смирился с лицеем, но отказался от травок. Лора вздохнула и закрыла дверь.

(«…Где же Морис… Я боюсь. Как глупо. Боюсь… измены. Как комично».)

Она села писать музыкальную рецензию на завтра.

Едва услыхав стук пишущей машинки, Франсуа включил ночник и сбросил с себя одеяло. Он еще не раздевался. Встал, надел пижаму и поискал обувь, которую быстро зашвырнул под кровать при входе. Башмаки были грязные.

Он снова лег, теперь уже окончательно. Даже взопрел из-за этой дуры.

Он покраснел и засмеялся над своей смелостью. Это было его первое ночное приключение. Он даже не предполагал, что такое возможно и был потрясен тем, что решился и что получилось. Он поднялся по служебной лестнице небольшого здания в одних носках: сердце колотилось в груди, а голова была светлая, как никогда прежде.

Теперь ему казалось, что он все понял. Огромный груз свалился с плеч. Он задумал новую дерзость, не дававшую ему покоя. Он проползет на четвереньках и посмотрит на эту спящую дуреху – свою сестру. Он полапает ее везде, подсвечивая фонариком, обшарит, рассмотрит, обкрадет. Обнюхать. Прижаться. Засунуть палец, хер. Между ягодицами, вдоль шеи, на носу. Фу! Полизать письку. Покусать уши. Кусать, щипать, щучить.

Потрясти. Он уже мастурбировал. Чуть не остановился для того, чтобы осуществить свою фантазию, но уже кончил. Указательным потрогал, есть ли сперма. Нет, только липкая капелька. Ничем не пахнет. Но скоро все равно появится, и тогда…

Лора Буатар печатала. Она устала придумывать столько комплиментов. Но как позволить себе критику, если ты критик? Это может выйти боком, мало ли что. Даже у незнакомцев, которых считаешь безоружными, порой бывают связи, тайная поддержка. Ну и для того чтобы раскритиковать книгу, нужно ее хотя бы прочитать. А некогда. Она дала себе слово составить таблицу всевозможных выражений восторга – наподобие краткого изложения литературной диссертации, глава «Учитесь развивать свою мысль». Два-три дня интеллектуальной работы, и можно написать готовые хроники на всю оставшуюся жизнь. Надо этим заняться.

Она решительно поставила на письменный стол бутылку с апельсиновым соком, водку и кубики льда в миске «дюралекс».

Она могла бы стать поэтом, романисткой, кем-то значительным.

«…Слушатели, которых так же, как и меня, поразит игра Маите Дюкюк-Лепуссер единодушно призн ют, что, ни, Шопену ни, Бетховену, ни П., Пети, ни А. Лемпюиссе (с его столь, современной и блестящей «Токкатой»!) не в чем было бы упрекнуть, эту исполнительницу. Ведь в самом деле следует знать что, каждое ее энергичное исполнение, которое поражает вниманием к нюансам, всякий раз затрагивает, то о чем идет речь. В музыке. Да и в самом фортепьяно. Именно поэтому почтенные слушатели, внимательные но, сосредоточенные, бурно приветствовали ту выдержку с какой, Маите Дюкюк-Лепуссер сумела овладеть программой и добиться ошеломительного, признания что для нас всех…»

Это была артистка департаментского значения – старая знать, фермы, недвижимость, государственные ведомства и объединения. Верхушка Сен-Реми (который был супрефектурой). Она любила выступать два раза в год в фехтовальном зале XIV века знаменитой цитадели и преподавала игру на фортепьяно в муниципальной консерватории.

Снова скрипнула дверь.

Теперь и впрямь входная. Он.

Буатарша подбежала походкой петрарковской Лауры к Морису Глера. С водкой в руке. Звякающей («…звякающей?»). Шаловливая лоретка. Сассафрас, камфара, корица.

– Дорогой.

– Блядство… Бееееееее…

Морис. В таком виде. («…Чудесное возвращение, чудесная сцена. Эта чудесная книга – о нас. Только и всего».)

Тем временем из Франсуа-Жерара вытекла вторая бесцветная капелька. Он спал, лежа на животе, влюбленный в матрас. Его не разбудили бы и пушкой.

II

– Ох, – тихо и жалобно вздохнула мадам Леско, – они убили несчастную старушку за пятьдесят франков!..

Она листала утреннюю газету.

– А сколько это – пятьдесят франков? – спросил Жоашен Леско. Он умел считать деньги только в сантимах. Он был умытый, причесанный – очаровательный. Он ел бутерброды с маслом, запивая шоколадом из большой чашки.

– Пять тысяч франков, малыш[1], – сказала Ивонна Леско. – Какие изверги. Бедная старушка-соседка. И вот пожалуйста.

– Пять тысяч франков!.. Какая она была богатая!

Жоашен открыл от восторга глаза.

– Да нет, крошка, это гроши! – поправил Эрве. – Они пристраивают свое бабло в сберкассу, и больше ничего не украдешь. Мочить их – полный идиотизм.

Он всегда завтракал в кафе мадам Леско, на кухне. Потом отводил Жоашена в школу. Сам он ходил в технический коллеж: он встречал там Гийяра, Кормайона и остальных.

Впрочем, Жоашен не нуждался в том, чтобы его провожали: в другие места он добирался самостоятельно. Эрве делал это, скорее, ради удовольствия.

---

1 Жоашен умеет считать только в «старых франках». «Новый франк» был введен в 1960 г. и равнялся 100 «старым». – Здесь и далее прим. перев.

– Все равно это же бабки! – настаивал потрясенный Жоашен.

– А где это? – спросил Эрве. – Где это случилось, тетя?

– Ой, не знаю, малыш, сам посмотри, – удрученно сказала мадам Леско. – Все эти истории – это слишком ужасно… Потом еще оказалось, что это были парни по восемнадцать-двадцать лет, вот придурки! Они сделали это даже не нарочно: в газете пишут, что она была сердечница. Ее хватил удар, когда она их увидела, представляешь себе, в ее-то возрасте. И – брык. Кошмар.

– Наверно, страшновато было! – согласился малыш Леско. – Если б я увидел кого-то на кухне! Кто вот так вот взял и пришел! – в восторге добавил он.

Он засмеялся. Эрве тоже засмеялся.

– Какие же вы бессердечные! – нежно упрекнула Ивонна Леско. – Бедная женщина, если это привело к ее кончине…

Эрве взял газету и нашел статью.

– Шестьдесят пять франков у нее было, а не пятьдесят! Шестьдесят пять! – воскликнул он. – Шесть тысяч пять. В кошельке.

Жоашен закатил от удивления глаза и встряхнул рукой, словно обжег большой палец.

– Вот это бабки!.. Эрве, прочитаешь мне?

Эрве бойко прочел статью вслух. Мадам Леско вздыхала после каждой фразы, скорбно опуская глаза, и ее красивое, жирноватое лицо излучало сострадание. Она взглянула на часы.

– Вы еще успеете съесть по бутерброду, детишки, – предложила она.

Жоашен покачал головой. Эрве сказал, что просто поджарит хлеба на огне газовой плиты,

наколов его на вилку. Жоашена заинтересовал запах. Они вместе сгрызли обгоревший хлебный ломоть, намазанный тающим маслом. Сластена мадам Леско съела один густо намасленный кусочек, обмакнув его в шоколад своего сына.

– Но все равно, – сказала она с грустной улыбкой, – вам не жалко это бедную женщину!

– Потому что она забоялась, мама. Иначе бы она не умерла. Сама виновата! – заявил Жоашен.

– Садист! – со смехом сказала ему мадам Леско. – Вы два маленьких садиста!

Она вспомнила, что собиралась разогреть себе кофе, и начала убирать со стола, чтобы почистить овощи. Эрве предложил помощь. Она отказалась.

Отправив детвору в школу, она перечитала статью: жертвой стала старуха, с которой мадам Леско не была знакома, из деревни в окрестностях Сен-Реми. Там, в долине, разводили баранов.

В тех краях росли вкусные, красивые ранние овощи. Она лежала в постели, услышала шум, вышла на кухню, увидела их и померла.

«Откуда им все это известно?» – подумала мадам Леско. Ведь злоумышленники не оставили никаких следов, несмотря на дождливую погоду.

«Я бы осталась в постели, и пусть берут, что хотят!.. Старухи, они немного того», – подумала она.

Она полюбовалась своими овощами и представила те славные блюда, что собиралась приготовить. Сначала суп, потом рагу из бараньей грудки и шеи, с морковкой, свеклой, картошкой и луком: у Ивонны Леско потекли слюнки, и она отрезала себе ломтик сыра.

Мадам Леско открывала кафе только после девяти, а закрывала после полуночи. Объясняла посетителям, что она «сова». Кафе начинало при-

носить доход. Первые два года после смерти мужа были трудными. Людей мало. Она чуть не продала заведение. Но что делать, да и где?

Мало-помалу ее вкусные блюда, ее дородная молодость и материнство, ее чистота и приветливость привлекли клиентов иного сорта. В обед – одиноких дамочек. Честных рабочих. Экономных служащих. Парочку бонвиванов. Горланить и пить стали меньше, а есть больше. Много болтали и не стеснялись приводить детей. Когда-нибудь она выберется из нищеты и откроет ресторан с твердыми ценами. Но она не любила рано вставать и рано ложиться – в этом вся загвоздка.

В обед она наготовит побольше улиток.

Эрве помогал просто идеально. Ему бы за плитой стоять, а не в школе штаны просиживать – какие дурацкие законы! Когда мадам Леско платила племяннику, он покупал на эти деньги лакомства или игрушки Жоашену. Вот кого здесь обожали и кто об этом даже не догадывался! Глаза мадам Леско слегка увлажнились от умиления. Она отрезала себе немножко сала.

«Он считает, что это много – шестьдесят пять франков!» Она улыбнулась. Жоашен и мухи не обидит. Ему жалко, что бифштексы делают из животных. Но нужно хорошо кушать, вздыхала Ивонна Леско. Бедные зверушки, бедняжки кролики, бычки, сосисочки, да уж. Все эти зверушки. Мы, люди, такие плохие.

Она подняла и вытянула перед собой руки, чтобы не заплакать, пока будет чистить лук. Она ополоснула руки и выпила свой кофе. Скоро пора открывать. До одиннадцати торговля шла вяло, но причина не в этом. Нужно соблюдать обычаи.

Она предпочитала черный кофе, но для зала

готовила настоящий кофе с молоком: мелко молотый заваривался в заранее подслащенном молоке. Его брали большими чашками, хвалили, считая это кофе со сливками, на лице оставались усы – подлинное лакомство. К тому же недорогое. В бело-голубой эмалированный кофейник помещалось почти три литра. Рук не хватало!

Родители Эрве работали на заводе рыбных консервов. Мать подготавливала сардины, отец присматривал за механизмами. Родителям хорошо платили, но их никогда здесь не было, хоть они и жили в ста метрах. Завод находился за старым портом. Мадам Пелиссон хотела бы получить место на галетной фабрике – она терпеливо дожидалась.

Вполне естественно, что Эрве скрывался в кафе у тетки. К тому же это было удобно: мадам Пелиссон не приходилось готовить завтрак и ужин (обедал Эрве в столовке). О деньгах договаривались в конце месяца, неприятностей не было никаких – виделись от случая к случаю, обменивались новостями.

Эрве ругали только тогда, когда он возвращался домой поздно. Но его не пороли: это было не в стиле Пеллисонов. Мягкостью они не отличались, но при одной мысли ударить парня удивленно пожали бы плечами. Разве можно отчитать дверь, поставить в угол комнатное растение, дать пощечину протекающему крану?

Телячья нога, пикантный соус. У мадам Леско потекли слюнки. Она чуть не съела что-то опять. Пожурив себя, погрызла сахарок. Теперь витрина кафе.

Это был бывший продуктовый, от которого осталась металлическая штора.

Стоя на пороге, Ивонна Леско окинула взглядом длинную пустынную улицу, заводские стены, плоский горизонт, геометрически выверенный старый квартал с одноэтажными домами. Было еще прохладно. Скоро май. Она купит Жоашену две хлопчатобумажных рубашки и короткие штаны из синего бархата. Вышитая блузка будет ее худить, или она распустит кое-где складки. Галстук-бабочка придает Жоашену нарядный вид по воскресеньям – она тоже повяжет себе бант.

К тому же первого мая они встретятся с Пеллисонами, возьмут катер и отправятся на континент. Коровы там не такие красивые, зато местность не такая плоская. Дети увидят кучу машин, и, что занятно, там совсем не слышно аромата моря. Лишь затхлый запах суши.

Бараньи потроха с красной фасолью. Если бы Пюссор их сварил. Но фасоль очень старая. С Жоашеном было бы просто: два кусочка баранины и мелкая камбала, немного сырого сливочного масла, только без петрушки – он ее всегда выплевывает. Горсть едва проваренных нежных овощей, где еще сохранились полезные витамины, хрустят и хрустят между его красивыми зубками. Затем плавленый сыр «веселая буренка» и шоколадное мороженое на палочке. Он так любит мороженое. Оно жирное, сладкое, и животик становится от него таким мягким и сахарным.

Глаза мадам Леско слегка увлажняются от умиления. Нет, не так уж жарко. Она капнет себе старой виноградной водки.

Лучше пожарить хорошую курочку, если найдется у Борегара. Жоашен будет счастлив. Он снямнямкает курочку, погрызет ножки и весь испачкается блестящим сочком. Прельстившись

этими образами, Ивонна Леско остановила свой выбор на птице.

Она до сих пор не могла свыкнуться с тем, что у нее есть сын. Просто не верилось. Это началось с самого рождения Жоашена. Казалось, если отвести глаза, он развеется как дым, ведь не мог же он существовать на самом деле!

Слишком короткое замужество, вдовство, материнство: что же произошло? Ивонна Леско перестала понимать. Когда мальчонка начал ходить, он стал надолго исчезать из поля зрения. Он исчез навсегда. Это был сон. Теперь ребенок-призрак лишь наносил ей бесплотные визиты.

Потом она стала бояться, что он умрет вдалеке от нее. Когда он, такой нежный, хорошенький, ложился спать у себя в комнате, то словно ускользал от нее: он перестанет дышать, его сердце остановится, плоть остынет и позеленеет. В первые годы Ивонна Леско вскакивала по несколько раз за ночь, проверяя, не умер ли Жоашен. Потом она взяла себя в руки. Она запрещала себе проводить эти расследования, но все равно оставались мысли, мучительное беспокойство.

Каждое утро она боялась обнаружить в кроватке трупик. Или не обнаружить вообще никого. Это было вполне реально. Именно так исчез ее муж.

Да, она сомневалась в существовании других людей. Она даже не была уверена в собственном существовании. Эта бедная старуха из газеты тоже: она не догадывалась, что умрет – иначе бы не вылезла из постели.

Некоторые посетители пили пиво. А Жоашен любил подкрашивать лимонад тремя капелями пива – тогда тот напоминал по цвету мочу и пенился. Задумавшись, мадам Леско поцеловала

толстую репу, которую чистила, а потом рассмеялась над собой.

– Пора тебе снова замуж девочка моя! – вслух сказала она самой себе. Она больше не смеялась. На самом деле она не скучала по мужу. Мужчина ей был не нужен.

Рокены – огородники. Жюльен – их самый младший ребенок, и завели они его поздно. Другие уже в армии, так что осталось вырастить его одного. Злюка, холерик, хотя при этом красивый крепкий паренек, вовсе неглупый для десяти лет. Однако он прогуливает школу, шляется бог знает где и упрямится, когда его просят хоть немного помочь по работе.

Этой ночью прошел дождь: на огородах грязно. Нужно дождаться, пока земля просохнет, но погода еще сырая, желтоватое солнце пока не греет. Симона Рокен открыла парниковые рамы и трудится в больших сапогах, низко склонившись над землей. Муж уехал утром в Сен-Реми – якобы за запчастями для двигателя.

Но Симона Рокен – не дура. Муженек поймет это, как только вернется. Он обязательно проговорится, и если хоть одно слово не будет вязаться с другими, грядет семейная сцена.

Мадам Рокен вдруг видит едва заметные, очень широко расставленные следы, пересекающие участок.

– Какая это сволочь тут бродила.

Она подходит поближе. Отпечатки маленькие, но четкие – легко проследить направление.

– Мальчишка?.. Что он тут делал?

Своим особым чутьем она чувствует, что намечается повод рассвирепеть, раскричаться, возможно, выпороть. Она изучает следы.

– Да они же ведут к окну Жюльена!.. Но с какой стати этот мелкий засранец влезает в свою комнату через окно? Он чокнулся! Пацан чокнулся!..

Она спохватывается, возмущается, анализирует.

– Да он вовсе не влез!.. Он вылез. Вылез – вылез!.. И когда это было? Сучонок. Что ты нахимичил? Что же наделал этот гаденыш…

Она снова осмотрела окрестности, вошла в дом, разулась, проверила комнату Жюльена.

– Ну что ж, голубчик! – проворчала она. – Погоди – вот вернешься, и поговорим по душам. Ну да, с вами двумя. С обоими, сука. Сука!.. Сволочи!.. Сволочи.

Она хотела еще сказать: «яблоко от яблони».

Он решила, что следы появились, разумеется, этой ночью. Значит, Жюльен где-то лазил всю ночь напролет? Ну, это уже ни в какие ворота. Пусть готовит спину. Она осыпала стены проклятьями, угрозами, оскорблениями, повысила тон и принялась беситься от того, что осталась одна.

– Выпорю до крови сучонка! До полусмерти!

Она стиснула зубы, в нетерпении готовая отлупить сама себя. Она снова обула сапоги.

Она должна была высадить на грядках мартовскую рассаду, которая уже взошла и больше не могла ждать: томаты, кабачки, огурцы, пробную серию дынь. Но это слишком деликатная работа, а Симона Рокен чересчур разнервничалась. Она пошла в сапогах на кухню и заорала:

– Сука, ну и хрен с ней, с грязью! Это ж мне самой потом мыть! Ведь это я смываю за ними дерьмо с пола! Так что я теперь не могу сама насрать?.. Нет ну и сволочи. Сволочи! Вы же не церемонитесь сволочи! Это ж не вам потом полы мыть!

Она бешено всосала легкого вина прямо из литрухи. Страшно захотелось жахнуть бутылку вдребезги, но она сдержалась. Однажды она уже утолила так свой гнев и потом пожалела: как воняло винищем и сколько было осколков! Адская работенка, как будто хибару взорвали динамитом.

– Сучонок!.. И этот старый козел!.. Снова со своей проблядью. С лахудрой своей. Так вот что ему нужно. Старый козел! Старый к-козел! Но чем этот сучонок занимался сегодня ночью? Уж я-то узнаю. Узнаю! Узнаю! Чертов говнюк. Ох, и разозлили ж меня эти два мерзавца. Ну и разозлили меня. Но я им еще покажу. Вот же твари! Вот же сволочи, мрази! Если б я сдохла, они бы еще и сплясали на мне сверху! Вот же сволочи! В печенках уже эти двое сидят!

Она поставила бутылку на место и закрыла холодильник. Тот задрожал. Ей захотелось есть. Она пошла ссать.

Жюльен не отказывается. Он кое-что понял, но не может решиться. Он плохо знает Марка Гийяра и осторожничает.

– Давай Рокен у нас все выйдет! – настаивает Гийяр.

Жюльен странно улыбается:

– А если кто-то придет?

– Ты дурак я же сказал батя у Грандье.

– Угу а если он чё-то забыл?

– Ничё он не забыл с какого? И потом если он чё-то забудет мы услышим. И потом он просто так не заходит ко мне в комнату… Давай!..

– Тогда просто запри на засов если он все равно не заходит, – сказал Жюльен.

Малыш Рокен посмотрел на мебель и прикинул, нельзя ли забаррикадировать ею дверь. Гийяр

жил в роскоши, кто бы мог подумать. Все блестело, коврик перед кроватью, металлический письменный стол с металлической настольной лампой и стул, аккуратно сложенные тетради, книжки. Даже стопка детективов из дорогих серий. У Гийяра все было схвачено. Он хорошо устроился.

– У тебя даже нет ключа? – спросил Жюльен Рокен.

Марк сказал «забей» и схватил его за ногу, между ляжками, но рука искала не ногу. Жюльен отодвинул задницу, вырвался и нахмурил брови.

– Не слышь я ж сказал не надо!

– Дурачок это нормально так все делают, – сказал Гийяр в тридцатый раз. – Ты ведь уже не пацан. Я не виноват что так делают. Или ты еще пацан?..

– Нет, – вполголоса сказал Жюльен. Гийяр снова протянул руку, его движения стали точными, умелыми. Строгое, деревенское, наивное лицо Жюльена снова застенчиво улыбнулось:

– Эй не трогай ты дурак!.. Если тока тронешь…

Но Гийяр вел себя странно. Он не просто раззадоривал Жюльена: казалось, мальчик сексуально его привлекал, или, возможно, он проецировал на него свои эротические фантазии.

– Тебе нужны девчонки, – пробормотал Жюльен, пока Гийяр ему дрочил. – Для тебя же это легко. По ходу, легко! Ну а я-то не… девчонка!

Его смущенная улыбка стала шире, словно он только что выяснил из собственных слов, что является мальчиком. Скорее всего, он никогда раньше этого не говорил. Он засмеялся, пожал плечами. Гийяр встал с кровати и обнял Жюльен за шею и талию, как танцор.

– Слушай а если мы потом поженимся? – звонко сказал Жюльен и скорчил комичную, строп-

тивую, довольную, важную гримасу, когда Марк Гийяр поцеловал его в щеку рядом с губами. – Тогда ты женишься!.. Это уже перебор! Слышь. Перебор!.. Перестань.

– Так вот и женятся, – ответил Гийяр.

Он достал свой липкий член тыльной стороной руки и ткнул им в Жюльена.

– Потрогай, – сказал он.

Жюльен не решался, но потом, продолжая качать головой, неуклюже погладил двумя пальцами толстый хуй Гийяра. Тот схватил его за руку и расположил ее иначе.

Прикосновение потрясло Жюльена. Ему не понравилось: он остался под впечатлением, что-то такое испытывал, но это было противно.

Гийяр сжал одной рукой задницу мальчика, который стал извиваться, захихикал, но под конец сдался. Жопа – пустяк, ничего плохого, но только чур не лезть в очко.

Жюльен посмотрел на себя, на свои ляжки. Почувствовал запашок. Глянул на трусы – грязные? Не так чтобы сильно. Гийяр встал на колени перед Жюльеном и пробормотал:

– Я тебя съем.

И начал. Почувствовав лобком легкое покалывание, мальчик спросил:

– Вот те на Гийяр ты что бреешься?

Марк Гийяр покачал головой. Но его губа все-таки кололась.

– Нет, ты бреешься! – сказал Жюльен и пожал плечами. Этот Гийяр какой-то чокнутый. Мерзкий Гийяр. Старый гад. Гийяр сосет твой кукан. Гийяр ебет баб (так Жюльен называл девчонок). Гийяр работает обеими руками. Он чокнутый. Его отец – конченный забулдыга.

– Ай! Ну ты и гад! – вскрикнул Жюльен, который придерживал голову другого мальчика и не решался ее отпихнуть, боясь, что тот укусит. – Весь не съешь!

Чуть позже Гийяр упал вместе с Рокеном на кровать. Он притянул его к себе и кончил ему спереди на ляжки, беспорядочно хватая сверху донизу.

– Да отвали ты! – повторял стиснутый, скованный Жюльен, которого Марк целовал в губы, пытаясь засунуть между ними язык. Люди вблизи такие противные. Такого не должно быть. Сволочи.

Марк Гийяр отступил и встал. Жюльен хотел подняться.

– Погодь, не шевелись! – сказал Гийяр. Он поискал носовой платок и вытер промежность паренька.

Жюльен надел штаны. Только и всего. Он завел разговор:

– Слышь, Гийяр, а там будут с ски с Рош-Нотр-Дам?

– Ты дебил нет конечно. Если их туда привести старина. Не ты чё.

– Тере мне сказал что будут.

– Брехня. Неизвестно даже пойдем мы с ними или нет.

– Угу ты конечно можешь говорить что баб там не будет но я бы так не сказал. Наоборот если ты так говоришь значит они там будут. Это доказательство.

Гийяр ухмыльнулся:

– А ты им наверно хочешь присунуть?

– Не там видно будет. Хотя можно было б! – сказал Жюльен Рокен. – Угу можно. Видно будет. Посмотрим. Я у тебя спрашиваю они там будут?

– Вас это все равно не касается, – холодно сказал Гийяр. – И я ж тебе говорю что нет. Тере тоже не хочет. Даже местных кексов. А то будет гемор.

– Какой еще гемор?

– Махач, они дебильноватые. Эти отморозки с Рош-Нотр-Дам.

– А угу а те из Сен-Лу? – насмешливо спросил Жюльен.

– Чё Сен-Лу, откуда ты знаешь про Сен-Лу?

– Да ничё, знаю, и все!

– А оно тебе надо? Завязывай с этим. Говорю ж тебе, не вашего ума дело. Отъебись от нас.

– Не это такое ж наше дело как и ваше. А тебя тут никто бугром не ставил. У нас бугров нет. Вы нам не нужны. От вас тока один попадос. Это ж вы всякую херню устраиваете. Раньше у нас ништяк все было.

Казалось, Жюльен сдерживал ярость:

– Я один, можешь меня отпиздить, – сурово сказал он. – Но только потому что я сейчас один.

– Эй с чего ты это взял? Не хочу я тебе ни фига сделать, – смущенно сказал Гийяр.

– А, ну ладно, раз тебе не по приколу.

Был первый час. Они вышли из комнаты. Они поссорились. Но не из-за того, что сказали друг другу, подумал Гийяр. Парню было на это плевать. Нет, не надо было ему дрочить – вот и все. У Жюльена слишком скверный характер – бычара, копия родаков. Остальные сморкачи такие же: не хрен с ними делать. Говорят, что всё знают, соглашаются, а потом, когда кончишь, обижаются.

Марк Гийяр не ошибся. Рокен обиделся, что его использовали. Этот номер с ним больше не пройдет.

Тем не менее, они не хотели ссориться.

– От этих закидонов с души воротит, – проворчал Жюльен. – Странный ты кекс, если такое мутишь. Если бы сразу сказал мне, я бы не согласился. Мразь всякая этим занимается. С души воротит.

– Так мы не поссорились? – спросил Гийяр поласковее.

Жюльен покачал головой. Его удовлетворил виноватый вид Гийяра. На улице они снова заговорили как ни в чем не бывало.

Булочная Дюме была еще открыта. Они вошли. Появилась дочка Дюме в розовой блузке, шестнадцатилетняя образина с толстыми ступнями, толстыми дойками, щеками колбасницы и свиными глазками. Семейство Дюме обедало в комнате за магазином. Пары фритюра и дерьмовой цветной капусты.

Из мальчишек она знала только своих покупателей. Жюльен попросил булочку с изюмом, заплатил, а потом вернул ее, попросил вместо нее булочку с шоколадом, тоже вернул ее, подумал, потянул время, остановился на пирожном с заварным кремом, отказался и от него. Наконец выбрал эклер. Дочка Дюме покраснела, как дура: она могла бы отчитать мальчонку, морочившего ей голову, но не решалась при другом парне – высоком и красивом. Гийяр очень мило, застенчиво улыбался. Сначала он ничего не купил, но потом взял маленькую упаковку жвачки с клубникой, тут же ее вскрыл и предложил пластинку Анне-Грас Дюме.

Пунцовая девочка тихо сказала, что как раз обедает.

– Цветной капустой? – любезно сказал Гийяр.

– Ага! – шепнула Анн-Грас.

– Ничего, оставите на потом, – настоял Марк

Гийяр с юной улыбкой.

Дочка Дюме растерянно схватила жвачку – рука покраснела сильнее ушей – и тут же ее распаковала. Покосившись на мелочь, девочка запуталась в расчетах и неправильно дала сдачу. Гийяр поправил ее, снова состроил галантную мину, забрал свои монетки и принял фотогеничный вид.

Он ошибался. Дюме считала его ребенком и догадалась, что он намного младше нее. Она помахала рукой, словно раскачивая крылья мельницы, и отыгралась:

– Давайте-давайте, ребятишки, возвращайтесь домой, мамаша вас ждет.

Она прогундосила: «возвращаньтесь», «манмаша», «ждёнт», а остальное проговорила писклявым голосом. Марк и Жюльен со стыдом удрали.

Свернув в проулок, спрятавшись под козырьком и скрывшись от посторонних глаз, они показали друг другу все, что украли под носом у мадмуазель Дюме. Добыча опытных воров – как будто у них было восемь рук и дюжина карманов. Конфеты, печенье, блины, шоколад, драже, карамель, лакрица, птифуры, пластмассовые игрушки, свистульки и красный резиновый еж, на который кладут сдачу.

Они смеялись, хвалили друг друга, хвастались своими подвигами: теми, что совершил Гийяр, пока обслуживали Жюльена, и теми, что совершил Жюльен, пока Марк замолаживал девушку. Они поделили между собой лакомства: Жюльен получил почти все. Они помирились.

Грандье был капитаном жандармерии в отставке. Он владел роскошным особнячком, большим розарием и старинной каменной лестницей, спускавшейся к галечному пляжу. Грандье постро-

ил там небольшую дамбу, за которой прятал моторку.

Его жена, манерная вдова, с которой он познакомился через брачное агентство несколько лет назад, тоже любила спускаться туда летом. Она читала или вязала в соломенной хижине и наблюдала за тем, как муж уходил в море, а затем возвращался. Он рыбачил в опасных местах, у самых рифов. Служанка приносила чай, портвейн. Мадам Грандье нравилась ходьба, прогулки, но только не лодка, которую она называла «скутером». Юго оставался молодым в душе, динамичным и энергичным. Спортсмен! Она была на сто лет его старше! На несколько веков!

Поговаривали, что мадам Грандье – денежный мешок, а у Юго не было за душой ни гроша.

Папаша Гийяр перекрашивал длинный забор, отделявший их сад от улицы. Забор представлял собой низкую стенку высотой до бедра с вмурованными большими прутьями, на которых держалась крепкая ажурная решетка. Чтобы все это перекрасить, надо было хорошо потрудиться и потратиться.

Мсье Грандье охотно составил компанию папаше Гийяру. Около четырех солнце уже не так пекло. Они по-стариковски беседовали о делах, событиях, будущем.

На самом деле мсье Гийяр, возможно, был минимум на пятнадцать лет моложе Грандье, но усталость, огорчения, алкоголь, хилое телосложение, морщинистое лицо стирали разницу в возрасте. Так что папаша Гийяр был целиком на стороне стариков, причем самых старых из них, которые его успокаивали.

Убийство крестьянки произвело сенсацию. На

острове площадью сто тридцать квадратных километров и с населением семьдесят две тысячи человек убивали не так уж часто. Добрая половина островитян жила в деревнях с несколькими сотнями душ, а другая распределялась между Сен-Реми, Сен-Лу, Пьернуаром и парочкой крупных поселков. У каждого была хата с краю.

Это напоминало убийства на континенте. Попахивало хулиганьем, субботними вечерами, гопотой, большим городом. Грандье считал, что злоумышленники, наверное, были из Сен-Реми или его окрестностей. Сомнительный пригород уже давно подминал под себя супрефектуру. За несколько лет Сен-Реми изменился до неузнаваемости.

– А что если они с континента? – предположил папаша Гийяр.

Юго Грандье иронично скривился. Приехать из Франции, чтобы украсть у нищенки шестьдесят франков – для этого нужно обладать большим чувством юмора. Но туризм, особенно весной, на подъеме, полно богачей. Так что это дело рук мелкой шпаны на мотоциклах. Вероятно, этот плачевно закончившийся жалкий налет устроили без подготовки молодые пьянчуги.

Да, подонки с периферии, настаивал мсье Грандье. Ну или, если уж папаше Грандье так хочется, парижский студент, левый интеллектуал, который вздумал поразвлечься… Их часто можно было здесь увидеть вместе с их шоферами, в старательно обтрепанной одежонке, с их голыми детьми и слугами для бедных. Но Юго Грандье не принимал всерьез все эти игры. Это было слишком наивно.

Мсье Гийяр не разбирался в подобных тонкостях. Он спросил:

– Их хотя бы искать будут?

Еще одна проблема, вздохнул Грандье. Местная полиция здесь на острове… или побеспокоить органы на континенте… Проводить расследование ради какой-то, в общем одной… Как это ни печально, жертва жертве рознь: а этой не хватает важности, для того чтобы…

– Вот поэтому такие нападения настолько гнусны! – заключил Грандье.

Он явно принадлежал к тем, за кого общество обязательно отомстило бы, поскольку это было бы еще более возмутительное преступление. Впрочем, тот изящный участок побережья, где он проживал, никогда не упоминался в отделе происшествий.

Папаша Гийяр говорил о всеобщей тревоге, утверждая, что и сам остро ее испытывал.

Грандье вовсе не был старым хрычом и лишь усмехнулся над всей этой галиматьей. Он ответил, что полиция, наверное, организует небольшую возню – для успокоения совести. Запустят патрули, начнут досаждать подозрительным жителям, подросткам, безработным, чужакам без гроша в кармане, пользующимся дурной славой холостякам. К тому же случалось, что виновных задерживали именно благодаря этим операциям, всегда наводящим страх на слабаков.

– Люди у нас не так уж боятся молодежи, – сказал папаша Гийяр.

Он был коренной, а Грандье – родом с материка.

– Меня больше пугает, что это мог быть профессионал, – продолжил он. – Бандит. Киллер, понимаете?

Грандье его успокоил. Да бросьте, бандиты

стоят на стороне государства, они не совершают таких глупостей. Это пацаны, которые… Его развеселила мысль о том, как бандит с автоматом врывается на кухню старухи, которая сидит с кошкой, в домашних тапках.

– Нет, Гийяр. Пацаны. Пацаны. Может, даже малолетки!.. И вот от этого-то, – резко добавил Юго Грандье, – вот от этого-то мне и дурно. Ответственность тех, кто… Мы перестали следить за…

Папаша Гийяр стал расспрашивать о детской преступности. На самом деле Грандье мало что знал и честно в этом признался. Сам он получил образование инженера, работал в бюро, был ученым, военным, но никогда не был полицейским.

Оба часто общались с полицейскими. Обменивались мнениями на этот счет. Они наведут справки. Мсье Гийяр наивно заметил, что налетчики оказались довольно умелыми для дилетантов. Не оставить ни следов, ни отпечатков, хотя в ту ночь была такая грязища…

Грандье пожал плечами. Они были в перчатках, как и все мотоциклисты. Следы на полу можно замести подошвами. На улице был бетон, щебень, луг, асфальтированная проселочная дорога, которую десять раз промыло ливнем. По крайней мере, можно не сомневаться, что их было несколько: на полу в кухне они устроили настоящий свинарник. Нет, никакого беспорядка.

– Послушайте, а они не робкого десятка – учитывая покойницу.

Мсье Грандье спросил Гийяра, почему он не сжег старую краску паяльной лампой. Тогда бы дело пошло гораздо быстрее. Папаша Гийяр объяснил, что решетка слишком хлипкая – только благодаря краске и держится, а внутри вся про-

гнила.

В таком случае, предложил Грандье, может, лучше вообще ничего не счищать? Папаша Гийяр привел аргументы в пользу золотой середины.

Ближе к вечеру они пожелали друг другу сухой и ясной погоды. Так или иначе Гийяр наложил первый слой краски. Маляры говорят, что нужно быть терпеливым. Неугомонный Юго Грандье придерживался другого мнения. На этот ободранный забор ему больно было смотреть.

Да, как обычно, белой краской. Грязноватой, цвета яичной скорлупы. Такая красивее всего смотрится со шпалерами, жимолостью, громадными розовыми кустами.

Темно-зеленый тоже изящный. Но это, конечно, зависит от того, какого эффекта нужно добиться. От стиля, который предпочитаешь. Потому что чисто белый – это одно, грязно-белый – другое, а темно-зеленый – вообще третье. Черный же казался мрачным: по крайней мере, так считала мадам Грандье. Она великолепно себя чувствует, спасибо.

Белый – самый светлый тон, признал папаша Гийяр. Он не пил вина до окончания уроков, когда звенел звонок в симпатичной местной школе: три милых здания с черепичной крышей, белыми стенами и кукольными окнами посреди огромного, восхитительного двора. Ребятишки тоже славные и благопристойные. Никакой швали, уточнил мсье Грандье и прибавил:

– Да, мы тут среди своих… Знаю, это жестоко, но надо же быть реалистами. Дети… прислуги, например, чувствовали бы себя несчастными, если бы ходили сюда в школу, а потом возвращались в свои… В общем, вам-то хорошо, Гийяр: старый

Сен-Реми, я вам скажу. Это становится роскошью. А теперь, когда все отремонтировали…

– Я умру раньше, чем нас выселят, – заверил папаша Гийяр.

Юго Грандье запротестовал и спросил, что нового у Марка. Он не придет сегодня помочь отцу? Ах да, слишком много работы: школа отнимает уйму времени. Но в конце концов он станет специалистом, получит диплом. Мсье Грандье ухмыльнулся при слове «диплом», папаша Гийяр тоже. Они выпили за здоровье.

Они говорили о возрасте, ручном труде, армии, недвижимости и тамошних мошенниках, коррумпированных чиновниках, конце света, странном столетии. Юго Грандье запросто приговорил бутылку со своим маляром: местное винишко семивосьми градусов, самое время. Он подчеркнул, что на острове не хватает виноградников. Раньше здесь рос такой приятный сорт. Но старики вымирают, а лозы вырывают. Мы будем пить вино, приготовленное без винограда, отраву, разъедающую кишки, и пластиковые бутылки из-под него усеют все побережье. Как обидно – с таким чудесным климатом, благоприятным для виноградарства! Грандье задумался. Настоящее лето. Настоящая зима. Райская весна, волнующая осень. Да, климат. Только не в этом году: трудно объяснить, но почему-то кажется, что начался он неважно. Все это осязаемо – такие вещи можно почувствовать. Человек обладает неизведанными силами, врожденной уверенностью.

Жан Рокен вернулся домой лишь в два часа дня. Он застал жену на грани нервного срыва.

Высокий, сильный и полнокровный, он был таким же вспыльчивым, как и она, но не любил ни

сцен, ни крика.

Он сел на кухне и с искушенным видом пообедал паштетом, пока орала Симона Рокен, бросившаяся с места в карьер. Он не отвечал и даже не смотрел на нее. Она стояла, не зная куда деть руки, вертелась, топала ногами, приставала и лязгала зубами. Рокен предположил, что у нее месячные: они стали редкими, но зато бурными, резкими, разрушительными.

– Это Клер Фуйу, да? Это с ней ты встречался? С этой лахудрой. Это она. Фуйу! Да? – Симона Рокен обвиняла не взволнованно, а, скорее, грубо. Муж и не думал оправдываться.

Впрочем, она была права. Клер Фуйу, девчонка шестнадцати с половиной лет, утешала пятерых или шестерых отцов семейства, в том числе Жана Рокена. Она работала на обувной фабрике «Барон»: шила союзки, но часто прогуливала и всегда опаздывала. Скоро ее должны были уволить. Она шутила, что быстро найдет себе другие союзки. Родители убьют? Не им ее попрекать. Старик лапал и почти что изнасиловал ее совсем малышкой, так что пусть заткнет пасть. Ну а что касается подлюги-мамани… тут она тоже могла бы много чего рассказать.

Родители Фуйу и впрямь никак не реагировали. Скоро Клер соберет свои манатки и начнет новую жизнь на материке. Она уже успела кое-что накопить.

На самом деле взрослые мужики, которых она обчищала (это всегда происходило во время обеда), оставляли ей около сотни франков. Она пыталась выклянчить больше или выпрашивала подарки – давила на жалость. Они грубо отмазывались, мол, номер дорогущий.

И они не лгали. В Сен-Реми трудно было найти место, чтобы переспать с малолеткой, если нужна кровать, унитаз, проточная вода и биде. В гостиницах для свиданий осторожничали, да и семьи слишком хорошо друг друга знали. Приходилось повышать социальный уровень и снимать номер в «Сфинкс-клубе».

Это была гостиница выходного дня для зажиточных гостей с материка. Они приезжали туда за скорыми гастрономическими, роскошными, нетривиальными адюльтерами, которые затем вносили в свою статью расходов.

Персонал «Сфинкс-клуба» уже начинал узнавать Клер Фуйу, а она улыбалась им в ответ – славная девушка. Они презрительно окидывали ее взглядом, кривили губы и иронично кланялись незадачливому клиенту, который оставлял слишком щедрые чаевые и соглашался на худший номер за самую высокую цену. Нелепая парочка поднималась якобы освежиться, а потом шла обедать. Эта легенда никогда не менялась. Папаши убегали в час дня, под ручку с всклокоченной Клер. Ей нужно было помочь: она боялась спускаться одна после них.

Клер Фуйу была коротконогой и тощей. Без груди, почти без лица и задницы – такие нравятся самцам. Скошенный подбородок, безликие черты, оттопыренные уши, торчавшие из волос, сжатые кулаки, отсутствующий взгляд, склонность ломать запутанную комедию, словно моргая длинноватыми и криво прилепленными накладными ресницами.

Тем не менее, не будь она такой мелкой, ее можно было принять за совершеннолетнюю, если бы только она накрасила мордашку и подделала

удостоверение личности. Но по документам ей было шестнадцать, фигура – вне возраста, а большой костлявый живот напоминал живот покойницы. Любителей возбуждал ее год рождения, а на остальное они закрывали глаза.

Кроме того, она была милой, обладала покладистым характером и думала плохо только о себе самой, ублюдках или о людях вообще.

– Да! – орала Симона Рокен, поджав губы. – Это Фуйу! Клер Фуйу! Твой мешок с костями! Этот труп ходячий! Вот что тебе нравится. Вот что ты выбираешь. Теперь тебе нужны маленькие девочки. Вот оно что. Будешь их караулить на выходе из школы. Что тебя ждет? Ну давай. Давай! Доставай свой хер перед с сками! Доставай перед ними свой хер! Может, хоть раз в жизни у тебя встанет. Импотент. Фуйу!..

Она бросилась расцарапать ему лицо, но вела себя сдержанно, и они оба это почувствовали. Он отпихнул ее рукой, даже не ударив, а она не впилась ногтями, которыми собиралась разодрать ему щеку.

Она отступила к плите и снова заорала:

– Ах да маленькие девочки! Ахаха. С ски. Вот что тебе нужно! С ски! Ты бы их насиловал, да, старый извращенец? Скажи: ты бы их насиловал!.. Старый садюга. А маленьких мальчиков, раз уж на то пошло?.. Чтоб тебя тоже в задницу трахали? Мразь!.. Так у тебя есть Фуйу да? Паучиха! Вот кто у тебя есть! Саранча эта! Вот кто у тебя есть да? Вот кто!.. Ах как же ты мне опротивел! Ахх. Ааахх!..

Она снова набросилась на мужа, схватив крышку от чугунной кастрюли.

Он резко встал и обезоружил ее. Снова сел,

притворяясь спокойным, и продолжил есть.

Минуту она была парализована. Переводила дух. А потом снова забурчала, все громче хрипя, пока не перешла на ор, постепенно ускоряя темп речи:

– Ну и сколько ты забашлял чтобы натянуть эту шлюху? Тебе все равно сколько башлять если это за еблю да? Тут тебе все равно. Тут ты денег не считаешь. Не торгуешься. Не жмешься. Тут-то ты не жмешься и не торгуешься. Ты готов у этой Фуйу говно жрать, тут-то ты не жмешься. Тебе нравится башлять за еблю, да? Если эта Фуйу станет раком ты у нее говно жрать будешь. И еще добавки попросишь. Тебе нужно ее говно, на вес золота тебе оно нужно тебе насрать! Мразь. Сволочь. Сволочь. Сволочь. Ну ладно – ладно можешь идти обратно жрать дерьмо у этой Фуйу! Можешь возвращаться и лизать этой паучихе очко! Ха-ха! Будешь все время этим заниматься! Сколько твоей душеньке угодно! Я не буду тебе мешать! Ха-ха, можешь просаживать свое бабло у всех на глазах! Я не буду тебе ставить палки в колеса! Чего же ты ждешь, почему не приведешь ее сюда? Ты же у себя дома! Чего же ты ждешь?... Старый козел. Мразь. Мразь. Мразь. Мразь. Мразь. Мразь. Можешь идти обратно!

Она, как обычно, стала угрожать разводом, немедленным разделом имущества. Завела старую волынку, проклиная их ремесло, их землю, их хибару (хозяйство принадлежало Рокену), их брак, прошлое, настоящее, прошлое, будущее, прошлое. Он сказала, что хочет убить всю семью и покончить с собой: она-то, по крайней мере, верит в Бога, и на том свете ей воздастся. Она считала, что если перебор, то уже перебор. Она имела право на

тишину, священный покой. Он пахала и пахала как проклятая и заслуживала, пусть не уважения (так много она не требовала) и не любви (она не такая дура), но хотя бы чуточку покоя, отдыха, отдыха. Но муж отказывал ей даже в этом. И где? С кем? Когда?..

Она излагала свои возвышенные взгляды, надрывая глотку и забыв про измену. Она, конечно, редко находила удобный повод для ораторских выступлений. Будучи пуританкой, она не хотела спать с мужем. Ненавидела все плотское, кроме жратвы и порки. В глубине души она была довольна, что Жан Рокен расслабляется без нее. Иногда, во время приступов безумия, она выкрикивала, что готова даже оплачивать проститутку, чтобы окончательно избавиться от этой мерзости. Фуйу или любую другую. Из собственного кармана.

– Из своего кармана! Из своего кармана! – вопила она. От гадливости и отвращения она вывернула губы слизистой оболочкой наружу. Эта гримаса угрожающей мартышки была хорошо знакома Жану Рокену: она предвещала кульминацию всей сцены. Он насторожился.

Она в третий раз бросилась на него, схватив нож.

Он выпрямился перед ней и, широко размахнувшись, влепил ей затрещину всей рукой – от плеча до кисти. Она упала. Он наклонился и вырвал у нее нож. Она заорала и обхватила себя с такой силой, что затрещали юбки. Она разрыдалась.

– Как ты меня достала, – устало и тихо сказал он.

Она поднялась на ноги, слизывая слезы и втягивая стекающую пенистую слюну.

– Хватит! Хватит! Хватит! – заорала она. – Хва-

тит! Возвращайся к своим блядям! Хватит! Хватит! Хватит! Господи!.. Хватит!

Она покачнулась и чуть не рухнула, чуть не убилась.

Жан Рокен шлепнул ее по щеке, схватил за запястья, встряхнул. Казалось, она постепенно приходит в чувство. Он дотронулся до нее, собирался поцеловать, но передумал.

Чуть позже они смягчились и успокоились. Она села рядом с ним за стол и, всхлипывая, даже согласилась съесть щепотку паштета на кончике ножа и корнишон.

Иногда на этом все и заканчивалось, но иногда сцена включала в себя вторую часть: Рокен почувствовал, что это как раз последний случай. Она приободрилась. Щеки еще оставались бледными, но взгляд снова стал лихорадочным, хищным.

Жена пустилась разглагольствовать о детях – ритуальная тема для этой фазы приступа. Ей нравилось мириться с мужем за счет одного из сыновей, который потом долго об этом помнил.

Их дети. Ах!.. Те, что в армии, разумеется, никогда не писали. Разве только просили денег и требовали прислать посылку. Сладости! Им нужны сладости! А они тебе даже два слова не ответят, проводят увольнение бог знает где, мы ради них мучились, а им плевать. Ну а Жюльен…

Мадам Рокен вдруг вспомнила о своем открытии. Она загорелась. Жюльен! Чуть не забыла!

Ну да! Ведь Жан Рокен еще не знает новость дня! Да нет же! Он не в курсе! Он же не знает! Не знает о том, что натворил этот говнючонок Жюльен!..

Она гоготала, смеялась, искрилась. Скрытничала, интриговала. Она обожала инсценировать

разоблачения, оглашения.

Она потащила Жана Рокена в сад и пылко, восторженно показала ему следы на мокром грунте. Спросила пять или шесть раз, что бы это значило.

Рокен сказал, что шаги широковаты. Мадам Рокен надела негодующую маску, как будто ее оскорбили. Этот говнюк просто бежал, вот и все, но это был он! Это был он!

Жан Рокен вступил в игру, в которой победила раздраженная жена. Он грубый, тупой формалист: улики против Жюльена явные, неоспоримые. Однако он сомневался, что сын отважился выйти ночью – возможно, следы появились только сегодня утром? Хотя в любом случае это очень серьезно, очень серьезно.

Симона Рокен опять возмутилась. Нет-нет, это было сегодня ночью, а не утром. Сегодня ночью! Она блестяще изложила свои доводы и даже рискнула провести параллель между бегством Жюльена и пресловутым убийством старухи из сегодняшней газеты. Рокен не читал?.. Старуха! Которую зарезали прямо у нее дома. Деревня в двух-трех километрах отсюда. Стены заляпаны кровью. Не читал? Жаль, она выбросила газету. Да, еще красивая женщина, лет пятьдесят пять, вспороли живот от шеи до самого естества, кишки наружу. Садистское преступление, и они времени зря не теряли: у нее было шесть мильонов. Хранила, дурочка, в белье. Шесть мильонов!

Жан Рокен пожал плечами. Жена преувеличивала. Десятилетний сопляк. Нет, к тому же вина Жюльена гораздо хуже. Если паренек убивает, это хотя бы можно понять: он чокнутый. Его надо лечить. Но Жюльен никакой не чокнутый. Он непослушный. Он что-то скрывает. Ведет двойную

жизнь.

– Никакой он чокнутый! Вот уж нет, никакой он не чокнутый! – причитала Симона Рокен, словно намекая, что сын строит хитроумные, чудовищные козни, обладает интеллектом, о котором они даже не подозревают.

Жена и муж пришли к согласию. Они решили серьезно взяться за пацана. Сегодня же вечером Жюльен должен будет объясниться, когда вернется. Они задушат гидру в зародыше, пока еще не поздно.

Рокены отправились на огород. Сезон намечался скверный. Они смутно планировали, какие применять средства, работы, закупки. Ломали комедию, прикидываясь серьезными, рассудительными, владеющими собой. Разговаривали сурово, не глядя друг на друга. Напряжение росло. Они думали только о вечере.

Жюльен вернулся в восемь – ему разрешали.

Он не волновался: карманы он уже очистил.

На улице никого. Никакого освещения, кроме окна на кухне. Ничего необычного. Жюльен прошел через входную дверь и не стал включать плафон в коридоре.

До кухни оставалось всего два метра, когда на него набросились. Схватили за руку, заорали.

Мать услышала его шаги и подстерегла. Забившись в угол, в нишу за дверью, она следила за силуэтом, смутно проступавшим на стеклянной входной двери. Она выбрала, куда вцепиться.

Метнувшись к выключателю, зажгла свет. У Жюльена подкосились ноги. Потом он насупился, сжался, почти зажмурился. Эти сцены случались в любое время, он всегда был готов.

Сначала ему стало любопытно, какой у нее

предлог. Но потом, когда его затрясли с непривычной грубостью, он больше уже не думал ни о чем.

Симона Рокен допросила и избила Жюльена прямо там, в плохо освещенном коридоре с натоптанным кафельным полом. Лампочка была слабая. Желтоватый, зловещий, скудный сумеречный свет идеально подходил для наказаний, и Рокенам он нравился. С кухни доносился запах супа, лука-порея, репы, моркови. На острове говорили, что кастрюля на плите должна улыбаться. У Рокенов она плевалась, шипела, сама себя мутузила, стучала крышкой. Просто Симона Рокен стремилась делать все основательно. Это было ее словечко, ее девиз, ее принцип. Она стирала основательно, подметала основательно, варила основательно, спорила основательно, проверяла основательно, учила основательно – и то, что не было сделано основательно, не было сделано вообще. Это правило позволяло ей скрывать под личиной добродетельности извечную ненависть к вещам и людям.

Вопросы, которые она задавала Жюльену, не требовали ответа – они просто добавляли остроты толчкам и шлепкам. Мальчику не составляло труда молчать: мать кричала слишком громко.

Потом она резко его отпустила, словно он стал вдруг липким.

Теперь он должен был ответить, объясниться, рассказать, признаться, а не то. Жюльен все отрицал, даже следы. Он ничего не знает, ничего не делал.

Такова была его тактика с теми, кто сильнее: уходить в полную несознанку. Аргументировать, строить фразы, сбивать с панталыку, хитрить, лгать перед взрослыми? Все равно что перед ата-

кующим слоном.

Отец следил за допросом. Упертость Жюльена вывела его из себя. Ему надоело. Он вышел на сцену. Из-за криков и ударов мальчик не сразу его заметил.

– Подвинься. Иди на кухню, – приказал Жан Рокен жене. – А ты разденься до пояса.

Жюльен удивленно посмотрел на отца. Рокен закатал рукава, с руки у него свисала цепь. Пару лет назад у них издохла собачонка.

Мальчик не решался снять одежду. Тогда Симона Рокен вернулась, набросилась на него с криком и сорвала пуловер. Жюльен покачал головой и покорно стянул с себя рубашку.

Жан Рокен торжественно, глухим голосом попросил объяснить, зачем он уходил из дома вчера ночью. Паренек опустил голову и стал отпираться. Оставаясь спокойным и серьезным, Рокен медленно повторил вопрос. Жюльен не сказал ни слова. Рокен повременил, уставился на малыша, выдохнул через ноздри и снова подождал, как плохой актер, который способен произвести впечатление только на сборище дебилов. Он задал свой вопрос в последний раз.

Жюльен не ответил, у него задрожали губы, а на глаза быстро навернулись позорные слезы. Отец толкнул его в голову, чтобы он развернулся, придержал за руку и ударил.

Симона Рокен составила ему компанию.

– Сволочь! Сучонок! Мразь! – орала она. Она впивалась ногтями в свои ладони, смотрела на цепь, руку, жертву. Так покраснела от возбуждения, что, казалось, вот-вот лопнет.

– Сучонок! – орала она. – Говнюк! Говнюк! Ах ты ее не грабил! Ах хоть эту-то ты не грабил! Но

чем он занимался сегодня ночью? Чем он занимался? Куда он мог пойти? Но он скажет! Он сука скажет! Клянусь тебе он скажет! В порошок его сотрем! Но ты скажешь! Ты скажешь! Клянусь тебе что ты скажешь! Сучонок! Гаденыш! Что он там еще наделал? Что он там еще натворил? Нет нам уже осточертели все эти выходки! Нет ты думаешь нам еще не осточертели выходки все эти? Нет ты думаешь ты у нас в печенках не сидишь? Думаешь этого мало? Тебе мало? Тебе еще мало? Мы что еще мало вкалываем ради тебя? Нужно чтобы мы еще сдохли из-за тебя? Тебе мало? Тебе нужно продолжение? Нужно продолжение? А тебе нужно продолжение. Ладно мы тоже тогда продолжим! А теперь все. Конец! Конец! Мы не пойдем у тебя на поводу представь себе! Мы не попадемся тебе на удочку! Ты нас не проведешь! Если ты думаешь что проведешь нас! Ты нас не проведешь!.. Да он бы убил нас! Он бы нас убил! Да это вполне возможно! Это вполне возможно! Это мучение а не ребенок! Но я больше не могу! Я больше не могу! Но мы больше не можем! Никто бы не смог! Да это же наказание!..

Она так громко выкрикнула слово «наказание», что резко заболело горло. Она согнулась, кашлянула и харкнула кровавым сгустком, который прилип к ее губе.

– Он меня убьет! Убьет! – простонала она и отправилась за водой на кухню.

В ту же минуту Жан Рокен перестал бить: он почувствовал, как цепь провалилась в пустоту. На полу, у себя под ногами, он заметил что-то красное, мягкое, мокрое, необъяснимой формы. Рокен рассмотрел сына.

III

Ален Вио протянул левую руку и показал Мари-Антуану Перефиксу на мальчиков, сидевших кружком на траве в нескольких метрах от них.

Начиная с пасхальных каникул, шайка была не такой уж многочисленной. Некоторые отсутствовали, появились новички, и они заметили группу незнакомцев, которые вели себя необычно. Эти спорили со старшими.

Мальчики разделяли фантазии младших. Тем не менее они придавали большое значение возрасту, классу, школе и расстоянию до дома. Что касается шайки Жоашена Леско (Вио и Мари-Антуана), их немного сторонились. Они были слишком малы: лучше ничего им не говорить, а то разболтают. Их считали легкомысленными, опрометчивыми, даже опасными.

Они щебетали на краю лужайки, равнодушные к тому, что затевали другие. Они нежились на солнышке, им было хорошо.

Перефикс, глуповатый и очень кокетливый мальчуган, был главным другом Жоашена Леско. Он был на пару месяцев старше. Короче, самым старшим был Вио. Родители Перефикса владели писчебумажно-газетным магазином рядом со школой, куда они ходили все втроем.

– Они там? – спросил Мари-Антуан.

– Не они, – сказал Ален Вио, – а он!.. И потом он!..

– Они? А чего у них?

Вио опустил руку. Никто еще не догадался, что он левша: младшие не обращали внимания,

старшие даже не смотрели на Вио, а в школе он карябал правой. Мальчишки заметили только его косоглазие, потому что над ним принято подшучивать.

– Ничё, – ответил Вио, забыв, что хотел сказать.

– Ну значит, ничего, – примирительно согласился Мари-Антуан.

Он изобразил заинтересованность. Он обожал полную тишину. На этом краю лужайки было очень красиво. Они не скучали, вовсе нет.

– Ах да, я знаю, чего у них, – снова заговорил Ален Вио немного спустя. – Потому что он, постой… Так и есть. Он вставляет писюн в шоколадную трубочку, поэтому у него писюн в шоколаде. Вот.

Он показал на мальчишек, которых раньше не видел. Мари-Антуан понятия не имел о трубочке и переспросил.

– Ну, в общем, он, – спокойно повторил Ален Вио, – вставляет писюн в шоколадную трубочку, и у него он после этого в шоколаде.

– Кто – он? – спросил Мари-Антуан.

– Он! Потому что это он! Он вставляет писюн в шоколадную трубочку, потом после этого у него писюн в шоколаде!

Вио широко развел руки: что тут непонятного?

Жоашен Леско жевал клевер и не слушал.

Тут Мари-Антуана посетила мыслишка, возможно, связанная с тем, что рассказывал Вио. Он плутовато улыбнулся:

– Свой кукан?

Ален Вио вздохнул: он не знал этого слова, употреблявшегося в той части острове, где родился Перефикс.

– Понимаешь, – невозмутимо объяснил он, –

это легко!.. У него писюн в шоколаде, потому что он вставляет свой писюн в шоколадную трубочку. Сечешь? Потому что это шоколад!

– Что-что я там делаю? – послышался смеющийся голос у них за спиной.

Это Эрве Пелиссон к ним пожаловал.

– Вот и Патиссон, у него писюн в шоколаде, – сказал Вио.

– Помолчи ты Сороконожка! – добродушно сказал Эрве. – Не говори таких слов при моем двоюродном братике!

Он чмокнул Жоашена, а потом Мари-Антуана. Пожал руку Вио. Сел рядом с ними. Ему нравилось общаться с этими тремя ребятами, несмотря на разницу в росте и свой слегка ломающийся голос. Тот снова становился звонким и веселым, когда Эрве разговаривал.

Он раздвинул и согнул ноги под прямым углом. Предложил двоюродному брату сесть между ними. Прижал его к себе и зарылся носом в его волосы.

Жоашен любил, когда его ласкали. Еще он любил слушать, как живот Эрве резонировал за спиной во время разговора, смеха, восклицаний. Живот втягивался, выступал, вибрировал. Только слегка давила пряжка на ремне: Жоашен немного подвинулся и больше ее не чувствовал.

– Эй ты чё-то посеял, – быстро сказал Вио, тыча пальцем в пучок травы за спиной Эрве.

Тот посмотрел: ничего он не потерял. Потом понял и засмеялся. Ален Вио подшучивал так над всеми. И они всякий раз велись.

– Все конечно в курсе но ты опять меня наколол Острый Глаз! – сказал Пелиссон.

– Да нет вот чем я разжился, – возразил Вио.

Он порылся в штанах и вытащил элегантный

собачий ошейник из мягкой, тонкой, роскошной новой кожи. Ах, какая собака! Они цепляют на своих собак дорогие вещи! Деньжата у них водятся!

– Где ты им разжился, в магазе? – с интересом спросил Эрве.

– С собаки снял, – сказал Вио.

– У тебя есть собака? – спросил Мари-Антуан.

– Ошейник, – ответил Вио.

– То-то и оно, – сказал Мари-Антуан, – у нас тоже у моей матери нет такой собаки. Везет же некоторым.

– Некоторым собакам, – сказал Пелиссон. – Да, Мари?

– Это ошейник, да? – сказал Мари-Антуан.

– А где ты им разжился? – с восторгом спросил Жоашен.

– Снял с собаки, – ответил Вио. – Старушенция, одна старушенция, это была ее собака, врубаешься? На поводке. Крадешь собаку, крадешь поводок, и вот у тебя ошейник.

– Ну да если тока она не кусается, – сказал Мари-Антуан.

– Чё делает? – спросил Жоашен Леско.

– Я сидел внизу, – сказал Вио, – ну знаешь собака привязана к лавочке.

– Она не кусалась?

– Собаки меня не кусают, – сказал Вио, – мы ржали там под лавочкой, потом он смылся, а потом я…

– У меня ничего нет, – сказал Перефикс.

– А у меня есть одна фиговина! – крикнул Леско.

Он немного отодвинул живот Пелиссона и порылся у себя в кармане.

– Я отдам это Мари-Антуану! – сказал Жоашен, протягивая предмет.

Все присвистнули от восхищения. Перефикс взял, но сказал:

– Я не могу оставить это у себя, мать увидит и подумает, что я сам взял. Ну и фиг с ним!

– Я тоже, – сказал Леско.

– А я могу, – сказал Ален Вио. – Ты мне дашь?

– Ладно, – сказал Мари-Антуан, – дам после себя, я быстро, идет?

Эрве нежно гладил внутреннюю сторону бедер Жоашена, прижимавшегося к нему. Он попросил рассказать о краже. Просто везуха, сказал Леско.

Мать послала его в табачный бар Вассера за двумя блоками сигарет для посетителей. Он упаковал блоки в свою продуктовую сумку, а потом стал рассматривать прилавки с журналами. Они лежали на краю стола, за которым кто-то пил.

– И ты стибрил их со стола? – потрясенно спросил Эрве.

– Да.

Все снова присвистнули: Леско был развит не по годам.

А как же посетитель? Он был там? Жоашен ответил возбужденно, слишком быстро и крикливо:

– Нет, он как раз встал, мадам Вассер позвала его к телефону, она сказала, мсье, ваш номер! Я увидел ручку, потом посмотрел, чтобы он меня не увидел, и после этого – хлоп! А он даже свой кошелек оставил!

– Нет тогда бы он разорался ты все правильно сделал, – сказал Эрве Пелиссон.

Его правая рука снова потянулась к промежности Жоашена и стала машинально теребить его причиндалы.

– Подождите, я схожу пописяю, – сказал Леско.

Он поднялся, отошел на пару шагов, встал спиной, повернул голову к мальчикам и продолжил рассказ:

– Он такой куда же подевалась моя ручка вы ее не видели мадам Вассер? Вот те на четырехцветная!

– Везет же некоторым, – заметил Мари-Антуан Перефикс, – у меня мать такие продает, есть даже шестицветные.

– Четырехцветная стоит аж тридцать франков! – сообщил Эрве.

Он понятия не имел о цене – просто хотел сказать что-то приятное для двоюродного братика.

– Что? – вскрикнул Леско. – Сколько-сколько она стоит?

– Да нет две тыщи, – поправил Мари-Антуан, чтобы польстить своему семейному самолюбию. Похоже, две тысячи показались Жоашену весьма приличной суммой. Он даже не мечтал украсть что-нибудь настолько дорогое. Две тысячи франков!

– Это ж сколько бабок!..

– Еще бы, – с готовностью подтвердил Эрве. Он усадил малыша так же, как раньше, но немного выждал, прежде чем положить руку на то же место.

Перефикс тоже встал в свой черед и пошел отлить.

– Эй, ты чё-то посеял! – быстро сказал Ален Вио.

Мари-Антуан вернулся, поискал глазами на земле, а потом покачал головой и обозвал Вио дебилом.

– Тебе тоже надо так сделать! Сделай так со

мной! Сделай! Вот увидишь! – ответил Ален Вио.

– И он не подумал, что это ты? – спросил Эрве.

– Подумал, но только не он! – сказал Жоашен. – Это мадам Вассер сказала тому дяде! Если тут и есть вор то это малыш Леско! Вон там в углу! Но это уж точно не он мсье уж точно!

– Так и сказала?

– Да а он такой нет-нет уж точно нет я не стану обвинять не переживай малыш нет я

– Малыш! – фыркнул Ален Вио. Жоашен со смехом его шлепнул:

– Перестань, только потом мадам Вассер она мне такая эй Леско ты не видел дядину ручку четырехцветную?

– А ты ее не видел? – спросил Перефикс, переставший следить за разговором.

– Видел но я сказал нет потому что я такой я посмотрю на полу! Птамушта если бы он заподозрил врубаешься я такой ой я ее вижу вон там на полу под теми штуками и потом как будто понарошку я ее оп нахожу!

Все восхитились находчивостью, ловкостью и смелостью Жоашена Леско. История просто невероятная. Но ручка была тут как тут.

Жоашен пересказал всю историю с самого начала. Эрве целовал ему затылок и уши. Ален Вио писал ручкой на ладони.

Мадам Тере, сидящая за кассой, зовет Рене. Она минуту ждет, кричит снова, пожимает плечами. В среду его невозможно удержать. Мания шляться. Бог знает, куда он ходит. Ведь здесь столько всего интересного. Даже любопытно, какие глупости он может наделать. Мадам Тере пытается представить. Нет, право же. Помимо дуростей… Она вздыхает.

Она ерзает на сиденье и зовет мужа:

– Эдмон?..

Долгая тишина. Он что, тоже вышел? На него не похоже. Надежный муж. Он не только никогда бы не изменил своей жене, но даже частенько забывает ею пользоваться. Луиза Тере не в обиде. Она не ханжа, но все эти мерзости…

Она проходит в комнату за магазином и зовет снова. Из подвала доносится едва различимый голос. Вот оно что – Эдмон составляет опись бутылок. Мужчина, который никогда не пьет. Идеал. Мадам Тере вздыхает. Он даже не курит. Он работает. Подчиняется. Руководит. Мадам Тере думает о том, что вышла замуж за сухаря. Она могла бы поклясться, что не помнит, откуда у них появились трое ребятишек. Наверное, бедняга тоже забыл. Что на них нашло? В конце концов, так даже лучше.

Входит посетительница. Это старая мадам Пропляд с внучкой. «Маленькая Проблядь», – думает Луиза Тере – она бывает острой на язык. Девчонке лет пять-шесть. Семья Пропляд очень хорошо известна на острове, очень древняя, сливки общества.

Мадам Тере нисколько не завидовала женщинам этого круга, хотя он был намного выше ее собственного. Она ревновала только к гостьям с материка. Когда в магазин входила шикарная туристка в брюках, загорелая, высокая, с солнцезащитными очками на лбу, в дорогущих шмотках, худая как лань и с голосом дикторши в аэропорту, у мадам Тере белело в глазах от злости. Все считали ее красивой, элегантной, в меру упитанной, но в присутствии этих парижских жеманниц она превращалась в кубышку, кумушку, коротконогую

консьержку, неряшливую, расфуфыренную служанку. Женщины, которые покровительственным тоном спрашивали экстравагантные товары, улыбались ей, словно умственно отсталой, и почти ничего не покупали. Тем не менее они на целый час отравляли ей жизнь тем, как презрительно посасывали дужки своих очков.

Мадам Тере оставалась, напротив, красивой и элегантной в присутствии Проплядов и им подобных по всему острову, которых встречала весьма учтиво.

Мадам Пропляд опускает глаза на внучку:

– Иоланда, как можно! Не трогай пальцами этот прилавок а не то испачкаешься моя дорогая!

«Во-во, засунь их себе в жопу уж там-то почище будет», – иронично подумала мадам Тере.

Девочка предпочла потрогать свой нос. Мадам Пропляд талантливо играет роль посетительницы. Она не скряжничает. Луиза Тере очень хорошо подает ей реплики. К сожалению, нет, мангового уксуса у нее нет. И даже малинового? Даже малинового. Мы готовим его сами, мадам. Разумеется, мадам, но я бы хотела, э. Весьма сожалею, мадам.

Иоланда мечтательно засунула в одну ноздрю большой палец и смотрит разинув рот на пыльные полки из почерневшего дуба. Сколько пестрых коробок! Сколько бутылок! Сколько баков… точнее, банок! Сколько всего-всего. Натертая ноздря мало-помалу увлажняется.

– Я же тебе запретила Иоланда моя дорогая. В твоем-то возрасте, как можно!

Девочка хмурит брови: что это за табу? Ах да, нос. К черту этот нос. Она лениво позволяет вытереть виноватый палец. Мадам Тере криво улыбается ей из-за прилавка. Уж ее-то девочки никог-

да не будут такими гадкими и тупыми. Малышки Тере, ее сокровища.

– А ваши сокровища? – спрашивает мадам Пропляд. – Что-то давненько я их не видела! Мы живем – ох! – так далеко!

– У них все хорошо, но благодарю вас! – кокетливо отвечает мадам Тере. – Они, конечно, немножко постарше этого ангелочка, им девять и десять, разумеется.

– Разумеется, да-да! Ох, да! Как быстро дети растут, как быстро, ох, да!

– Ох да, ох да! Как быстро дети растут! Глазом не успеешь моргнуть!

– Ох, да, глазом не успеешь моргнуть! Как точно! Мы больше не замечаем, как они растут! Не успели родиться, как они уже замужем!

– Ох да, ох. Не успели родиться! – соглашается Луиза Тере.

– Не знаю, как в ваше время, но в мое время так быстро не росли! – говорит мадам Пропляд. – По-моему, дольше оставались маленькими девочками! Возьмите вашего сына разве его уже не называют большим мальчиком? А ведь ему всего-навсего…

– Тринадцать, – завершает мадам Тере. – Эх да как они растут, как они растут. Только что были с вами, и вот их уже след простыл.

– Да-да, ох! И не говорите!.. Глазом не успеешь моргнуть!

– Ох, и не говорите, не знаешь, что и делать! В общем… Этот ангелочек останется с вами еще на несколько лет!..

– Да-да, ох! Да! По крайней мере! Эта милашка! Они все-таки не растут ну прямо вот так уж быстро!

– Да-да, ох нет! Все-таки не надо слишком преувеличивать! Они растут не так уж быстро, ох нет!.. Успеваешь следить за годами!

– Ох да! Успеваешь! Ох да, увы, ох! Как время летит!..

Они покровительственно, ностальгически, нежно вздыхают.

Мадам Пропляд покупает варенье из имбиря, бергамота и цитрона, пузырек майорана, пять граммов шафрановых волокон и две унции чая «маофэн».

– Да, ох! Такой вкусный, тонкий, легкий, деликатный, ох! Только у вас можно его найти! Только ради этого кстати! Но и весь ваш магазин… Ох! Этот аромат!

«Мой магазин благоухает уж получше твоего хозяйства», – саркастично думает мадам Тере. Она украдкой бросает плотоядные взгляды на старую мадам Пропляд, стыдливо опускает глаза и бормочет «очень редкий чай, очень редкий чай»: если бы под прилавок забралась кошка, она затоптала бы ее каблуками.

Иоланда меняет палец и ноздрю, и как раз в ту минуту, когда бабка с внучкой выходят, в дверь входит Рене Тере. Он придерживает свернутый в клубок пуловер у щеки, как будто согревая флюс, и быстро пересекает магазин.

Мадам Тере не любит, когда дети возвращаются через магазин. Особенно Рене, вечно расхристанный и помятый, словно босяк. Что произошло на этот раз? Наверняка, драка. Снова фингал, который он прячет под свитером. Нужно ему научиться боксировать, учитывая, сколько синяков ему наставили, с тех пор как он научился ходить.

Дверь звякнула, и Пропляды ушли.

– Рене? – окликнула мадам Тере.

Но это Эдмонд, который сказал вполголоса:

– Иди быстрее, это серьезно.

Мадам Тере с решительным видом прошла мимо своего мужа и шагнула в квартиру. Рене стоял перед раковиной и мыл щеку, раздевшись до пояса.

– А ну-ка покажи! – холодно сказала Луиза Тере и покачала головой из стороны в сторону.

– Это от удара ножом, мой дружок я не ошиблась?

Рене отрицательно покачал головой.

Их догнал побелевший отец.

– Рене, это ужасно! – пробормотал он.

Эдмон Тере, боязливый отец и безобидный муж, был в ужасе от горячности своего сына и своей жены. Его утешали только две дочки – такие же мягкие, как и он.

Кровь хлестала из раны Рене. Она была длинная, кривоватая, с четкими краями. Начиналась под глазом и пересекала правую щеку, опускаясь до самой челюсти. Придется наложить несколько швов.

– Может, вызвать доктора Горена? – предложил мсье Тере.

– Пф, эту старую мартышку? – сказала Тере. – Он отправит его в больницу, на что вообще он годен? Целится в одну ягодицу, а попадает в другую. Нет.

Она определенно была в ударе. Но никто не смеялся.

– Покажи, очень глубокая?

Рене покорно придвинул щеку. Мать, сощурившись, с видом знатока промычала «мм, мм», а затем сказала, что могло быть и хуже.

– Вызови Амбрез, – подытожила она. – Эта хоть не болтливая и не будет требовать объяснений.

Рене промакивал щеку и шею тряпкой, которая уже становилась алой. Снятая одежда тоже была пропитана кровью.

– Я пока ни о чем тебя не спрашиваю, – сказала мадам Тере, – но есть еще убитые?..

Рене сказал, что нет.

– Если дерешься на ножах, дружок, нужно быть готовым ко всему, учти. Или он, или ты! – геройски заявила Луиза Тере, как будто сама сотню раз орудовала кинжалом.

– Не было у меня никакого ножа, – пробормотал Рене. Он единым духом рассказал приукрашенную, раздутую, наполовину лживую историю: ему хотелось казаться мужчиной, крепким орешком – похвастаться и защититься от матери, прикрываясь ярким приключением.

– Нет, – сказал он – я дрался, как обычно, с одним кентом, неместным, это, эээ… дружки из Сен-Лу… Мы дрались, как обычно, а потом один напал на меня сзади, и у него был нож, хорошо, что я почуял, и он попал сюда, потому что промазал… потому что иначе он бы попал вот сюда, не знаю у него не все дома.

Рене провел указательным пальцем по горлу. Мадам Тере это шокировало и испугало. Рассказ мальчика ее потряс, разбудил страхи, вылившиеся в злобу и возмущение. Она представила сына на пустыре или в тупике с кирпичными стенами, при полной луне, один на один с Черными волками или Синими тиграми – страшной бандой хулиганов, сыновей рабочих и шлюх, каждый из которых размахивал тесаком, бритвой или «розочкой» от бутылки.

– О своей жизни расскажешь мне позже, – сказала она. – А пока я хочу, чтобы ты больше не выходил из дома. Я тебе запрещаю. Понял? Понял? Будешь весь день у меня на глазах. И не разрешаю тебе ни с кем встречаться. И тебе еще повезло, что ты… вот, иначе я тебе покажу, ребенок ты или кто. Драться на ножах в тринадцать лет!.. Да и в любом другом возрасте!

Врачиха Амбрез зайдет после ужина. Она объяснила по телефону, чт необходимо тем временем сделать. Мсье Тере вышел купить лекарства. Мадам Тере разгорячилась.

– Вот здесь! У меня перед глазами! Целый день! И когда снова пойдешь в лицей, будет то же самое! Мне нужны, слышишь, нужны доказательства, что ты туда ходил! Заведем специальный блокнот, и ты попросишь там расписываться! И пусть директор ставит печать! Каждый день! Понял? А остальное время – здесь! Вместе с нами! А твоих хваленых дружков разгоним!.. И ночью – под зам к! Под зам к!

Она показала жестом, как поворачивает ключ. Затем Рене разрешили наконец прилечь. Он потерял много крови, побледнел, кружилась голова, он мог вот-вот рухнуть в обморок, Луиза Тере хорошо это видела. Поскорей! Она отвела его, оставила дверь открытой и была вынуждена оставить мальчика: вошли посетители. Но она не спускала с него глаз.

Амели-Лиан, как всегда, когда нечем было заняться, задумалась над тем, какое имя было бы лучше: Амели-Лиан Глера, Амели-Лиан Буатар, Амели-Лиан Буатар-Глера или Амели-Лиан Глера-Буатар. Пока что, по родительской прихоти, девочка носила фамилию отца, а мальчик – фами-

лию матери. Несмотря на известность Глера, Амели-Лиан была недовольна таким разделением: в конечном счете она предпочла бы девичью фамилию своей бабки по отцовской линии – матери Мориса и супруги деда Гастона Глера. До замужества ее звали Констанс Пинон. Как мило – Пинон! Девушка мечтала о том, чтобы ее звали Амели-Лиан Констанс. Когда отец станет депутатом, она… Опять этот пацаненок! Франсуа-Жерар снова достал свое напрягшееся хозяйство.

– Можешь разгуливать с писипулькой навыпуск, – заявила Амели-Лиан, – меня это аб-со-лютно не ко-лы-шет!

Франсуа-Жерар хихикнул. Его сестра тоже.

Потомство Лоры и Мориса с раннего детства сохранило некоторые привычки нудизма и даже бесстыдства. Лора Буатар считала, что это очень мило и даже возвышенно. Тем не менее, после полового созревания Амели стала усердно прятать собственное тело, а Франсуа пользовался положением младшего, двенадцатилетнего братика, оставаясь наедине с сестрой. Он раздевался под тем предлогом, что собирался принять ванну, ходил по квартире голышом и приставал к Амели-Лиан.

Она уже привыкла к этому ритуалу и, как и полагалось, разыгрывала усталость и презрение.

– Опять почем зря набираешь ванну, все ясно, – иронично заметила она.

– Нет! Я ее приму! – сказал Франсуа-Жерар.

Слышно было, как течет вода. Франсуа не любил мыться, и, закончив дефиле, был вынужден ломать комедию. Он закрывал дверь, взбалтывал ногой воду, отдувался, слегка смачивал волосы и еще немного помешивал воду другой ногой. По-

том натягивал большой папин купальный халат и наливал одеколона себе на голову и на пальцы ног. Он выдергивал затычку из ванны. Пока спускалась вода, с довольным видом любовался собой в зеркале, подражая не то клоуну, не то своей матери. Вы так милы, так красивы, Франсоа-Жераар. Он прикидывался лапочкой. Вы такая лапочка, такая лапочка, Франсоа! А крантик тоже?.. Гм, недурно. Недурно, мой мальчик. Он кончал, раза три взмахнув рукой, слышал последнюю отрыжку сточного отверстия. Выходя из ванной, с наслаждением нюхал пальцы, пропитанные запахом члена. Он обожал этот аромат, порой ослабевавший после мытья, ведь он принимал душ по нескольку раз в день. Франсуа был от природы падок на удовольствия, а весной сюда примешивались наглость, насмешливость, любовь к грубым словам, каламбурам и подражанию. Трудные годы не за горами.

– Кстати, писипипка, а не писипулька! – сказал он сестре.

– Можешь называть ее, бедняжку, как хочешь, это ничего не меняет, – сказала Амели-Лиан.

Они с удовольствием пикировались всю вторую половину дня и весь вечер, обмениваясь привычными колкостями, скверно посмеиваясь и нервничая.

Между четырьмя Глера, родителями и детьми, все звучало фальшиво. То была фальшь бульварного театра, когда на сцене изображают буржуазную семью такой, какой она себя видит – современной, фрондерской, безумно жизнерадостной: все очень забавны и обладают яркой индивидуальностью, все друг друга обожают и блещут остроумием. Такая же атмосфера царила и у Глера, вызывая

отвращение даже у самых сочувствующих гостей. Когда расходились, всех тошнило, а Глера оставались очарованными собой и собственным спектаклем: они идеальная семья, разве нет?

– Как жаль что бедняжка остается одинаковой уже двенадцать лет… На твоем месте я бы вообще прятала ее с глаз долой, – сказала Амели.

Побежденный Франсуа, у которого в этот момент наступила такая сильная эрекция, что даже заболел анус, вскрикнул:

– Да у тебя у самой писька как у коровы!

– Во-первых, не вижу связи, и потом, тебе не кажется, что ты ненароком совсем малюсенькую чуточку преувеличиваешь? Все-таки надо бы…

– Ну ладно, – перебил Франсуа, – не как у коровы, а скажем, ээ, как у осла, ээ, у ослицы!

– С тобой невозможно, Франсуа-Жерар, – сказала Амели. – А эта ванна?.. Довожу до твоего сведения, что ноги у тебя благоухают совсем не розами. Да и цвета другого.

– Мои ноги! Это еще что? – завизжал Франсуа. – Не доставай нас, котик.

Амели-Лиан состроила соответствующую гримасу и выдохнула через ноздри.

– Они не грязные, – продолжил ее брат. – Сама посмотри!

Он подошел и, подняв ступню вровень с Амели (развалившейся на подлокотниках клубного кресла а-ля мадам Рекамье), сунул ей прямо в лицо своей изогнутый маленький пенис.

Амели-Лиан возмущенно шлепнула по нему, отчего член мальчика взбодрился. Франсуа заорал:

– Рхахх! Да нет, давай! Не стесняйся! Насилуют! Насилуют! На помощь! Ко мне! Пожарные!

Отсосы!

– Тшш!.. Ты хоть не знаешь, что такое отсос? – загадочно и надменно сказала Амели-Лиан.

Она щелкнула пальцами, чтобы брат перестал вопить. Такой назойливый, не умеет владеть собой, впадает в истерику.

К несчастью, Франсуа недавно узнал значение упомянутого непристойного слова и объяснил его жестами, надув щеки, приставив руку ко рту так, словно грыз морковку, и повторяя «чмок-чмок». Он посмотрел на сестру, очень смешно выпучив блестящие глаза. Чмок-чмок.

Амели-Лиан отвернулась и подавила смех, сжав и растянув губы, пожала плечами и покосилась на свой нос картошкой, словно говоря какой дурачок если считает что мне смешно какое жалкое зрелище. Ее интересовали только зрелые мужчины старше двадцати пяти. К тому же она была не девственница, а просто глупышка.

– Снова голышом, Франсуа-Жерар! – весело воскликнула Лора Буатар, входя в прихожую.

Мальчик тут же повернулся и исчез.

– Какая славная попка у твоего брата! – добавила она, обращаясь к Амели-Лиан.

Лора швырнула свою сумочку на диван и вздохнула:

– Какой изнурительный день, милая! Мне больше нравится преподавать – там хотя бы сидишь!

– Попка – пожалуй, единственное, что в нем хорошего! – сказала Амели. – Временами я даже не понимаю, от кого ты родила эту мартышку… Кстати, ты видела папашу Гийяра, прости, мсье Гийяра?

– Ты слишком строга, милая! Франсуа-Жерар – еще ребенок… Он ведет себя естественно, непо-

средственно… Можно подумать, ты ревнуешь… Нет, я не видела Гийяра. Оставила записку и попросила прийти с образцами сегодня вечером или завтра. Ты будешь завтра?

– Ты говоришь о ревности к мартышке! Он комедиант, да, твой такой непосредственный мальчонка, кривляка!.. Завтра зависит от времени, – добавила Амели важным тоном «моя жизнь касается только меня».

Лоре Буатар не нравилась эта манера. Пару месяцев назад она пообещала дочери противозачаточные таблетки при одном условии: она будет перед ней отчитываться об их употреблении. Однако Амели до сих пор ни о чем не спрашивала и ничего не говорила. Зачем же она притворяется, будто у нее есть личная жизнь? Это нелепо. И какое проявление недоверия. Лора Буатар пожала плечами:

– Полагаю, ты сможешь быть здесь часов в семь-восемь?

– Смогу… да, смогу, разумеется, смогу, ради такого случая смогу! – раздраженно пробурчала Амели.

– В конце концов, милая, ты же сама попросила переделать эту комнату! Мне все равно! Странная ты! Можно подумать, я тебя заставляю. Если передумала, так и скажи, и…

– Как ни крути, с этой безобразной мебелью, даже если поменять обои… – вздохнула Амели.

– Ты невыносимая, милая… Знаю, знаю, что тебе не нравится твоя мебель, хотя она прелестна, ну да ладно!.. Просто немного терпения, прошу тебя, пойми наконец, что… Нет! Тебе нужно все и сразу, и…

– Какую еще заразу? – остроумно перебил

Франсуа-Жерар.

Он уже принял ванну – или сделал вид.

– Ой, ну и вонь! – вздохнула Амели-Лиан, зажимая нос.

– Что?.. Это же папин одеколон!

– Он не душится так сильно, милый, он не душится так сильно, – сказала Буатар.

– В любом случае, ладно, в общем, я буду завтра здесь, если он не зайдет сегодня, – сказала Амели. – Но ты уверена, что эти самоклеющиеся…

– Да нет же, не уверена, милая! Конечно, нет! Мы никогда ими не пользовались. Посмотрим! В общем, не будь такой… такой… Ты такая… агрессивная со мной! Ты должна знать, что…

– Котик-котик-котик, – дурачился Франсуа. – Мяу! Мрррр!..

Послышался негромкий звон ключей.

– Ух ты, Морис. Он что, не бухает тудэй? – спросил Франсуа.

– Ты чересчур… чересчур увлекся, милый, ты становишься невоспитанным! – отчитала его Лора Буатар.

Она заботливо повернулась к двери гостиной.

Вошел Морис Глера. Похоже, он и не пил.

– Добрый вечер. Всем. Добрый вечер, – сказал он с серьезной, но мягкой улыбкой.

– Ты чё правда сёдня не наквасился? – фальцетом крикнул Франсуа. – Мама не хочет, чтоб я так говорил.

– Правда, милый, – бархатным голосом сказал Глера. – Только не говори «мама», это отвратительно. Глупо. От этого веет нафталином. Не говори так. Хорошо?

– Ладно, уф, Лора не хочет.

– Да, она не хочет. Ты сам сказал. Пусть так.

Она не хочет. Да. По сути дела, она может ошибаться, ведь по сути дела, в сущности…

Он остановился и напыщенно обсосал губы Лоры Буатар. При этом даже не снял свои массивные очки. Сама Буатарша надевала их только в лицее или когда писала: она была дальнозоркой, а ее любовник – близоруким.

Лора заметила, что от него пахнет… Возможно, это была водка, но с чем-то анисовым, можжевеловым или…

– Аквавит, – шепнул ей на ухо Глера, отводя губы. – Но совсем чуточку!.. Думаю, градусов пятьдесят… Наслаждение, которое… Ну в общем, понимаешь, Юмьер, тот, что прожил три года в Ютландии..

Юмьер был старым холостяком, старым преподом с политическими связями, желчной, презрительной внешностью и призванием серого кардинала. Его навещали парижане. Он терпеть не мог Глера. Поразительно, что он пригласил его к себе выпить.

– У него дома? – осторожно прошептала Лора, и ее глаза загорелись надеждой.

– Да. Да. В самом деле. У него дома. Я должен это сказать. У него дома. В самом деле. Мрачное местечко, – сказал Морис. – Мрачное. Старый девственник… В общем.

– Милый! Это правда! Я вне себя от радости! – взвизгнула Лора Буатар.

– Морис, у тебя ста денежек не найдется? – спросил Франсуа, закутанный в свой неизменный купальный халат.

Два-три раза в неделю он обчищал карманы отца. Это была официальная привилегия, которую они ритуально высмеивали и оспаривали.

– Простак! Ну вылитый Простак! – прогнусавила Амели-Лиан. – Знаешь, тот, что в «Белоснежке», в мультике, гном!

– Тебе же вчера давали, милый, – почти жестко возразила Буатарша.

– Милый, – сказал Морис Глера, поворачиваясь к Франсуа, – возможно, у меня и есть… ммм… «сто денежек», в самом деле… хоть я и не знаю, что ты имеешь в виду: франки или сантимы… однако баста!.. ммм… ты считаешь необходимым рыться у меня в карманах?.. Ммм… Ххх… Я что, роюсь в карманах, в твоих… ххх… карманах?..

– Просто я не ношу там литрухи! – парировал Франсуа-Жерар. Он выудил и сцапал скомканную десятифранковую бумажку.

Морис Глера призвал в свидетели потолок, пожал плечами и улыбнулся, слегка расставив руки, словно убегающий пингвин. Он боготворил сына, охотно водрузил бы его на пифийский треножник и окружил парами курений, если бы только его ребенок был Статуей Свободы – так легче и лучше.

Ведь Франсуа-Жерар всегда был послушным, пассивным, трудолюбивым, смирным, апатичным, чуть ли не безликим мальчишкой. Но эта личинка переживала теперь метаморфозу – Глера полагал, что в ней бродили соки полового созревания. Какое-то чудовище собиралось распуститься, оправдать, засвидетельствовать, совершить, воплотить, преобразить, стать.

– Ты знаешь, как я тебя люблю, – угодливо залопотал Глера, тыча слегка дрожащим и вяловатым указательным в нос своего сына. – Но кажется, ты все-таки… слегка… ххх… злоупотребляешь…

– Пф, то ж самое грит твоя дочка, один в один, типа я перебарщиваю! – воскликнул Франсуа.

– Да что ты говоришь! Да что ты говоришь! – жеманно сказала Амели-Лиан, которая терпеть не могла, когда ее ловили на слове. Она раздраженно расхохоталась.

Морис Глера, прислушиваясь к этому новому звуку, часто заморгал ресницами под очками и медленно, торжественно повернулся лицом к Амели.

– Да… Моя удивительная дочь… Удивительная… Что с ней?

Он наградил ее такой алкоголической улыбкой, что даже Лоре Буатар пришлось признать очевидное. Глера вернулся домой рано, потому что наклюкался быстрее обычного. Вот и все. Через минуту он начнет шататься, урчать, спотыкаться о воображаемые преграды – к примеру, о собственные ноги. Он слишком сильно старался удержаться на ногах.

– Па, слышь, я кокнул старуху! – вдруг крикнул Франсуа-Жерар.

Он выдумывал. Сестра пожала плечами и покрутила пальцем у виска. Мать не услышала. Но отец отреагировал.

Морис Глера действительно перевернул свою маску, с трудом ее опустил, увидел Франсуа, с трудом раздвинул губы, с трудом растянул их в улыбке снисходительного патриарха, который уже все постиг и трезво созерцает поколение за поколением.

– Смерть, Франсуа-Жерар, смерть… ххх… по сути дела… детская шутка… Детская шутка… Да… Ммм. Ммм… Ххх…

Он снова закрыл рот. Все поняли, что это его последнее слово. Сейчас он уйдет со сцены, снимет галстук, скинет пиджак и поковыляет в свою

комнату, сшибая на ходу мебель.

Франсуа-Жерар недовольно посмотрел на мать и стал выкручивать себе нос.

Лора проигнорировала сообщение. Она была нужна, так сильно нужна Морису. («…Нет, я не пренебрегаю сыном… но следует понимать, что я так сильно нужна Морису… и привязанность этого ребенка ко мне… почти болезненная… патологическая… психоаналитическая… к своей матери… ко мне… не нужно было ее поощрять, мне… я…»)

Спасти Мориса, его великий мозг, его исполинский труд. Алкоголь. Страшный наркотик. То, о чем идет речь. Словом, проблемы взрослых людей («конечно, исключительных, но…»): пора уже Франсуа-Жерару это понять и позволить их паре хоть немного реализоваться. Его болезненная, патологическая, почти психоаналитическая привязанность к-своей-матери, двусмысленная амбивалентность в отношении-к-отцу… Ревность? Как бы то ни было, в будущем она должна заставить мальчика отдалиться от них, посмотреть на вещи иначе… Эта безумная любовь такая…

Лора Буатар пошла вслед за Глера. Их дети удовлетворенно переглянулись и помчались опустошать холодильник. Они перенесли телевизор в комнату Амели и, развалившись на кровати, принялись объедаться холодной жратвой и трепаться, подшучивая друг над другом.

Они обожали вечера, когда отец возвращался домой довольно рано, а Лора, посвятив себя пьянице, оставляла их в покое. Тогда они снова вели себя почти что естественно.

Тот, кого называли Кормайоном-младшим, сын крестьянки, ставшей домохозяйкой, и крестьяни-

на, ставшего полицейским, подарил на прощанье Жану-Батисту Сеньеле колоду порнографических карт.

Они разговорились о гигиенических тампонах. Кормайон объяснил Сеньеле, для чего используются эти штуки, от которых у них периодически забивался сортир. Жан-Батист был ошарашен: он никогда не подумал, что отверстие, куда… было таким широким, длинным, огромным. Его ввели в заблуждение тампоны в унитазе, разбухшие от воды. Кормайон, невежественный, несмотря на свои не то четырнадцать, не то пятнадцать лет, не стал возражать. Вокруг них разверзлась огромная красная пещера.

Потом у Кормайона порозовели скулы. Он чересчур широко улыбнулся, обнажив множество лимонно-желтых, коротких, гнилых зубов. Он сощурился, как черная крыса, а еще у него были прыщи на лбу.

Затем он пригласил Сеньеле в рощицу на краю лужайки, где собирались ребята. Он хотел, чтобы они оба трогали друг дружку, и вел себя очень развязно. При этом у него был такой безумный вид, словно прыщи повыскакивали даже на глазах.

Жан-Батист отказался, но не отважился уйти. Он отвернулся от помешанного. Его внимание блуждало. Кал, туалетная бумага, коробки из-под сладостей, толстые газеты, оставшиеся после перекуса. Крапива. Ни единой птицы.

В момент оргазма Кормайон-старший ткнул Жана-Батиста локтем в бок. Он пыхтел и заикался:

– Смари! Смари! Смари!

В другой руке он держал несколько карт, развернутых веером, на которые Сеньеле сначала

вежливо посмотрел. Черви, бубны, завитые головы голых домработниц, полные груди кормилиц, выгнутые и текучие, как сливки, наездницы, мамаши с грушевидными прическами. Бабы.

Колода, вероятно, была годов пятидесятых или около того – возможно, Кормайон украл ее у отца или молодого дяди. Фотки цветные, с растениями в горшках вместо фона. Ляжки сжаты. У некоторых на ногах белье, штиблеты. Трефы, бубны, валет, дама, король, мама.

Пенис толстый красный трясется пенится красный толстый натертый до блеска. Шлеп-шлеп белый от шлеп-шлеп хлопья. Несколько. Белые мерзкие хлопья. Папа.

Из-за сока Жана-Батиста замутило еще больше, чем от фоток. Он вовсе не спешил становиться таким же, как Кормайон. От этого тошнило.

Кормайон сорвал листья с кустов, чтобы вытереться. По его словам, они немного жалили.

Жан-Батист спрятал порнографическую колоду в носок, вдоль лодыжки, и аккуратно разгладил штанину. Он и сам не знал – выбросить карты или оставить.

Когда дети Сеньеле ложились спать, Жан-Батист остановил Доминика в коридоре напротив их комнат. Филипп, самый младший, уже лежал в постели. Бертран спорил с родителями: слышался его хриплый, изворотливый, туповатый голос – то глухой, то резкий. Наверное, он рассказывал о своих убеждениях и давал обещания искренним, веселым, слоновьим тоном. От этого Жана-Батиста тоже слегка мутило: общительный Бертран. Бертран, откровенничающий с папой и мамой, изъясняющийся на их языке, разделяющий их взгляды. Резкий приступ тошноты.

Жан-Батист показал прозрачный пластмассовый футляр:

– Вот, Кроманьон дал! Если хочешь… Тут клевые тетки.

Доминик улыбнулся:

– А кто это?

– Один чувак, ты его не знаешь. Зовут Кормайон. Но мы говорим «Кроманьон», типа как…

Жан-Батист изобразил мимикой Кормайона. Да, почти как Бертран. Наверное, такого же возраста. Хотя все же нет: тринадцати- или четырнадцатилетний Доминик тоже принадлежал к их кругу. Но он не был на них похож. Славный мальчик, умный, приветливый. Он хорошо относился даже к Филиппу, которого любил не задумываясь: малыш – это просто малыш, чего от него ждать?

Комично, что кроткие души Доминика и Филиппа отделяла лишь тонкая перегородка от супружеской спальни, где мсье и мадам Сеньеле редко, но метко и утомительно резвились. К счастью, Филипп ничего не слышал и не понимал. Он прислушивался к другому звуку, который гипнотизировал его вечером и будил утром: тиканье стенных часов, круглых, тихих и спокойных, словно стук сердца, что пульсировало в ухе, прижатом к подушке. Ночной или утренний колокол, незнакомая сельская площадь, над которой валит снег. Дело в том, что этот звук раздавался зимой, когда Филипп сворачивался калачиком: летом он спал на спине, и больше не было ни сердцебиения, ни колоколов, ни воображаемой страны.

Ну а Доминик слышал звуки, сопровождавшие выполнение супружеского долга. Он знал их и терпеть не мог. Он никому об этом не рассказывал, но боялся курьезного попискивания мадам Сенье-

ле, которым она отзывалась, когда выпуклое алкоголическое пузо наваливалось на ее раздутый живот:

– Ип, ип, ип, ип. Ип, ип, ип, ип.

Это была визгливая, отрывистая, ритмичная икота, как будто Реймонду Сеньеле пощипывали в такт движению секундной стрелки, а она машинально откликалась визгливой нотой, звуками укачиваемого младенца:

– Ип, ип, ип, ип. Хххе… Хн. Ип, ип, ип, ип. Хк! Хк! Хк! Хк! Хух, хух, хух, хух. Хн! Хн! Хн! Хн! Ип! Ип, ип, ип, ип. Хп.

Это тявканье, тиканье сопровождалось скрипом сотрясаемой деревянной кровати.

Ну а Бертран и Жан-Батист спали в одной комнате, надежно укрытой от этого стихийного бедствия, хотя уж они-то переносили бы его намного лучше.

– Голые бабы? – переспросил Доминик Сеньеле. – Не, не хочу. Спасибо.

Сквозь футляр он рассмотрел первую фотку: сорокалетняя тетка стояла на фоне джунглей, с таким волосатым низом живота, что казалось, будто на ней вязаные ажурные черно-коричневые трусы. Прическа, как у Колетт[2]: боковой пробор, завитые, жесткие, закрученные, всклокоченные волосы. Она была накрашенная и скалилась. Руки в узловатых венах и шелушащихся морщинах загрубели от мытья посуды и стирки в раковине.

Доминик засмеялся:

– Этот чувак что на них дрочит? Ну старина…

---

2 Колетт (1873–1954), французская писательница, одна из звёзд Прекрасной эпохи, член Гонкуровской академии с 1945 г.

– Кроманьон? Есть малость! У него аж пар из ушей идет! – подтвердил Жан-Батист. – Что ж мне теперь с ними делать? Ему отдать?

– Не, – сказал Доминик. – Подкинь в вещи Бертрана, вот будет умора.

Они пришли в восторг. Жан-Батист удовлетворенно засунул футляр обратно в карман.

Доминик был очень стыдлив. Он мало мастурбировал. С некоторых пор он начал пачкать простыни во сне. Реймонда Сеньеле это заметила. Она рассердилась, возмутилась. Старший никогда не занимался таким свинством! Никогда!

В самом деле Бертран умел выигрывать время. Мать считала его непорочным. Возможно, она полагала, что все выветривается во время учебы, сублимируется благодаря уравнениям, препарированию лягушек, географическим картам, латинским или немецким склонениям, прыжкам с шестом, рту на замке и скрещенным рукам.

Но Доминик, этот маленький извращенец, ничего не сублимировал и не пресуществлял! Достаточно посмотреть на его лицо без прыщей, и все станет ясно. Не угрожает ли его порочность невинному Филиппу? Нужно поговорить с мсье Сеньеле, отвести Доминика к врачу. Ну а пока объясниться намеками или задать в следующий раз хорошую взбучку. Притвора. Строит из себя святую недотрогу! Гадкий мальчишка, да, больной на голову.

Доминик собирался вернуться к себе в комнату, но Жан-Батист снова его задержал:

– Нет, постой… Есть еще кое-что. Подожди. Тебе я могу сказать, подойди. Это история о том, что… Зайди в ванную.

Они там спрятались. Послушный Доминик

мечтательно посмотрел на младшего брата. Он не любил по вечерам чистить зубы. Щетка слишком жесткая. Придется себя сдерживать, останешься без зубов, сгниешь, будешь вонять… Доминик забыл, что еще. Он часто продумывал какие-то мысли и тут же их забывал. Да, тело гниет, разлагается, как только перестаешь его драить, укреплять, оно гниет, гниет, и ты превращаешься в живого мертвеца, гниешь даже быстрее, чем труп. Драить, чистить, дисциплинировать, дрессировать, стричь, бить по щекам гниющую машину, эту пакость – самого себя. Доминик писал стихи без рифм, которые прятал, чтобы никто не прочитал: он никому не доверял, и у него не было друзей. Он перечитывал себя чуть ли не с отвращением: всегда находил недостатки, это мерзко, мерзко, это гниль. Дрессировать, контролировать, шлифовать, карать, наказывать. Мерзкие, мерзкие тексты. Заживо разложившиеся. Надзирать, бить по щекам, рвать, бить по щекам, запретить себе этим заниматься. Мерзко, мерзко, мерзко. Хуже, чем тело. Если бы родители узнали об этом двойнике Доминика, омерзительном, прогнившем, съежившемся, безобидном и голом… Сжечь! Спустить в унитаз, причем мигом! Очиститься.

– Я кокнул старуху, – пробормотал Жан-Батист.

IV

Рокены укладывали Жюльена и ухаживали за ним. Они не разговаривали с ним, не смотрели на него. Приносили поесть, меняли повязки. Он лежал на животе или на боку. Ничего не читал, много спал, не произносил ни слова, почти не ел.

Открытые раны заживали довольно быстро. Он мог прислоняться к подушке. На лопатках оставались длинные шрамы. Дольше всего болел позвоночник – от затылка до талии. Особенно больно было стоять.

Жюльен упрямо и молчаливо дожидался выздоровления, когда снова можно будет бегать, сгибаться, брать, бить, а потом, как-то раз около

десяти утра, удрал через дверь.

Родители были неподалеку: трудились с другой стороны дома. Пропажу сына они обнаружили в полдень, когда Симона позвала его обедать.

Они не сразу все поняли. Потом заволновались, заглянули в комнату Жюльена, туалет, умывальную комнату. Они звали. Обошли весь сад. Нет. Никого.

Это необязательно побег. Из-за своего упрямства Жюльен ушел, не предупредив, что чувствует себя лучше. Значит, наказание не пошло на пользу этому маленькому негодяю?

Тем не менее подозрительная Симона Рокен перевернула все вверх дном, и вскоре они узнали правду. Жюльен унес с собой одежду и немного еды. А еще он опустошил коробку из-под сигар, куда они откладывали деньги с продаж частникам и соседям (овощи, фрукты, семена). Около ста франков.

Куда же он пошел?

Симоне Рокен представился удобный случай для того, чтобы сорваться и устроить сцену своему мужу. Битая посуда, расквашенный нос, вопли, которые слышали соседи, несмотря на включенное радио. Они не обращали на это внимания: каждый имеет полное право, в порядке очереди, не так ли? Они – сегодня, мы – завтра. Она темпераментная, эта Рокен: какая выдержка! Какой голосина! Никто во всем районе не умел держаться так долго, как она, даже мадам Витар, которая лупила свою собаку, сидевшую на цепи в подвале. Но бедная животина все же кричала сильнее, чем она сама, а это раззадоривает. Мадам Витар была вся на нервах. Вдовство – суровая штука. Она отводила всех своих собак на псарню. Они и на год

не задерживались.

Рокены с трудом договорились о том, что делать с Жюльеном. Симона хотела сообщить в полицию. Десятилетний ребенок не выживет в одиночку. Жюльен где-то недалеко, и, если поспешить, легавые быстро его отыщут. Жан Рокен был другого мнения. Он предпочитал вести расследование сам. Нельзя привлекать к себе внимание, ведь спина ребенка могла вызвать вопросы. Если Жюльен расскажет, снимет рубашку, будут неприятности. Конечно, в полиции поймут, последствий можно не опасаться, но подобные вещи получают огласку. А когда ты вообще-то занимаешься торговлей, нужно дорожить репутацией.

Симона Рокен приняла эти доводы, но возмутилась людским лицемерием: кто из них не бьет своих ребятишек? Способов воспитания не так уж много, и каждый к этому приходит – рано или поздно. Но все они сюсюкают на людях, гладят своих любимчиков спереди, чтобы покрепче отмутузить их сзади, и тычут в тебя пальцем, если ты говоришь откровенно. Сволочи. Мрази. Гады. Неужели их овощи станут не такими вкусными, если у мальца покраснеет задница? Или, может, от тумаков портятся груши? Да если бы этому маленькому засранцу отвешивали столько же подзатыльников, сколько его братьям, он бы по струнке ходил. Но теперь уже слишком поздно. Рокен увидит, она в этом уверена: если Жюльена отыщут, он будет либо трупом, либо убийцей.

Жан Рокен обошел все булочные и продуктовые в пригороде. Он расспрашивал косвенно, умело, как ему казалось. Он не хотел афишировать исчезновение Жюльена.

Никто не видел мальчика. Со стороны тор-

говцев не было никаких зацепок. Жюльен здесь не отоваривался. Что же касается магазинов, где Рокенов не знали, за городом или в самом городе, туда ведь посылали за покупками столько детей…

Опросить приятелей? Но у кого он часто бывал? Жан Рокен ничего не знал. Он зашел в школу, надеясь, что учительницы что-то расскажут, назовут имена.

Там ждал сюрприз: в тот же день после обеда Жюльен ходил на уроки. Он сказал учительнице, что болел. Она потребовала, чтобы завтра он принес доказательство: он слишком часто отсутствовал и был злостным обманщиком. Жюльен пообещал записку от отца, письмо от врача – все, что угодно. Учительнице он показался беспокойным, рассеянным, уставшим: пожалуй, он и правда поправлялся после болезни. Но у него такая угрюмая натура. Жан Рокен пожелал заглянуть в шкафчик мал го. Учительница показала. Тот был пуст. Не было даже висячего замка. Она удивилась.

Значит, вот за чем приходил Жюльен. Что же такое важное он прятал в этом шкафчике? Что-то компрометирующее?

Эта дерзость сына встревожила Жана Рокена еще больше, чем сам побег. Он решил довериться учительнице. Она не увидела в его словах ничего страшного. Жюльен обязательно вернется ужинать и ночевать. Нужно встретить его спокойно и объяснить, что он переходит границы и вредит самому себе.

– А если не вернется? – спросил Рокен. Он не рискнул сказать о наказании.

Учительница посоветовала сообщить в полицию, если сегодня ночью он не будет ночевать дома. Но она в это не верила: не стоит драмати-

зировать, ребенок, конечно, очень, даже чересчур независимый, и более тщательный контроль в прошлом, хотя бы немного строгости, конечно, не доходящей до телесных наказаний, вероятно, позволили бы в настоящем избежать…

Она исчерпала свой запас банальностей; Рокен ее больше не слушал. Он решил дождаться завтрашнего дня и сообщить легавым. Лишь он один, Жан Рокен, знал, почему мальчик не вернется ни сегодня вечером, ни завтра – возможно, никогда. Но остальные не станут принимать всерьез бегство на несколько часов. Завтра оно уже прибавит веса, вырастет в цене: еще денек, и оно станет внушительным, правдоподобным. Рокену не придется признаваться в досадных подробностях.

Его по-прежнему беспокоил шкафчик в раздевалке. Ребячья тайна – одна из тех безобидных глупостей, которыми тешится детство, или настоящий секрет? Жан Рокен легко мог себе представить, что его сын снюхался с хулиганами, что его склонили к плохому ребята постарше того же пошиба.

Мадам Рокен устроила еще одну сцену за ужином. Рассказ мужа был чудовищным. Пустое место за столом было чудовищным. Эта отвратительная жизнь была чудовищной. Правильно Жюльен сделал, что сбежал. В конце концов она последует его примеру. Это уже перебор: она вкалывала как лошадь, вырастила троих неблагодарных сыновей, троих подонков, хранила верность – верность! – импотенту, гаду и теперь имела право, конечно, не на уважение (она так много не требовала) или на любовь (не такая уж она дура), нет, а на отдых, просто священный покой… Господи, на отдых.

Рокен легко поранил предплечье. Жена растоп-

тала ужин. Он надел передник и сварганил луковый суп. Тревога, гнев, злость всегда возбуждали у него аппетит. Он приговорил почти целый батон с супом, который ел прямо из кастрюли. Он заснул в комнате сыновей и решил больше никогда не спать в одной постели с женой: впрочем, вряд ли это ее огорчит. Она просто будет кричать.

На следующий день около полудня он пошел в комиссариат. Чиновники были вежливыми и равнодушными. Они найдут Жюльена? Трудно сказать. Обшарить весь остров немыслимо. Короче, жопу они не оторвут. Будут ждать новых сведений. Кстати, этот Рокен случайно не дружит с мальчиком из старого Сен-Реми – неким Тере Рене? Торговцы. Нет? Жаль. Тот паренек тоже исчез, ээ, несколько дней назад. Любопытное совпадение. Они и правда не были знакомы? Порой родители всего-то и не знают.

Короче, пусть мсье Рокен держит руку на пульсе. Да, звонить. Час туда, час сюда. Объявление в газетах, фото, описание примет. Такой юный паренек, это интригует. Нет, другой, из старого города, тринадцатилетний. Да. В наши дни они считают себя в этом возрасте мужчинами, влияние телевидения и… Хотят жить своей жизнью, дуралеи. Разве это жизнь, позвольте вас спросить?.. Немудрено, что им выходит боком. Тем не менее, пусть мсье Рокен раньше времени не переживает. Хотя… К сожалению, да, в таких случаях нередко либо сразу, либо никогда. Что-то не то. Сотни. Непоседы, торопыги. Меланхолики. Как бишь. Нет, только не в десять лет. Тут скорее… Ээ. В какой-то степени, да. Не говоря о самом худшем, разумеется: подобные преступления случаются реже, чем этого опасаются, с полным на то основанием, не-

счастные родители. Ох да. Больше никогда, нет-нет. Что-то не то. Мы же все-таки не в Америке? Поди разберись. Подпольные организации… бог его знает. Да, в конечном счете мы мало что знаем. Если бы мы знали все, что можно узнать, то были бы хорошо осведомлены. И очень бы удивились.

Вес, рост, какая на нем была одежда, цвет волос, глаз и т.д. Забыли? Его учительница вам расскажет. Медицинская карточка. Прошлое, родители, преступления, взгляды, извращения? Да-да, спросите в школе. Сотрудники центрального комиссариата показались мсье Рокену хорошими людьми. Он горячо поблагодарил и с удовлетворением вышел.

О Жюльене ничего не слышали ни в больнице, ни в морге, да и в порту не видели, чтобы маленький мальчик садился один на судно. Не умер, не ранен, не уехал. Отличная новость. Сколько это продлится?.. Рокен снова вспомнил о жене.

Исчезновение Рене и Жюльена не наделало много шума: они были никто. Объявления появлялись, появлялись снова, забывались. Семьи страдали. Им сочувствовали. Май-месяц выдался богатым на происшествия: весна обязывает. Несчастные случаи со смертельным исходом, нападения, вырванные сумочки, кражи со взломом – жизнь била ключом. Как и каждый год, жилые кварталы решительно выражали возмущение: передовицы находили отклик в местных изданиях. Морис Глера написал статью с анархистским заголовком: «У кого ничего нет, тот ничем и не рискует». Он утверждал, что грабят только богатых: если ты гол как сокол, можно не бояться, что тебя обдерут как липку. Он цитировал Евангелие

и мастерски заискивал перед знатью в самом последнем, очень взвешенном абзаце. Эта смелая проповедь стала прорывом в его карьере. Он представлял себя святым Павлом – агностиком и сенсуалистом.

Как-то ночью вандалы разбили несколько витрин. Это было что-то новое и серьезное: в городе уже много лет не слыхали о подобных бесчинствах. Во всем обвинили статью «Объединенного республиканца» с ее блестящими парадоксами, похвалой ордам Аттилы и святым Божьим. Хороший результат, нечего сказать.

Вандалы, отмечала полиция, совершили странные кражи. Все магазины (три или четыре) занимались мелкобуржуазной, полезной торговлей, и все товары, украденные из витрин, были самыми обычными, нелепыми, дешевыми. Все подумали, что какие-то скромные молодые семьи решили задарма обзавестись хозяйством, сохраняя свое положение в обществе. При этом у них уже были большие, подросшие дети, а также им зачем-то понадобилось великое множество молотков и гвоздей. На каждый молоток по гвоздю?.. Скорее всего, просто кодла пьянчуг.

Однако грубое поведение вызвало негодование. Прежде остров был защищен от современного насилия, и никто его здесь не хотел. Пусть себе занимаются этим в «красных» пригородах и оставят в покое благородное, морально здоровое побережье. Они готовы усилить личный состав полиции, сформировать дружины из благонамеренных граждан, если надо – утопить насилие в крови, но они останутся добропорядочными людьми.

Погода стояла изумительная. Людей поневоле охватывали безмятежность, оцепенение. Всё на

свете было прекрасно. Сады цвели, благоухали, пленяли. Не было ни времени, ни желания горевать. Трудно было даже представить, что где-то существуют какие-то воры. Ведь в наше время у всех всё есть. Да и чего могло не хватать этой весной?

Эме Батайон лежит в кровати и болеет: он пережил приступ обжорства, которое мало-помалу, будто начинающаяся зубная боль, стало тревожить коматозную старческую бессонницу. Нет ничего мучительнее этого назойливого, настойчивого, подлого и пронырливого желания, что возникает, щекочет, прощупывает, обыскивает, покалывает, а затем вдруг кусает до крови, обжигает от сердца до самых пальцев ног и вынуждает пускать слюни и пену, точно лопочущий младенец. Разве это не одержимость дьяволом, пытка искушением, желанием, худшим из желаний – тем, что сосет под ложечкой?

Что поделать, Батайон не в силах перед ним устоять. Ему никогда это не удавалось. Нет никаких причин сдерживаться, помимо ужасного испытания, которое он сам на себя налагает, – необходимости встать. Усилие паскудное, но зато краткое и чисто внешнее. Мсье Батайон поджимает ягодицы и, сползая на спине, упираясь локтями и пятками, усаживается посредине кровати. Затем выгибает свой костлявый зад, чтобы добраться до края и свесить ноги. От резкого движения натягиваются все кости. Готово, он стоит.

Его комната находилась в полуподвале дома, где также были оборудованы кухня и помещение для стирки. Воздух поступал сюда через застекленные, большие подвальные окна без решеток.

Этот крошечный домишко принадлежал детям Эме Батайона, его зятю и дочери, которые

согласились приютить старика, после того как он овдовел, с тем условием, что он будет платить за проживание и питание. Батайон отдавал им всю свою маленькую пенсию, а ему возвращали мелкие деньги на карманные расходы, которые он откладывал. Обращались с ним, как с трудным ребенком, которому нельзя потакать. Кормили правильно, но неопрятно и скудно. Комната в полуподвале была темной, однако здоровой и сухой – почти пустой, но чистой. Лучше уж умереть здесь, чем в богадельне. Это его привилегия, если только он не станет немощным и не будет страдать энурезом: дети этого не вынесут.

У Батайона было двое внуков, с которыми он изредка виделся. Детям не нравилось, когда ребятишки вертелись вокруг старика. В этом было что-то нездоровое и двусмысленное.

Эме Батайон обожал «аркебузу» – чересчур дорогой ликер, который зять прятал в буфете столовой, отмечая уровень жидкости в бутылке. Случалось, Батайон отпивал по ночам пару капель. Вылазка занимала около часа, включая дорогу туда и обратно. Зам к буфета легко открывался крючком, но чрезвычайно трудно закрывался, да в придачу еще и лязгал. Восстановление уровня жидкости тоже было деликатной задачей. Мсье Батайон использовал 90-процентный спирт, в котором растворял сахар. Получалось сносно: во всяком случае, зять пока ничего не заметил.

Батайон ощупал босыми ступнями кафельный пол, нашарил тапки и вслепую зашагал к выключателю: ночника у него не было.

Словно мальчонка, запуганный родителями, он вышел на цыпочках, прислушиваясь к малейшим звукам. Он мечтал о том, чтобы обмакнуть

кусочек хлеба в яблочное желе. На кухне взять хлеб, сахар, 90-процентный спирт (аптечка располагалась над мойкой), рюмку и красную пластмассовую вороночку. Он проверил, захватил ли с собой английскую булавку. Захотелось сухого печенья. Он не знал, купила ли дочка.

Батайон пересек коридор и вошел в кухню, не включая свет: хватало уличного освещения, проникавшего через большие подвальные окна, к тому же он боялся привлечь внимание. Если сосед случайно проснется или будет возвращаться домой после ужина, то может увидеть освещенные окна и завтра расскажет об этом дочери, без всякой задней мысли… и что тогда? Разумеется, ничего, но береженого бог бережет и т.д., особенно если ты вор. Точнее, дедуля-грабитель. Тут не до смеха.

Он поискал корзину, куда складывали старые хлебные корки: он любил их сосать вместе с украденным сахаром или вареньем. Там лежал один толстый и очень черствый ломоть. Батайон взял нож в ящике стола.

Внезапно его озарил белый кружок света.

– Дедуль, не ори и положи нож! Вон туда!.. Осторожно! – быстро прошептал кто-то у него сзади. Спиной он почувствовал острие.

Грабители. Убийцы. Молодежь. Эме Батайон повиновался и сильно задрожал. Зажегся второй фонарик, и другой голос насмешливо сказал:

– У тебя чё, дедуль, труселя на пружинах? Не надо нас бояться! Мы не злые!

– Шшш, – перебил второй.

Они запретили Батайону поворачиваться. Заставили рассказать о расположении комнат и спящих. В наказание поставили старика в угол кухни

и, взяв с него обещание, что он будет паинькой, налили ему вина и по его просьбе пододвинули стул.

С этой минуты Эме Батайон догадался, что бандитов было как минимум девять или десять. По-видимому, они расположились цепью, чтобы вынести наружу то, что их интересовало. Живая гирлянда спускалась из палисадника или с улицы через подвальное окно, обшаривала полуподвал, поднималась, чтобы обследовать весь дом и, словно хобот пьющего слона, всасывала в себя его содержимое. Предметы перемещались плавно и бесшумно, но старик различал шепот, крадущиеся шаги, советы, сдавленный смех, череду почти неслышных звуков.

– Вот, дедуль, если скучаешь, мы нашли тебе! – сказал за спиной Батайона насмешливый голос.

Он нащупал предмет, поставленный ему на колени: бутылка «аркебузы».

Он решился ее открыть и напился вдоволь. Как одиноко.

– Мы уходим, а ты не рыпайся и выдуй все до дна. Не хочешь, чтобы тебя привязали? Ты не против кляпа? Ладно, ты понял.

Все это проговорил уже другой, а не тот, ободряющий голос.

Дом мгновенно опустел: больше никого и ничего. Ошеломленный, дрожащий, с липкими от ликера губами и пальцами, старик боязливо забился в свою комнату. Он не расскажет детям. Притворится, что крепко спал. Его будут упрекать, но меньше, чем за трусость. Трусость? Нет, он никогда этого не объяснит: если люди понимают, то все или ничего. Они – его дети – не понимали ничего. Он бросил бутылку «аркебузы» на ступеньке

лестницы.

Его комнату не ограбили – и это не случайно. Он все же проверил, на месте ли некоторые вещички. Но он даже не думал заглядывать на кухню.

Зачем столь организованные злоумышленники, столь опытные разбойники ограбили таких простых людей? Если дом Батайонов ломится от сокровищ, кого же тогда считать бедным?

Позже, удобно устроившись в постели, старик подумал, что дети упекут его в дом престарелых, учитывая, сколько всего им придется заново покупать. Какие расходы из-за этого грабежа! Он расплакался и, пьяный, уснул.

Клер Фуйу спрашивала себя, станет ли когда-нибудь счастливой. Она представляла себя замужем, у нее будут дети. Такое бывает. Нет, это не идеал. Скорее, она будет вдовой с внуками. Она снова прокрутила в голове свои излюбленные штампы. Пожилая дама – вот кем станет Фуйу в будущем. Изысканный старый буржуазный дом, например, в районе Сент-Юи или в Шемен-тор. Оттуда не видно моря, но богачами нравится (она претендует на оригинальность). Фуйу будет говорить своей старой и верной экономке по прозвищу Верная фразы типа Верная, моя хорошая Мари, приготовь нам картофель фри со сливками (она все будет есть со сливками). Экономка будет бедная, но честная, хоть и набожная, восклицать господи моя хорошая госпожа стерблядь которую умножил господь если стерблядь влезает вот так что же мы будем добрый Иисусе что же мы будем (нет, Фуйу больше никогда не будет есть рыбу!), царица небесная! Ее внучки будут очаровательными девочками, бедняжечки. Главное – не мальчи-

ки, они мерзкие, замышляют только плохое, все портят. Бедняжечки, бедняжечки, как быстро они растут! – будет вздыхать славная и честная Верная. Клер Фуйу задумалась, во сколько обойдется ей это счастье. Она все устроит, выйдет замуж за противного старикана и будет делать ему минет, пока у него не лопнет сердце или что-то в мозгу, унаследует его огромное состояние и тут же станет изысканной старой бабулей, в окружении кукол с большими розовыми бантами в локонах, бедняжечки.

Одна лишь старость заслуживает того, чтобы жить. Таково требование эпохи. Но как долго ждать! Когда Фуйу подсчитывала, сколько лет еще коротать, у нее кружилась голова от уныния и отчаяния. Ей даже хотелось умереть раньше, чем она станет счастливой пожилой дамой. Задолго, задолго до этого.

Хорошим мужем стал бы для нее председатель Гассе – этакий развратник, который загнется от сердечного приступа. Один из самых богатых и влиятельных людей на острове, владелец Кооперативных рыбных промыслов, торговой палаты и т.д. Но он уже женат. На шестом десятке на него нашла блажь. Он купил себе двадцатилетнюю шалаву, карлицу, выглядевшую лет на двенадцать, и бог знает как заделал ей двух спиногрызов. Теперь эта лилипутка уже утратила свежесть, и Гассе изменял ей с другими фантомами. Он пронюхал о Фуйу и пустил в ход свои сомнительные связи, чтобы ее заполучить.

На Фуйу это произвело впечатление, и она на все согласилась. Всякие глупости и причуды, но ничего слишком уж гадкого. У председателя Гассе смешная яйцевидная голова. Он не грубый. Разго-

варивает с тобой, как с равной, хоть ты перед ним в чем мать родила, славная погодка сегодня утром не правда ли волосы на пальцах туристический сезон начинается блистательно каким тяжелым трудом вы занимаетесь моя малышка Клер что вы мсье Гассе с вами заскучаешь дорогая ветреница я хочу замолвить словечко на заводе «Барон» ох мсье Гассе простите да завод что ж завод в самом деле завод.

У Анри Гассе была мания: он приносил с собой на свидания «дипломат» с девчачьими вещами – размер соответствовал любовнице, которую он переодевал. Клер не предупредили: она была шокирована, как только он приступил к своему маскараду. Это пристрастие к детям отталкивало. Он упросил Фуйу переодеться. Она держалась с ним свысока, поставила условия. Он должен был заказать шампанское (целый литр! – потребовала Клер), икры, корнишонов, вареных яиц – в общем, все, чего бы она ни пожелала. Она получила авансом пятьсот франков сотенными бумажками. Переодевшись в маскарадный костюм, выпила и разбила бокал надменным жестом.

Возбужденный и оторопевший председатель Гассе подчинился. Тогда шалунья предложила шестидесятилетнему старику надеть ее собственную одежду: Клер – бедная маленькая девочка, оставшаяся наедине с опасным садистом, она сейчас заплачет, позовет маму. Скорее, пусть мсье Гассе переоденется мамой, скорее! И пусть спасет, успокоит, защитит ее от плохого дяди.

– Ты что, лесбиянка, девочка? – воскликнул председатель. Он взял тонкие трусики, продавленный лифчик, дрянные чулки и засунул свои упитанные ступни в дурацкие туфли с ремешками на

щиколотке. Он сыграл маму так, как сам себе ее представлял. Велел принести еще шампанского и отменил по телефону первую встречу после обеда. Он беспрестанно тер так называемые мамины трусики и чувствовал, что если Фуйу продолжит свои глупости, у него встанет.

Она была прелестна в костюме маленькой девочки. Напоминала большую куклу из папье-маше, слегка сплющенную от долгого употребления. Анри Гассе пощипывал ее, как молодушку: это было приятно. Он посоветовал удалить волосы на лобке: не всем нравятся юные волосики, дорогая Клер. Еще он пожелал, чтобы она никогда не мылась перед свиданием. Фуйу такая фу! тубзалет! из жопы воняет! зажала нос и заорала. Но она взяла на заметку, что председатель хотел встречаться с ней регулярно. За пятьсот франков придется подчиниться. Хотя, конечно, нюхать… дерьмо, которым от нее будет вонять…

Она завизжала, дав волю чувствам, и положила ногу на стол. Председатель Гассе ее пососал, оросил ее трусики, разорвал одежду, больновато укусил за чувствительные, интимные места и внезапно остыл.

Клер была в восторге от того, что он ее не трахает. Извращенцы – просто находка. Так Фуйу узнала, что целку ей сбили чересчур нормальные мужики. Она поняла: хватит быть подстилкой, она будет играть роль малолетки для господ при деньгах. Она не выглядит на свои годы, мсье Гассе говорил об этом. Потом, как и задумано, она станет счастливой пожилой дамой, ну а пока ей будут вылизывать очко. Шампанское крепкое, пузырьки щиплют. Икра воняет рыбой, какая гадость: впрочем, ее не так уж много. Надо было заказать соси-

ску с картошкой фри и побольше острой горчицы. Клер пропищала:

– Сосиску с картошкой фри! Сосиску с картошкой фри!

Она напилась, но, как ни крути, все это было омерзительно. Да, противно иметь тело: она предпочла бы Природу, которая чище, красивее. Зверюшки там всякие.

Председатель Гассе сказал, что ему некогда везти ее за город. Его затошнило: пацанка нервировала своим идиотизмом, тяжелый случай. Какой крест – любить несовершеннолетних! Если бы не это, у него были бы великолепные, чарующие, лучезарные, страстные женщины. С умом и душой, с невероятными телесами.

– На природе хотя бы чисто! – захныкала Фуйу. Ему захотелось влепить ей пощечину: он был невоспитанным. Клер, с которой обходились, как с бедной девочкой, ребенком, успокоилась.

Председатель Гассе позволил ей заштопать одежду, собрал детские лохмотья и ушел, не назначив встречу. Оставить их на своем месте и никогда оттуда не вытаскивать.

Почувствовав себя брошенной, Фуйу протрезвела. Она заплакала. Она не нашла ни своих чулок, ни трусов. Оскорбили ее женское достоинство. Богачи – хуже всего. Она больше не хотела их грязных бабок, заработанных п том бедняков: Гассе еще повезло, что он ушел, а не то бы она швырнула эти бумажки прямо ему в рожу! Пять несчастных бумажек! За эти гроши (если сравнивать их с ценой сапог из натуральной кожи) они смеют ее унижать и осквернять самое Детство. До тошноты. Простые мужики хоть нормальные, и верные, и у них есть сердце. От них вот так вот не

цепенеешь – они любят жизнь, а не бросают тебе пыль в глаза икрой и шампанским, чтобы скрыть свою грязь.

Этот старый извращенец. Да за такие пороки в тюрьму надо сажать. Куда там: мсье у нас председатель того да председатель этого, председатель, председатель, председатель. А что, если она все расскажет? Кто ей помешает?.. Этого конченный негодяй не предусмотрел. Пидорас схватится за голову, когда полиция. Да, полиция. Сию минуту!

Что? Фуйу заткнут рот? Ей-то – будущей матери? Нет уж, он расскажет правду во всеуслышание. По крайней мере, ее пример послужит наукой другим. И если когда-нибудь у нее будет дочка, бедняжечка, она сумеет уберечь ее от этого. Даже если придется пороть ее утром и вечером, приковывать к постели и, если надо, душить. Главное – добропорядочность. Быть непорочной, чистой, нетронутой, как белый горностай, который, скорее… чем… Что, ее дочь бунтует, пышет развратом, хочет жизнь своей жизнью? Фуйу лучше столкнет ее в воду с камнем на шее, но не будет терпеть этого безобразия. Ах, если б ее собственная мать, эта падла, ээ. Клер живет типа. Она на секунду запуталась, но вскоре вновь увидела логику, которая ее устраивала.

Блевотина, блевотина! Наконец она сконфуженно вышла из номера. Ей было стыдно, что она одна и ее плоть соприкасается с ней самой – ведь не было ни трусиков, ни чулок, отделяющих тебя от собственного тела.

Работники «Сфинкс-клуба» не стали ее жалеть, нашли способ задержать у стойки регистрации и заставили оплатить забытую услугу из квитанции, подписанной председателем. Да, мадмуазель,

включая обслуживание.

Филипп Сеньеле вернулся из школы после трех. Учительнице стало плохо, и некому было присматривать за таким множеством малявок – они только всем мешали. Пусть все, у кого мама не на работе, быстренько-быстренько вернутся домой, только чур не бродить по улице, не играть, не трепаться и не глазеть по сторонам – все ясно? А остальных попробуют раскидать по разным классам, чтобы они не слишком донимали и так перегруженный преподавательский состав, где все уже стали или скоро станут мамами.

Они ведь объяснят мамам, в ужасе услышал Филипп, почему их всех отправили домой? Сумеют? Или нужно повторить? Тогда внимание! Если мамы захотят, ну разумеется, проверить, ложь это или правда, они смогут позвонить в школу: дети перепишут номер телефона без единой ошибки – они же сумеют это сделать? Но только пусть мамы не звонят все одновременно! Они не забудут им сказать? Да? Все ясно? Они переписали без ошибок? Без ошибок без ошибок? Нет? Да? Ладно? Тогда пусть они быстренько-быстренько возвращаются домой к маме, быстро.

Их выпроводили. Филипп вдруг остался один. Он торопливо зашагал по дороге.

Мадам Сеньеле была неприятно удивлена. Утопая в кресле, словно малыш в горшке, она упивалась своей высокой моралью, листая женские журналы и доедая секретную сосиску с чесноком, которую жадно поглощала каждый день после полудня: она притворялась, что ей никогда не хочется есть в обед, чтобы выглядеть строгой и лишний раз пристыдить своих прожорливых детей (Жана-Батиста и Филиппа: двое других обедали в ли-

цее). Так, с рассвета до заката, она строила из себя жертву гонений.

Сама она любила только наихудшие промышленные продукты питания, диковинную химию, яды, сомнительные и вонючие деликатесы – как раз то, что, скривив по-крысиному нос, осуждала перед членами семьи.

Она покупала, одалживала, пролистывала глазами множество журналов. Жадно их изучала, пережевывая свои шкварки, багет, бутерброды с маргарином под плесневелым шпиком, ветчину с кошенилью, колбасу с салом. Он пропускала только страницы для чтения, где не было картинок. Вслух критиковала наедине с собой (она визжала и разговаривала с собой беспрерывно, даже на людях) моды и рецепты. Можно было только ей угодить или же ее оскорбить: она знала только эти две эмоциональные или интеллектуальные категории. Чтение женских журналов приводило к столь частому их чередованию, что она становилась под конец истеричной, раздерганной, сердитой, измученной, неудовлетворенной.

Никто никогда не видел ее праздной. Она так хорошо выдрессировала своих близких, что если ее заставали за ничегонеделаньем, то чувствовали вину и стыд за самих себя. При помощи воплей, жалоб, приказаний, вздохов и затрещин мадам Сеньеле навсегда возвела в ранг закона тот факт, что ее беспрестанно мучили. Никто не смел это оспорить, даже муж. Она жертвовала собой, надрывалась, ложилась костьми. Не веришь? Получай подзатыльник. Все дети в доме волочили вслед за собой, словно угрозу или фатум, долгую, бесконечную злопамятность, на которую мадам Сеньеле обрекала всякого, кто будто бы недооце-

нивал ее страдания. Это означало, что пятеро виновных заслуживали наказания. Им прожужжали все уши, и с опущенным носом, тревожным взглядом они ждали, когда мать свалится им на голову. Возвращаясь домой, они не чувствовали себя в безопасности, вовсе нет. Они отваживались войти в клетку, в материнскую берлогу: и пеняйте на себя, если зверюга еще не спит.

– Так ты меня даже не поцелуешь? – то ли ухнула, то ли заржала Реймонда Сеньеле, злая, сердитая из предвзятости и ради удовольствия.

Она быстро спрятала свой сандвич между собственным телом и спинкой кресла. Машинально вытерла о колено жирные пальцы. Скрипнул чулок.

– Что это еще за физиономия? Хочешь подзатыльник? Или лучше два?.. Ты сделаешь лицо попроще, да или нет?

Филипп покачал головой и кивнул. Мадам Сеньеле раздраженно, грозно, удовлетворенно выдохнула. Она швырнула свой журнал, словно прачка валек, и тот шлепнулся на пол. Привстав с кресла, она уселась на самый краешек половинкой задницы и съежилась, вжалась в себя, будто паук, приготовившийся к прыжку, или ухмыляющаяся мумия, засунутая в сундук в позе зародыша. Мадам Сеньеле продолжила:

– Ну и почему ты в такое время не в школе?.. Тебя отправили домой? Ты еще не выздоровел?.. Да хватит уже корчить рожи, или я сделаю так, что эта рожа останется у тебя навсегда!.. Так значит, тебя выгнали? Снова неприятности, да? Вечно с тобой одни неприятности! Никогда! Никогда твои братья такого не делали! Слышишь, Филипп? Если б они только рискнули в твоем возрасте, я бы их

убила! Убила! Убила! Никогда они не делали и сотой доли того, что ты!.. Филипп, я предупредила, перестань корчить рожи, или я клянусь, что влеплю. Хочешь? Хочешь?.. Ну так и скажи, раз хочешь. Да?..

Филипп покачал головой. Порой мадам Сеньеле продолжала эту игру до тех пор, пока малыш расплачется. Она била его по щекам за то, что он плакал: ах, он ненавидит свою мать, да? даже не улыбнется, да? хотя бы разок! В такие дни она была в отличной форме. В другие разы она била по щекам чуть ли не с самого начала, еще не доведя Филиппа до слез: тогда он плакал, по крайней мере, не просто так. Наконец, в некоторые дни мадам Сеньеле бывала в хорошем настроении, что подталкивало ее к ироническим замечаниям: она запугивала ребенка, чтобы поиздеваться над ним, высмеять его страх перед криками и ударами и остановиться в тот самый момент, когда он уже готов был расплакаться. Она тут же позволяла ему оценить свою доброту и великодушие. Мадам Сеньеле ясно давала понять, что откладывает подзатыльник до следующего раза, а следующий раз не за горами.

Тем не менее, она очень редко прибегала к телесным наказаниям, предпочитая спускать пар лишь от случая к случаю: порка в надлежащей форме была прерогативой мсье Сеньеле. У него был строгий церемониал, и он никогда не импровизировал. Мадам Сеньеле, напротив, била по щекам так, как обычно чихают: когда вдруг подступает, и ты резко выпускаешь воздух, а потом вытираешь нос и больше об этом не думаешь. Она так мало об этом думала и была настолько недалекой в своей женской злобе, настолько бестолко-

вой, что возмутилась бы, если бы ей на это указали. Какая наглая клевета! Какая ложь!

– Ну и каких глупостей ты наделал? Давай, выкладывай… В такое время просто так домой не отправляют! Ну что, я жду. Я жду, Филипп!.. Что ты натворил?

Филипп попробовал повторить то, что учительницы велели сказать мамам. Он выглядел таким слабым и растерянным, что Реймонда Сеньеле почувствовала себя оскорбленной, как будто ее нарочно провоцировали. В чем он посмел ее обвинять? На что намекала эта плаксивая рожица, этот дебильный страх в глазах? Разве она потерпит упреки от семилетнего засранца?.. К тому же это она имеет полное право быть ребячливой, трогательной и слабой. Значит, эти сукины дети хотят отнять у нее все – даже это, даже это?

– Что-что, учительница заболела? Да что ты такое опять выдумываешь? Предупреждаю, что ты не умеешь врать, Филипп. И знаешь, чем это закончится? Знаешь? Скажи мне: знаешь – да ли нет? Знаешь? Я слушаю, Филипп. Ты мне скажешь да или нет блядь? Как же ты мне осточертел!.. Так ты отвечаешь или нет?

Паренек покачал головой и разрыдался. Мадам Сеньеле слегка расстроилась. Не этого она добивалась. Сегодня она была веселой, благожелательной, приветливой. Ее желудок был хорошо увлажнен, руки и ноги разнежены, а голова расслаблена в радостном предвкушении большого фоторомана и сосиски с чесноком. Она хотела просто поиграть с Филиппом, без всякой задней мысли, а этот дурик превратил все в трагедию. Соплежуй. Старшим братьям в подметки не годится. Особенно Бертран – тот всегда был чудесным партнером.

Его можно было истязать, как раба, узника, пса. Он сопротивлялся, парировал, всегда справляясь с глупостью и свирепостью собеседницы. Он превратился в толстого борова, весившего сотню тонн, в приземистого, коренастого, благодарного подростка. Когда-нибудь он станет техником, возможно, инженером, быть может, в атомной промышленности, если как следует хлестать его по щекам. Какое достижение для его отца – служащего-бакалавра, кадрового заместителя начальника. Сеньеле возлагали на Бертрана все свои надежды. Он любил точные науки – единственную форму знания, которая могла волей-неволей отпечататься в его нейронах, оглупляемых ударами, приказаниями, обязанностями, ограниченными представлениями, расхожими мнениями.

Напротив, Филипп, самый младший, никаких надежд не подавал. Малейший окрик, и он уже подставлял щеку. В конце концов он будет умолять о том, чтобы его отчитали и избили, даже не сказав за что.

В любом случае он этого заслуживал, это да, как и все дети. Сачковать в его-то возрасте! Теперь можно и пореветь, раз уж натворил делов. Мадам Сеньеле пригрозила, что, если он сейчас же не прекратит хлюпать, она пойдет на почту и позвонит, чтобы узнать правду. И пусть пеняет на себя, если соврал: согласно распорядку, сегодня вечером после ужина у отца будет порка. Ну что?.. Звонить?..

Эта угроза оказала странное действие. Филипп перестал рыдать и внезапно успокоился; его выпуклый бледный ребячий лоб полностью разгладился.

Мать это заметила, поняла свой промах и по-

меняла тактику. Что-что? Это маленькое брехло возомнило, что она действительно сорвется с места, хотя у нее после обеда и так хлопот полон рот? Как будто ее так уж интересует весь этот школьный бред! Ах вот как! Господин командует, а мы должны подчиняться! Мир наизнанку. Пара затрещин – вот тебе и весь телефон.

У Филиппа был виноватый вид. Он терпеливо, мучительно ждал, пока мать кончит. Позже вернутся братья. Сегодня первым придет Жан-Батист, он хороший; потом Доминик, он очень хороший; потом Бертран – остальные его не любят, но ему удается пленить родителей. После этого все будет хорошо. После этого вернется папа, и наступит еще один неприятный момент. Они поужинают. После этого можно будет пойти спать, и все опять будет хорошо. После этого наступит завтра, и все неприятные моменты повторятся снова. После этого…

– Ах ты хитрец – разрюмился! – издевалась мадам Сеньеле. – Ты думаешь, это красиво? Ах, какой ты красивый! Ну и чего ты ревешь? Что я тебе еще сделала? Бедный великомученик! Бедный малыш, которого все истязают! Ну и насмешил ты меня!.. Это комедия! Комедия! Умереть – не встать!..

Филипп никогда не понимал выражение «умеретьневстать». Супруги Сеньеле всегда умирали и не вставали от самого смешного или забавного. Это была их наивысшая оценка, вершина в иерархии комичных происшествий, нелепых людей, сногсшибательных, уморительных зрелищ.

– Ну это же умора! Умора! Умеретьневстать!

Рассмеяться над слезами – единственное средство их остановить, известное Реймонде Сеньеле, и если оно не действовало, она костерила ребенка

на чем свет.

– Ну что?.. Ты еще и недоволен, что прогулял школу? Тебе не нравятся каникулы? Ну как тут не скорчить рожу! А вот мне, например, никакие каникулы не светят! Но тебе-то плевать, тебя обслуживают. А господин корчит рожу. Вот награда за все, что я делаю!.. Во-во, реви опять! Дурик! Думаешь, это красиво! Хии-хааа!..

Ей было весело: отрыгнув, она показала огромный язык, словно девчонка, дразнящая тупого паренька. На Филиппа пахнуло чесночным смрадом, и он заглянул в рот мадам Сеньеле. Внутри все было в комочках жеваного хлеба, а спереди торчал бледный, сероватый, сухой язычище со сгустками слизи по бокам, сливавшимися с задними зубами.

– Ну все, надоела мне эта твоя комедия! – гаркнула Сеньеле и поспешила закончить разговор, который уже нагонял скуку.

В ее взгляде вдруг погасла насмешливость: она нахмурила брови и, выпучив глаза, так что обнажились склеры, забурчала:

– Ты перестанешь, Филипп? Ты перестаешь гримасничать, а?.. Что ж, славная у меня семейка, ах какая славная семейка! Значит, ты думаешь, мне мало того, что я весь вечер вижу дурацкие рожи твоих братьев? И твоего отца, этого алкаша, думаешь, мне его тоже мало?.. Ты не станешь таким же, Филипп, да? Ты и твой отец – с меня этого хватит! Ты не станешь таким, как они, предупреждаю! Ты станешь нормальным, или, предупреждаю тебя, это плохо кончится! Все, да? Конец? Скажи мне: конец?

Филипп пробормотал: «Да». Мадам Сеньеле отправила его на кухню, чтобы он сел там за стол и

спокойно играл. Она обладала интуицией и переставала мучить ребенка только после того, как тот почувствует, что сам спровоцировал сцену. Она реагировала на безобразное поведение своих сыновей – вот и все. Филипп был особенно омерзителен, что бы он ни делал: дома он бывал чаще и дольше других; мешал; оказывался под рукой всякий раз, когда накатывало раздражение и хотелось сорвать злость.

Поэтому Филипп был виноватым из принципа, по определению, в силу удобства, но – только в глазах матери. Братья относились к нему хорошо, отец практически его игнорировал, а учительницы наводили на него ужас своей физической аналогией с матерью, хотя и не внушали ему антипатию. Вовсе нет – он их обожал. Они были спокойные, терпеливые, сдержанные, лояльные; ошибки, за которые они порицали, были в целом понятны; в отличие от мадам Сеньеле, они не нарушали без конца порядок вещей; и если в понедельник утверждали, что деревья красные, то не били тебя по щекам во вторник, когда на вопрос: «Какого цвета деревья?» ты послушно отвечал: «Красного!» Да, учительницы были действительно добрыми.

Другие мальчики считали их злыми, трусливыми, занудными, дебильными, жалкими, хитрыми, слащавыми, невыносимыми. Так думали, разумеется, хулиганы. Филипп очень боялся этих ребят. Но если над учительницами смеялись и если их критиковали отличники, Филипп очень удивлялся и чувствовал, как дрожит и рушится вселенная, точь-в-точь как беспрестанно все рушилось д ма – все, кроме строгого протокола, придирчивого нрава родительских божеств и суровости наказа-

ний. Постоянный страх изматывал, хотелось обрести покой хотя бы в школе. Но нет, скверные приятели мешали даже там.

Мадам Сеньеле пришла к Филиппу на кухню: ей захотелось выпить бокал вина. Чтобы замаскировать это желание (ведь, суровая и агонизирующая, она, разумеется, никогда не испытывала никаких желаний и пила, только умирая от жажды, ела, только умирая от голода, надевала что-то новенькое, только сто раз натянув одни и те же тряпки, ложилась спать, только устав до смерти, да к тому же не спала по ночам; она бы тотчас выпустила когти, если бы ей посмели намекнуть, что пища, вино, одежда, сон – приятные вещи: нет, она знать не хотела само слово «удовольствие» и испытывали адские муки, пока ее муж и пацаны тащились от еды и питья, валялись в постели, щеголяли в безукоризненно подогнанных одежках), она набросилась на ребенка:

– Значит, ты собираешься весь день читать, да? Считаешь, что уже выпрямил осанку? Сделай мне одолжение, найди себе другое занятие, и побыстрее!

Она осушила бокал вина, сморщившись, словно ее изводили противным слабительным, зловонными лекарствами.

– Иди прибери у себя в комнате и дай мне эту книжонку. Зачем тебе читать? Это что, для школы? Так учительница и слова из тебя вытянет. Просто свинарник, а не комната. Ты же не хочешь сказать, что это Доминик разбросал игрушки у тебя под кроватью? Хотя с ним я тоже поговорю. Вы оба у меня в печенках сидите. Вот где уже сидите. Давай, шевелись.

Она говорила это всем почти каждый вечер,

без всякой видимой причины. Так она поддерживала свой микроклимат – ауру измученной, умирающей от злости женщины.

Доминик и Филипп, не такие бестолковые, как два других брата, и старательные, насколько могут быть старательными дети, содержали свою комнату, как правило, в чистоте. Царивший там порядок напрямую зависел от их смелости и развлечений, как, впрочем, у всех людей и в любом возрасте. Но мадам Сеньеле, женщина необычайно ленивая, рассеянная, изнеженная и даже неряшливая, выслеживала и выискивала недостатки других с неусыпностью и грубостью, достойными ее неизменно сварливого настроения.

Обрадовавшись тому, что его наконец отпустили, Филипп скрылся в своей комнате. Нет ничего хуже, чем проводить послеобеденное время на глазах у матери или просто рядом с ней. Комната служила убежищем: там он чувствовал себя не таким уязвимым, в большей безопасности от произвола, злобы, нервных срывов; там он переводил дух.

Мадам Сеньеле захлопнула за собой дверь гостиной и вернулась к журналу и сэндвичу. Ей казалось, будто она убрала дом и навела порядок. Она наслаждалась этой безопасностью, этим блаженным состоянием. Доев сосиску и снова захотев пить, она встала почти что без вздоха. Даже забыла сходить посмотреть, чем там занимается ее пацан.

Бездельничая с обеда до вечера, Реймонда Сеньеле выработала собственные неизменные ритуалы, которые мало-помалу открыли для себя ее наименее впечатлительные дети – Бертран и особенно Жан-Батист. Они зубоскалили над ними

на досуге, утоляя либо разжигая свою ненависть к супругам Сеньеле, отслеживая и коллекционируя их смешные, свинские, несуразные черты. Эти гигиенические упражнения немного вдохновляли даже Бертрана.

Странно то, что мадам Сеньеле практически ничего не скрывала. Ее нельзя было застать врасплох, и она афишировала даже свое сомнительное гурманство и тайную склонность к пьянству (точнее, к питью: она любила потягивать вино, сладкие аперитивы, мускат или вермут маленькими глотками, для настроения, но никогда не напивалась, обладая жадной глоткой и ледяным рассудком). С полоумным, визгливым нытьем она сообщала о причине, вынуждавшей ее прибегать к тому или иному средству, которое любую другую бы испортило, но для нее было всего лишь дополнительным страданием, принуждением, голгофой. Так, если Жан-Батист или Бертран «обнаруживали» некий порок мадам Сеньеле, упреки матери больше не могли ввести их в заблуждение: они затыкали себе уши, видели то, что видели, желтели от недовольства и презрения. Как так? Эта омерзительная, лживая, злобная, инфантильная, нечистоплотная старая корова помыкала ими раньше и тиранит их сейчас? Невероятно! Они описывали друг другу причуды мадам Сеньеле, пародировали, подозревали, прикидывали, выдумывали прочие недостатки, точь-в-точь как школяры отыгрываются на ненавистном классном наставнике или несносном преподе.

Доминик и Филипп не отличались подобным здоровьем. Они воспринимали отца и мать буквально. Они не могли себе позволить преступного взгляда в духе Жана-Батиста, иронии или двус-

мысленного выражения лица за столом, сомнения в правдивости родительских слов, в совершенстве семейных нравов и обычаев, в законности головомоек, в уважении к пакостному настроению, в глубокой гуманности оплеух, степенном благородстве взрослого свинства, высшем самопожертвовании папы и потрясающей самоотверженности мамы. И когда Филипп подходил к окну и смотрел на улицу, а мать тут же запрещала, нечленораздельно выкрикивая: «Нет трожь стекла а то все снова залапаешь! Наверно это ты их моешь? Тебе начхать на мамин труд да? Но мне-то не начхать! И что ты там такое увидел в окне а? Суешь свои грязные ручонки куда ни попадя!» – он искренне верил, что сам является исчадием ада, а его мать – мученицей.

В самом деле, эта несчастная тратила свою жизнь на то, чтобы убирать грязь, которую все ухитрялись разводить; каждый предмет, каждый квадратный сантиметр жилища был священным, чуть ли не заповедным: он служил эквивалентом маминого труда. Использовать его или просто там находиться означало херить ее работу. Реймонда Сеньеле искусно умела внушать окружающим чувство вины за собственное существование. Даже ваше дыхание было ей в тягость. Ей что, все бросить и бежать проветривать? Если дети занимались уборкой, то вместо благодарности мадам Сеньеле ворчала, что они, дескать, испачкали швабру, губку, плохо вытряхнули пылесос, не туда поставили посуду, развели грязищу в раковине. Она вызывала виновного, а тот удивлялся:

– Да где грязно-то?

– Что «где грязно»? Ты что, не видишь? Вот, вот, вот!..

И мадам Сеньеле тыкала пальцем в какие-то недочеты или микроскопические упущения. Она бесновалась. Все обреченно опускали головы. Ведь она разыгрывала все это не для того, чтобы они повторно выполнили раскритикованную работу, а для того, чтобы закончить ее самой, изображая из себя жертву. Ах да! Они хотели почистить то-то и то-то! Оказать услугу! Как же! Ну конечно, теперь придется после них переделывать!.. По ходу, больше мороки, когда они помогают, чем если все делаешь сама!

В действительности эта тактика позволяла ей перекладывать значительную часть домашнего труда на детей, которых она всякий раз привлекала к черной работе и вознаграждала упреками, вздохами, нервными срывами и угрозами. Выполнив задание, они оставались такими же виноватыми, как если бы отказались помогать; это ложилось на плечи мадам Сеньеле тяжким бременем вместе со множеством прочих мучений. Что бы ты ни делал, она всегда оставалась трепещущей жертвой, но в то же время воплощенной «язвой».

Так и тянулись нескончаемые, изнуряющие, томительные дни для четырех детей Сеньеле: дом-школа – школа-дом, отец-мать – мать-отец, дневники с неважными отметками и драные носки, стыдное пристрастие к одним продуктам и возмутительное отвращение к другим, стенания и крики, полные ненависти лица и скрытая травля, порки и подзатыльники, запреты и выкрикиваемые приказы, редкие часы без мучений и ошеломительные праздничные дни.

Поэтому сокровенным праздником для Реймонды Сеньеле, возможно, единственным случаем, когда эта женщина испытывала неза-

мутненное наслаждение, были эти праздные послеобеденные часы, которые она отчаянно оберегала от посторонних (в чем только что воочию убедился и Филипп). Цепляясь, точно собака за горло, за эти безобразные пикники, развалившись в своем большом кресле, точно в гамаке, она нажиралась до отвала историями о худобе, диете, элегантности, красоте и з мках, придирчиво разбирала рекламу и недобро поглядывала на дурашливых «дамских детишек», рекламировавших носки или трусы; по завершении этой разминки она набрасывалась на свой фотороман, на свой детективный журнал. Читала она вяло, словно старуха, дремлющая на стуле, расчесывала волосы всей пятерней, вытягивая и разглаживая их, чтобы развить перманент, и всеми ногтями царапая жирную кожу головы. Она соскабливала грязь, состоявшую из кожного жира и перхоти, что оседала под каждым ногтем сероватым липким полумесяцем, который она сначала нюхала, а затем вычищала ногтем большого пальца – один палец за другим. Завершив эту чистку, она вновь принималась чесать голову; и так – до самого ужина, со шкварками и подзатыльниками.

V

Жюльен покачал головой:

– Нет, когда мы уходили, она была еще живая.

Рене Тере подтвердил. Они никого не убивали. Кажется, Марк Гийяр был не согласен. Две старухи за три недели – это уже перебор. С первой-то все ясно – сердечница. Но вчерашняя не должна была загнуть копыта. Марк не участвовал в вылазке, хоть и знал места: Грандье могли бы его опознать. Он все подготовил, объяснил, расписал по минутам, как в детективных романах, которые он читал, и ждал возвращения мальчишек. Они промолчали о смерти мадам Грандье. Марк узнал из газеты сегодня утром.

– Они говорят, это вы. Грандье им сказал, что это вы.

– Он нарочно это сказал, – возразил Рене. – Зуб даю, он этим воспользовался, вот и все.

Жюльен одобрительно закивал:

– Угу, так он и сделал. Я тоже зуб даю, что так оно и было. Ведь она была еще живая. Любой скажет.

– В смысле «воспользовался»?

– Папаша Грандье, что ль? В том-то и шняга! – загадочно сказал Жюльен. Он хотел, чтобы объяснил Тере: у него это лучше получалось.

– В том-то и шняга, угу! В том-то и шняга! – подтвердил Рене с усталой и невеселой улыбкой, оскалив клыки и сощурившись.

– В смысле ты считаешь, что это он ее…

Рене и Жюльен вместе пожали плечами:

– Само собой, это он, – продолжил Тере. – Он

этим воспользовался, говорю ж тебе. А свалят все на нас! Ну еще бы, такой удобный момент!

Похоже, он считал вполне естественным, что муж извлек выгоду из налета, чтобы задушить жену.

– Прикинь, старушенции восемьсят годов или типа того!

– Угу, ээ, сто годов, сечешь, старая калоша! – загоготал Жюльен Рокен. – Твою мать, как от нее воняло! По ходу, она наделала в штаны, когда мы ее привязали. Старая калоша, сечешь! Тот ублюдок все правильно сделал!

– Они базарят, что это не из-за кляпа. Ее не задушили, а она сама задохнулась. Значит, вы не виноваты? Так же, как и в прошлый раз! – сказал Марк Гийяр.

– Да нет же, нет! – сказал Тере. – Нет! Мы только наполовину засунули ей в рот, даже не сдавили, не надо ржать слы!

– Гха! Это не мешало ей пердеть через жопу! – ухмыльнулся Жюльен. – Старушенция, сечешь!

– Дело не в этом, а в челюсти, – сказал Гийяр.

– Челюсть? Какая челюсть? – переспросил Рене Тере.

– Вставная. Старухи носят вставную челюсть. Когда затыкаешь им рот, они ее глотают, задыхаются и загибают копыта. Это всем известно!

– Где об этом сказано – насчет челюсти? В газете?

– Нет, это я тебе говорю. Как пить дать. Она типа застряла у нее в горле.

– Блядство, – пробормотал Тере.

– Угу, если это так, – сказал Жюльен. – Ебаное блядство. Ты уверен, что у нее была челюсть, Марк?

– Гонишь? С такими-то зубами! Видел, сколько у нее спереди зубов было? – сказал Марк.

– Не знаю. Знаешь, это незаметно, я ж ей в рот не заглядывал, – сказал Тере. – А ты, Жюльен?

Жюльен тоже не обратил внимание на зубы мадам Грандье. Но это ничего не меняло. Старухи и старики носят зубные протезы, тем более богачи. Да, это да. Попадос.

– А ты уверен, что так можно задушить? – спросил Жюльен.

– Не задушить, а задохнуться, – ответил Гийяр. – Угу, наверно.

– Ты сам… пробовал? – не унимался мальчик.

Марк Гийяр ухмыльнулся. Малышня что-нибудь как сморозит – хоть стой хоть падай. Этого им не объяснишь…

– Ну и как ты хочешь, чтобы я попробовал, а, Дракула? Куда ты хочешь, чтобы я зафигачил себе эту челюсть? В дупло? Пока есть зубы, ее ж хрен засунешь, Мишутка!

– Ээ, я ж не говорю, на себе… – сказал Рокен. Он не любил, когда над ним смеялись. Не любил, когда другие спекулировали на его возрасте. Больше никто не сможет на его надавить. Никогда.

– Я говорю вот так, на ком-то… Не знаю!

– Во-во, – сказал Гийяр. – Иду я такой по улице вижу старуху и говорю ей мадам проглотите пожалуйста свои зубы чтобы я посмотрел что будет? Просто моему дружбану интересно.

– Кстати, это еще не все, – перебил Рене Тере. – Франсуа, ну знаешь, сын препода, по ходу, потерял там свою маску. Без перчаток – только маску.

Во время ночных вылазок мальчишки принимали целый комплекс мер, чтобы скрыть свою личность и возраст. Нападали самые старшие, вы-

ключив свет и ослепив фонариками жильцов, а затем на сцену выходили дети в масках. Это были либо карнавальные, либо смешные и серьезные маски их собственного производства.

Впрочем, пока что они совершили очень мало налетов. Организовать их было особенно трудно. Но, казалось, опасности меньше, чем при менее дерзких операциях, проводившихся днем и с открытым лицом, как, например, кражи в магазах. «Монопри» на площади Насьональ был излюбленной целью малышей, которые хитрили и никогда не брали того, что должно заинтересовать воришек их возраста: мальчишку, вышедшего с пакетом скверных шоколадных конфет, все обзывали дураком и идиотом.

Нет, привлекательность мелких краж заключалась в их бесполезности и нелепости, в удовольствии от того, что облапошиваешь взрослых, обманываешь их бдительность и демонстрируешь собственную силу. Все просто восхищались пареньком из северного района, Пюиморeном, которому было не то десять, не то одиннадцать. Он украл две пары женских трусиков чуть ли не на глазах у продавщицы; нарочно положил одни так, чтобы они выглядывали из кармана, и бродил по магазину, пока его не заметили, не допросили и не обыскали. Когда трусы нашли, Пюиморен расплакался, распустил нюни и заявил, что это мать заставила его украсть нижнее белье, пригрозив жестокой расправой. Он залпом выдал целый список поручений того же рода: чулки, колготки и т.д., которые мать требовала у него украсть. Он признался, что с большим трудом нашел нужный размер; обезьянничал, смешил своей невинностью, наврал еще с три короба, ему пригрозили,

прочитали нотацию, он на минуту испугался, что его отведут домой, срочно разжалобил нескольких продавщиц, его поддержали, простили и отпустили. А его вредная мамаша давным-давно смылась – вот гнусное отродье!

Дерзость Пюиморена выходила за рамки того, на что отваживались ребята из шайки. К тому же он был не такой уж умный, ведь теперь он больше не мог сунуться в «Монопри» и его могли где угодно узнать либо сотрудники магазина, либо покупатели, наблюдавшие эту сцену. Но мальчишка переквалифицировался на мелкие продуктовые универсамы. Он заходил туда в час пик, выбирая самые переполненные. Там он всем очень вежливо улыбался, сновал между людьми, напихивал в носки съестного, покупал молока, ординарного вина или салата и, такой милый, такой славный, выходил, не вызывая подозрений. Хотя кражи полезных вещей не считались престижными, им немножко завидовали: очень уж рискованно.

– Про маску в статье не говорится. Он уверен, что посеял ее именно там?

– Он мне сказал, что положил ее на кухне, когда выпил пива перед самым уходом. Как только мы ушли.

– Ну он и придурок, этот Буатар! – сказал Жюльен Рокен. – Знаешь, какая у него была маска?.. Сверху Зорро, а снизу – краснющая накладная борода! С картонной лысиной. Говорю ж тебе, он чеканутый!

Сам Жюльен надевал простую балаклаву. Фантазии некоторых других мальчишек казались ему недостойными их банды и ее действий.

По мнению Марка Гийяра, то, что на кухне Грандье забыли маску, это было не страшно, если

только Франсуа не… Он вдруг воскликнул:

– Блядь! Отпечатки! На маске! Они поймут, что это был пацан!.. Разве есть чуваки, которые надевают такие маски, когда идут на дело? Они подумают типа даун какой-то. Но тогда…

– У чувака могут быть маленькие пальчики, а сам он при этом не шпингалет, – заметил Рене Тере. – Вот, например, у моего учителя рисования, руки, может, даже еще меньше, чем у Жюльена. Да и потом, не такой уж он малой, этот Франсуа. Не факт, что легавые врубятся.

Тем не менее, эта история с маской всех переполошила. И почему газеты умалчивали об этой детали?

В то же время мальчишек удивило, что они писали о крупной краже со взломом: столового серебра на несколько миллионов старыми, драгоценности. Кто же все это украл? В принципе каждый уносил с собой все, что хотел, и никто не обязан был отчитываться. Но они показывали друг дружке добычу, рассказывали, обменивались, уничтожали – все делали сообща. При этом они не помнили, чтобы кто-то украл у Грандье что-нибудь из перечисленного в прессе.

В конце концов, это не имело первостепенного значения. Они прояснили ситуацию с двумя беглецами. Запланировали новое местоположение логова; оставалось только тщательнее оценить его безопасность. Долго обсуждали развитие событий. Гийяровская ячейка была еще довольно послушной, но чувствовалось, что ее тянули в разные стороны. Появился смутный страх. Все становилось возможным, и они уже толком не знали, чем занимаются, да и зачем. Бегство из дома двух мальчишек – это было слишком серьезно,

серьезнее двух кокнутых старух: они и пальцем их не тронули, а значит, они умерли, в сущности, от старости. В воздухе витало чувство вины: они прошли точку невозврата, и да, они боялись.

Все, кроме, возможно, Жюльена Рокена и некоторых других малышей. Они решились… На что? Казалось, Жюльен перекладывал ответственность за их неприятности на самых старших. Пусть сами выкручиваются! Пусть делают и думают, что хотят! Жюльен повторил, что не нуждается в них. Прежде всего, слишком много мальчишек знали об их старом тайнике и даже прослышали о новом: это идиотизм. Ходить на дело такой огромной толпой – тоже идиотизм. Теперь, когда у них уже есть почти все полезные вещи, которых не хватало, нужно затаиться. Чтобы о них забыли. И прогнать всех балаболов типа Буатара и иже с ним.

Жюльен прекрасно представлял себе, как вырастет и будет жить дикарем в каком-нибудь безлюдном уголке острове. На самом деле он пока еще не мог обходиться без подельников, но это придет со временем. А потом он отправится в кругосветку. Он никому об этом не рассказывал: это был его личный секрет, разгадка его отчаянной терпеливости и хладнокровия. Вот для чего он жил. И, несмотря на его десятилетний возраст, все остальные казались ему заигравшимися младенцами. Поэтому все, конечно, закончится для них плохо. Зато Жюльен выпутается, уцелеет в этом неясном приключении, от которого, если он чуть дольше о нем задумывался, бросало в пот и колотилось сердце. Он бороздил иной океан, на другой планете и уже среди других людей. У него больше не осталось ничего общего с его корешами; из та-

кого далека он уже их не слышал и даже не различал. Отдалился во времени – в необъятное будущее, где он затерялся, навсегда расставшись со своей семьей.

Мадам Леско интересно, почему Жоашен не пришел ее поцеловать: обычно в такое время он уже ложится. Неужели до сих пор не спит? Ведь уже начало двенадцатого! Вот плутишка! Или он снова перечитывает груду своих комиксов? Он читает, читает, читает так быстро, что порой пропускает текст, следя только за картинками, и перестает понимать сюжет. Тогда он приносит комикс маме, чтобы та ему объяснила.

– Лапочка, детка, ты что, разучился читать, дорогой? – по-доброму укоряет мадам Леско. – Уже забыл, как надо читать?.. Взгляните на этого барашка, который совсем-совсем-совсем не умеет читать, даже комиксы, маленький-маленький барашек!.. Я сейчас поцелую его, любимого!

– Мее! Мемее! – услужливо мычит Жоашен.

Мадам Леско раскрывает мидии на огне. Покупатель по ту сторону стойки потягивает ром и говорит с ней о «крустаде» с морепродуктами. «И чем ему так нравится эта гадость?» – думает Ивонна Леско, но не отваживается ничего сказать вслух. У пьющих вечно свои бзики, от которых они не отступятся. Незачем отвечать, обсуждать.

– Но предупреждаю! Никаких, так сказать, фрикаделек из того-этого! Предупреждаю! Этого мне не надо! Меня на мякине не проведешь! Чем давиться мукой, лучше все-таки есть хлеб! Так что предупреждаю!.. Нет, ну разве не так?

– Да-да, ах да, хлеб, – машинально повторяет мадам Леско. Она не хочет оставлять без присмотра свои мидии, которые едят почти сырыми, но

горячими: тут нужен глаз да глаз. Потом она сходит проверить, улегся ли Жоашен. Ну, и блин без начинки для мадам Биньон (между прочим, она пьяница, но славная женщина, одно другому не мешает, и ей повезло с пожизненной рентой: даже как-то скучновато), нет, с вареньем: ах, Ивонна Леско уже и забыла.

– С чем там у вас блин, мадам Биньон? – кричит она в прокуренный уголок зала.

– Да с чем хочешь, милая моя! – отвечает мадам Биньон. Она говорит тоном базарной бабы, но при этом мелодичным, томным голосом с округлыми нотами: наверное, когда-то она училась петь в церкви и затягивала песенки на свадьбах, удивляя слушателей пронзительным голосищем – своим вибрато. Эти матушки, буквально напичканные романсами, с огромной выгнутой грудью, похожей но голубиную шею, будили в мадам Леско дочернее чувство.

Она подумала, что можно поставить телевизор для вечерних посетителей: было бы мило, если бы все они так же по-матерински твердо ворковали, как эта старая мадам Биньон. И, возможно, слегка понижали бы голос. Тем не менее мадам Леско не возражала против небольшого шума; больше всего кафе нравилось ей в часы пик, когда перемешивались беседы, смех, оклики, звон бокалов, алкогольные пары, скрип притягиваемых стульев и сдвигаемых столов: весь этот гам переплетался с сизым сигаретным дымом, который растягивался по залу длинными гибкими нитями, завязывался сетками, гамаками, странными подвесными мостами, по которым, приветливо покачиваясь, передвигалась мадам Леско.

– А они кормят вас шампиньонами! – говорил

пирожный пьяница. – Нет, ну скажите, шампиньоны что, в море растут?.. Что за брехня?!

– Нет-нет, да вы что! – шепнула мадам Леско и погромче ответила мадам Биньон:

– Тогда вам придется обождать две минутки, я волнуюсь, пойду посмотрю на утку!

Она подала мидии и как раз откупоривала превосходное белое, когда в зале появился Жоашен. Мальчик был в новых коротких синих бархатных штанишках и красном свитере цвета герани, с канареечными звездочками в форме снежинок. Мастерица мадам Леско вязала эти жаккардовые вещи в свободное время – в основном для того, чтобы поменьше есть, поскольку праздность разжигала у нее аппетит. Она и так считала себя полноватой, да к тому же никогда не отказывалась от бокальчика, поэтому да – вязание, звездочки.

– Ой, детка! – вздохнула Ивонна Леско так, словно мальчик поранился. – Так ты еще не лег баиньки? Ох, дорогой!

Жоашен абсолютно не был похож на сонного ребенка: улыбающийся рот, заостренные скулы, горящие глаза – сущий ангелочек, свежий, как майское утро. Мадам Леско это почувствовала. Ей стало интересно, отчего сынишка стал вдруг таким хорошеньким, но тот вдруг пустился в многословный рассказ о битвах, нищебродах, шалопутах и деньжатах.

Постепенно мадам Леско с испугом поняла, что Жоашен весь вечер резался в карты со своим двоюродным братом Эрве Пелиссоном и несколько партий они сыграли на деньги. Жоашен утверждал, что выиграл пять тысяч франков. Причем за один присест.

Мать улыбнулась: он еще путался во франках и

сантимах. Нет-нет, поклялся ребенок, пять тысяч! Там было пять тысяч! Они у него даже в кармане лежат.

– На «Королевско-императорской эстафете»! Да, мадам! Ровно шесть лет назад! Незабываемо! Никогда таких больше не ел! Вы уж мне поверьте!

– Перестань, моя лапочка, нет у Эрве никаких пяти тысяч!.. Повторить, мсье! Нет, картофеля фри сегодня нет! Гратен! Да! Парочку отменных, да!

– Да-да-да-да-да пятьсот тысяч франков!

– Пятьсот франков, детка. А ну-ка покажи мне?

– Милая моя мой блин вы там случайно под ним не прикорнули? – жизнерадостно спросила мадам Биньон.

– Уже на подходе мадам уже на подходе, – крикнула Ивонна Леско. – Ну вот, что я тебе говорила, мой сладкий? Это у тебя пятифранковая монета!.. Пятьсот франков, видишь?

На самом деле Жоашен соврал о том, откуда взялись деньги, однако назвал вначале точную цифру: Эрве дал ему пятьдесят франков (пять тысяч, как говорил мальчонка) – часть небольшой добычи, награбленной в тот же вечер при сообщничестве одного только Алена Вио. И хотя Жоашен пришел в восторг, ему пришлось тут же вернуть деньги, поскольку он не мог хранить их у себя. Эрве выступит в роли банкира: он будет потихоньку выдавать их мелкими суммами. Жоашену хотелось отложить на подарок ко дню матери, но тогда бы потратить их было, конечно, нельзя. Поэтому они и придумали историю с картами.

– И у твоего двоюродного брата нет головы на плечах! Сначала остался без этих своих пяти тысяч, как будто у него, бедняги, их куры не клюют!

А потом не давал тебе спать до двенадцати или до одиннадцати! А ты даже не зеваешь разбойник да уж хорошо повеселился!.. А он ушел не прощаясь?

Мадам Леско не удивлялась, что ее маленький сын такая же «сова», как и она. Это расстраивало ее разве что из-за школы. Жоашен спал не меньше десяти часов. Мать ни за что на свете не сократила бы время сна – уж точно не ради уроков.

– Эрве – вот кто у нас теперь главарь! Это наш главарь! – воскликнул Жоашен, не в силах промолчать. Он тонко чувствовал степень внимания, уделяемого матерью, и пользовался этим, чтобы безнаказанно признаваться во всем, что ему дорого. Он рассказал мадам Леско о преступлениях, а та рассмеялась и ласково пожурила сына за то, что он путает книги с реальностью: к тому же убивать и грабить всех подряд, Жоашен, это очень плохо, мой ненаглядный утеночек!

– Он какает, вот почему, у него вылезает оттуда толстенная колбаса! Он… пердит колбасой! Ха-ха!

– Солнышко какой кошмар какой разбойник что ты там мне говоришь про Эрве и эту колбасу! А я-то думаю, почему никто не приходит поцеловать меня перед сном! Ну и странные напрашиваются вопросы! Да замолчишь ты наконец?

Мадам Леско не была ханжой: грубые слова и сортирные шутки сына, который обожал все связанное с задницей, ее не шокировали. Колбаса! Она засмеялась, представив, как ее племянник Эрве сидит по-турецки в туалете, а из зада у него свисает огромная спираль шоколадного цвета.

– Ну ты и сорванец!.. А кто до сих пор не лег баиньки?.. И чей же он теперь главарь, Эрве?.. Твой, что ли?.. Давай, лапочка!

– Да они разучились их готовить! Две-три ми-

дии, две-три сердцевидки, два куска рыбы, мороженая креветка, какой-нибудь костный сок… и это они называют «крустадом»! «Тимбалем»! А ведь мы живем на берегу моря! Да что я такое говорю? В открытом море!.. Мы живем в море! Задницу в него окунаем! Океан!..

– Знаешь я знаешь я бы тоже съел мааинький кусочек! – сказал Жоашен, увидев омлет со шпиком, который мать только что принесла братьям Сенглен, двум неженатым рабочим. Они работали в три смены на заводе «Са. Ви. Ко.», а в воскресенье утром продавали «Юманите»: они ходили к первой мессе, чтобы раньше освободиться. Все их очень любили, они были толстые и усатые, обжоры и труженики с мелодичными голосами. Забавно было наблюдать, как они обменивались за столом репликами, вежливые друг с другом, точно застенчивые молодожены, которые не осмеливаются взяться за руки. Люди шушукались: холостяки поневоле.

Мадам Леско отделила ломтик сала и опустила его на губы Жоашену, который мигом его умял. Мальчик погладил себя по животу от удовольствия и последовал за матерью до самого столика братьев Сенглен. Он признался, что съел кусочек сала из их блюда: как вкусно! Тает во рту, словно масло! Братья Сенглен блаженно рассмеялись; они хором предложили взять еще один ломтик с их тарелок: постреленок был такой потешный, что оба дружески похлопали его по попе. Жоашен увернулся, обжег пальцы и мордашку и объяснил, что нет, завтра в школу не пойдет. Потому что. Вот как: потому что. Дааааааа!

Он бегом бросился к стойке. Эрве был с мадам Леско. Вот те на, он что-то ест?

Пьяница с «крустадом» нашел собеседника, тоже гастронома, который принялся описывать самых громадных лангустов, которых он встречал на этом свете. На свадьбе сестры, на первом причастии сыновей, после выхода на пенсию одного, после крупного выигрыша на скачках другого: казалось, жизнь только и предлагала подходящие поводы, чтобы полакомиться лангустами и, усыпанная ими, начиная с самых крестин, безошибочно вела к последнему лангусту на смертном одре – вероятно, самому гигантскому, пусть и не самому удобоваримому. Мужичок с морепродуктами даже онемел. Куда ему было деваться со своими креветками, сердцевидками и гребешками при таком изобилии ракообразных?

– Мы ели их дюжинами, мсье! Дюжинами! А, простите, порции! Порции! Огроменные! Усищи!

Кафе потихоньку пустело, и голоса незаметно затихали, а воздух тем временем свежел. Однако атмосфера становилась более семейной; благожелательные завсегдатаи придвигались поближе к стойке, пересаживались за соседние столики, забирая с собой напитки, словно скоро должна остаться лишь одна зажженная лампочка или огонек – там, где мадам Леско квохтала над своими двумя детьми, пичкала их лакомствами, журила за то, что они еще не легли, но получала от этого удовольствие.

– Значит, вы играли в батай? Ну какая же я глупышка! Надо было пойти заглянуть к вам в комнату! Тут же два шага ступить!.. А мое бесценное сокровище даже не пожелало мне спокойной ночи! Я чуть не решила, что ты погиб, моя лапочка!

Она занималась уборкой, мыла рюмки и мысленно составляла список покупок на завтра, а Жо-

ашен таращился на пьяниц за стойкой: он обожал этот тип людей. Даже полностью выпрямившись, малыш едва доставал носом до буфета. Глаза порозовели от усталости, как будто песка насыпали.

Но каждый вечер он смотрел на лица. Чем они смешнее, тем шире становилась его восхищенная улыбка. Поклонение алкашам. Он отдал бы все бутылки, только бы им угодить. Эти потрепанные мужья сбегали от жен, телевизора, рутины – из ловушки для дебилов, которую сами же для себя и расставили. В общем, Жоашен любовался этими околпаченными, объегоренными, этими подлецами, ведь у него самого папы не было. Что ново, то и мило. Ханурики в самом деле вызывали живой интерес – гораздо больший, чем люди, с которыми можно было познакомиться. Притом Жоашен считал нормальным, что им хотелось пить, вот только его немного смущала та жидкость в малюсеньких рюмочках.

– Да, мама! Сперва пиво с лимонадом нам с Эрве на двоих, и потом мы ложимся!

Жоашен был на памяти мадам Леско единственным ребенком, который произносил слово «ма-ма» именно так, как оно пишется. А ведь это, вероятно, она сама его научила. Неужели она сама произносила это слово так же? Трудно сказать: надо ведь говорить, не прислушиваясь к самому себе, чтобы речь лилась как ручеек, иначе начинаешь жульничать. Как будто, глядя в зеркало, хочешь увидеть себя висящим в воздухе. Но Ивонне Леско нравилось это «ма-ма» Жоашена; она усматривала в нем привилегию, которой пользовалась, одну из черт малыша, принадлежавшую ей навеки.

– Моя малютка, – воскликнул Пеллисон, – да ты

алкаш! Я бы лучше выпил молока тетя если осталось?

– Да-да мой милый а ты Жоашен не хочешь тоже молочка? Нехорошо пить пиво с лимонадом перед сном, как тебе не стыдно?

Жоашен согласился на молоко, если она добавит туда бананового сиропа. «Почему банановый?» – спросил Пеллисон. Мадам Леско уступила и засмеялась: все равно что пытаться выяснить, почему один день дождливый, а другой ясный. Жоашен дал попробовать свое молоко с бананом: всем оно показалось восхитительным.

– Мой милый Эрве, попадет же тебе от родителей, ты хоть на часы смотрел? Ну и ну!.. Ты, наверное, уже с месяц не возвращался так поздно домой. Мне даже охота проводить тебя, мой милый Эрве: ну да, я пойду с тобой!

Эрве робко отказался. Ивонна Леско настаивала. Она опасалась строгости его брата и невестки. Это займет не больше двух минут: она отведет мальчика и возьмет вину за опоздание на себя. Куча работы в кафе, да, Эрве подтвердит?

Мальчик согласился, но сказал, что тогда спешить некуда. Мадам Леско возразила, что предложила это не для того, чтобы он этим воспользовался и потянул время. Эрве ответил, что она не сможет уйти, не закрыв кафе: еще есть посетители, она же не вышвырнет их на улицу.

– Что-что? Пять минут первого!.. Господа, мы закрываемся!

Она повторила это два-три раза и два-три раза при этом выключала свет. Через пару минут выпивохи выбрались на улицу, а Жоашен уже лежал в постели, погруженный в глубокий сон, зацелованный, подслащенный бананами, до отвала на-

поенный молоком и такой счастливый, каким все пытались стать благодаря ему.

В темном кафе вкусно пахло: мадам Леско широко открыла заднюю дверь, чтобы проветрить от табачного дыма, и густая прохлада, живее ночной прохлады снаружи, вдруг хлынула в неосвещенный зал, который пересекли Эрве и его тетка.

После налета Юго Грандье пребывал в недоумении. Вся история казалась настолько экстравагантной, что насилу удавалось смириться с ее реальностью. Ну а то, что он обнаружил в себе самом, изумляло еще больше.

Грандье не особенно удивил тот факт, что он убил собственную жену. Преступление было почти абстрактным. Нет, мсье Грандье не понимал, как он мог совершить это убийство, о котором никогда не думал прежде, а главное – за что он так сильно ненавидел ту, кого стал называть «старухой», как только «скорая» увезла ее труп. Это добровольное вдовство странно омолаживало.

Грандье с большим трудом высвободился после ухода грабителей. Они связали ему руки тонкой крученой проволокой, наподобие фала для паруса или для флага. Она сильно натирала кожу и мешала кровообращению, но в конце концов Юго Грандье удалось разорвать ее, выкрутив запястья за спиной. Он был необычайно доволен этим: потребовалось не меньше часа усилий. Проволока так нагрелась, что он получил ожоги.

Грандье тотчас поспешил на помощь жене, довольно свободно привязанной к стулу. Он заметил, что она упала в обморок, и, как раз в тот момент, когда развязывал кляп…

Но откуда пришло это наитие? У него были четкие планы, он хорошо представлял себе каж-

дую деталь, пока пытался высвободиться: он развяжет мадам Грандье, позвонит врачу, а затем в полицию. Эти действия были простыми, конкретными, здравыми, они восстанавливали естественный порядок вещей – словом, отрицали сам налет и странные бездны, распахнутые им в разумной и спокойной вселенной их виллы.

Вместо того чтобы выполнить запланированное, мсье Грандье вдруг отпрянул от жены и вышел из комнаты.

Было начало первого. Мсье Грандье решил дождаться двух часов утра, после чего вызвать полицию. Если мадам Грандье будет еще жива, он освободит ее и позаботится о ней, а если умрет, значит, так суждено.

Грандье обошел всю виллу комната за комнатой. Кражи были совершенно бессмысленными. Он обнаружил следы вандализма: сломанные предметы, моча, дерьмо. Наконец на кухне – эта странная маска от детского маскарадного костюма. Это повергло в шок. Мсье Грандье внезапно вспомнил массу мелочей, замеченных во время нападения: странности и отклонения от нормы в голосе, шагах, силуэтах, а затем, когда ему завязали глаза и обмотали проволокой, и в звуках. В ту минуту он подумал, что грабителям помогали дети: возможно, это была семья цыган. На западном побережье у них несколько таборов.

Бессмысленность налета, всякие пакости (вплоть до размеров экскрементов и следов мочи), маска – все это указывало на подлинную личность грабителей: банда шкетов без царя в голове.

Грандье вспомнил об их существовании. Он читал о такого рода происшествиях в общефранцузских ежедневных газетах. Зараза могла дока-

титься и до их острова. Мсье Грандье крепко над этим задумался и снова обошел всю виллу; его подозрения превратились в уверенность. Горстка ребятишек, возможно, с полдюжины. Да. Карлики с фальшивыми голосами, которые напали на чету Грандье и одолели ее, точно орда переодетых мартышек, на самом деле были малолетками. Полиция неизбежно придет к тому же выводу, если Грандье все расскажет.

Вот только эта правда совершенно его не устраивала. Особенно потому, что мадам Грандье подверглась гнусному нападению. Кем бы ни были те мерзавцы, что ограбили виллу, мсье Грандье противно навешивать на них убийство. Он решил облагородить налет, придать ему более серьезный, взрослый вид. Убийцами станут совершеннолетние. Благодаря этому смерть мадам Грандье станет лишь правдоподобнее и банальнее.

«Только бы эти дурики не оставили отпечатков», – подумал Грандье. У него осталось смутное зрительно-осязательное воспоминание, которое он проанализировал. Да, те, кто держал фонарики, и те, кто его связывал, были в теплых хозяйственных перчатках из розовой резины, с пупырышками на подушечках пальцев. Такие легкие, шустрые, злые и мягкие руки. Дурашливые кошачьи лапки.

Ему тоже, кстати, надо было надеть перчатки. Теперь он грабил себя сам: нужна осторожность.

Сходить посмотреть на жену. Ему стало интересно, туго ли затянут кляп: если нет, то это пари, эта орлянка заранее обречена. Мсье Грандье решил не затягивать туже, не подгонять судьбу. Он вернулся в комнату на первом этаже.

Мадам Грандье так и не пришла в себя: хоть это-

то хорошо. Она хрипела. Открытые участки лица налились кровью. На долю секунды Юго Грандье представил, как переворачивает жену вниз головой, стремясь ускорить события. Но разве это был бы не мухлеж с собственным решением?

Он обозвал себя иезуитом и дал себе время до трех утра. К тому же он обнаружил, что шкеты не только оборвали телефонный провод, но еще и унесли с собой трубку. Олигофрены. Однако это был отличный повод пойти и поплакаться к соседу.

Мсье Грандье еще раз осмотрел всю виллу, устраняя следы, казавшиеся ребяческими (так, он подобрал дерьмо, расширил лужи мочи, вытер предметы, ручки, выключатели), а потом ограбил самого себя – по всем правилам, лишь искусно огрубляя то, что было совершено. Он даже пожертвовал красивыми вещами, книгами, посудой. Больше всего смущали драгоценности мадам Грандье, ведь их стоимость достигала кругленькой цифры. Он решил, что злоумышленники должны украсть те, что жена оставила на трельяже: он в точности их опишет, как наблюдательный военный. Остальные драгоценности будут спрятаны в сейфе, который налетчики не сумеют открыть. Неотесанные вандалы, дилетанты. Грандье в самом деле убрал «украденные» драгоценности, как, впрочем, и всю намеченную добычу. Ведь нас всегда подводят полумеры, жлобство, мелочность, и у нас получается убедительнее всего врать, когда мы опираемся на реальные факты.

Разграбление собственного дома привело мсье Грандье в уныние. Выходит, все эти прекрасные вещи поглотит морская пучина? Грандье подсчитал, что смерть жены обойдется ему в семьдесят

тысяч франков. Разорительное правдоподобие. Почти все «украденные» предметы, конечно, принадлежали мадам Грандье, но тем меньше будет размер наследства.

И зачем только эти идиоты забрали у него старый резиновый кисет?

Он собрал добычу в вещмешок, доложил туда нелепую маску и вышел, чтобы тайком сбросить все в воду, но не где попало: он хорошо знал свой берег, а в мешке было многовато непортящихся предметов. Поэтому нужно было достать его через пару дней, чтобы раз и навсегда уничтожить содержимое. Теперь ему не давали покоя истории с человеческими зубами, которые обнаруживают двадцать лет спустя, перекапывая землю в саду: практически его случай – только у него все закончится хорошо. Он задумался над тем, как уничтожить серебряные приборы.

По возвращении Грандье проверил инсценировку налета. Он смог взглянуть на нее свежим взглядом. Все было идеально. Подлинным, ловко подчеркнутым уликам он великолепно сумел придать характер значительной, топорной работы. Благодаря следам, оставленным мелкими говнюками, все вместе приобретало вульгарность, которую невозможно подделать, – особенно, если ты капитан жандармерии в отставке.

Мадам Грандье умерла только в двадцать минут четвертого. Мсье Грандье удивился тому, что не испытывал ни сострадания, ни отвращения к умирающей. Потому ли, что лицо мадам Грандье снизу закрывал кляп, а сверху – большая столовая салфетка? Но для Юго Грандье в старухе не осталось ничего человеческого и даже животного. Ее агония была таким же событием материального

мира, как например, обвал горного карниза, медленное падение телеграфного столба или вытекание грязной воды из ванны. Мсье Грандье был уверен, что угрызения совести ему не грозят. Никаких кошмаров: как можно отождествлять себя с этим? Выходит, мадам Грандье и не умирала, раз уж не было очевидца, считавшего ее живой.

Все эти действия не принесли капитану Грандье никаких неприятностей. Газеты надлежащим образом засвидетельствовали, что бедная старушка и т.д. Полиция – дорогие собратья, коллеги, товарищи – не нашли, да и не искали ничего подозрительного; они испепелили (взглядом) младшего офицера, которому померещилось, будто налет отдавал детской соской, младенчеством. Грандье уважали; его жена была в почтенном возрасте; ее смерти ожидали по определению; она умерла вот от этого, ну и хорошо, хорошо. Никакой загадки. В возрасте умирания умирают от простого бздеха. Ах, эти чертовы урки.

Но сейчас мсье Грандье перестал понимать собственный поступок, о котором рассуждал сам с собой с утра до вечера и даже во сне. Конечно, он знал, чем приятна и удобна смерть жены, к тому же он скоро последует за ней… Считаешь себя здоровым как бык, тебе всего шестьдесят девять, ты стройный, с пышной шевелюрой, как огурчик, хер стоит, яйца на месте, пьешь как лошадь, и тут вдруг – бац! А еще хуже умирать молодым. Да нет, загвоздка не в этом, думал он. Подлинный вопрос в другом: что толку убивать того, кто и так на ладан дышит?

Ведь старуха Грандье никак его не стесняла. Она подарила себе прекрасного зрелого мужчину – для разговоров, ради престижа, чтобы сосать

ему член и чтобы ее иногда трахали. Она обожала раком. Конечно, Грандье предпочитал рыбалку и питал слабость к маленьким девочкам, точнее, к их штучкам. Но честь. В глубине души он сейчас скорбел. Скучал. Собственные привычки казались ему вздорными: больше не было той, перед кем можно покрасоваться и ради кого следовало держать себя в узде.

Этот прилив нежности прогонял всякую тоску. Да не убивал он жену свою! Она бы все равно не выжила. А эта мелкая шпана. Что называется – убить ни за грош! Поменять служанку. И взять себе ту, что. Но вдовство. Возможно, поездка в. А если привести негритяночку из Южной Африки, одиннадцати-четырнадцати лет. То же самое, что и бой, только для жандармов. Да-да. Одну… э. Он замечтался и представил, как отправляется в круиз.

Алену Вио больше всего нравится сквер Леона Блума. Во-первых, сторож – откровенный маразматик. Даже если украсть у него деревянную ногу, он будет кричать: «Хватит топтаться мне по ногам!» Это очень-очень старый фронтовик. Он носа не кажет из своей зеленой сторожки, словно раз и навсегда понял, что под этим укрытием сторожится лучше всего: доказательством служит вход в казармы, на атомную электростанцию или в министерство. Но у сторожки в сквере Блума нет никакого стратегического значения. Летом из нее видно торговку мороженым, а зимой – торговца каштанами. В остальное время нужно вглядываться гораздо дальше, чтобы хоть что-то увидеть, особенно если ты глуховат: у тугоухих оторопелый взгляд близоруких, неспособных читать. Сторож со сквера Блума никому не мешает, и к нему очень

хорошо относятся. Кто еще способен добиться этого столь чудесного и даже непроизвольного равновесия – не быть ни брюзгой, ни милашкой? Сторож со сквера Блума составляет единое целое с временами года, аллеями и стульями. Он никто. Нельзя допустить, что он сторожит сад, так же, как нельзя допустить, будто стул возражает против того, чтобы на нем сидели, аллея – против того, чтобы по ней бегали, а время года – против того, чтобы его как-то называли и любили.

С другой стороны, Ален Вио наведывается в сквер Блума, поскольку там проходит много людей и много всего происходит. В частности, туристы осматривают «Пр клятого китобоя» – реваншистскую статую, которую мэрия когда-то заказала в Париже, где в ту пору была мода на Вагнера. «Китобой» изображает бородатого гарпунщика, некого Ника Лэнда с голыми икрами, но подлинное чудо – рука, приставленная к бровям под таким углом, что непонятно, прикрывает ли он глаза или, наоборот, высматривает добычу. Вот поэтому парижская однодневка и смогла стать немеркнущим провинциальным шедевром. Есть над чем задуматься!

Туристы все больше посмеиваются. Знаем мы этих богачей: они всякий раз мерзко высмеивают то, что вы любите. Им плевать на вас, если вы не любите то, что любят богатые. Вио вдоволь нашпионил за этими туристами. Они корчат всякие гримасы, пытаясь доказать свое превосходство, но на самом деле их гнусные глазки без конца бегают и следят за малейшими передвижениями. Богач пугается, едва пошевелится листочек на дереве, и потом он такой Ах ээ прелестный ветерок или какая это порода ээ это же разве это не та!

Их невозможно ограбить: их глазки, похожие на дырочку в залупе, не щадят ничего и никого, как будто высасывая свою долю из всего, что живет, проходит мимо или находится поблизости – а находится, конечно же, исключительно ради них.

Тем не менее Алену Вио интересны туристы. Он не пошел бы смотреть на них туда, где они останавливаются (в бывших бедных, а ныне дорогих кварталах), и он знает, что их нога никогда не ступит в те безликие места, где обитает он сам. Но есть промежуточные районы, где живут местные (поэтому Вио ходит туда как к себе домой), но достаточно своеобразные (поэтому их посещают приезжие). Сосновый пляж. Фестиваль гончарных изделий, раскрашенных ракушек и парасолей. Пешеходная улица с дубами, на которых можно качаться, и такими дорогущими магазинами, что там ничего не купишь, под такой охраной, что ничего не украдешь. Там прогуливаются парами прекрасные люди, которые занимаются лишь тем, что показывают руками или взглядом какими прекрасными находят друг друга и насколько они выше всего этого вздора – товаров. Даже непонятно, зачем они приходят вместе, в одно и то же время – демонстрируя деланную улыбку и стеклянный взгляд либо томный взгляд и вялую улыбку – на единственную торговую улицу города, ведь они выше всего этого и страстно увлечены лишь любовью друг к другу.

Сам-то Вио прекрасно все понимает. Быть равнодушным к роскоши – это так роскошно, но где еще можно это показать, как не в двухстах метрах от разорительно дорогих магазинов? То, что выставлено в витринах, похоже на тех, кто находится снаружи: уже не разберешь, что здесь на самом

деле товар и кто покупатель. Всё на виду. Нужно стать невидимым, как Вио, чтобы понять, каковы роль и смысл существования этой популярной изысканной старой улицы. Однако Вио невдомек, что интеллигенция с обоих берегов обожает его остров и приезжает прямиком из Парижа, Бордо, Лиона или Марселя специально для того, чтобы выставить напоказ свой загорелый пупок, свое безразличие и свою самодовольную пошлость именно на этой улочке, недоступной для стольких миллионов людей. Иначе бы он догадался, отваживаясь пойти туда, слегка косящий на один глаз, со своей смешной, упрямой и нахальной головой, в своей убогой одежонке, что вовсе не обрисовывает его фигуру, а, наоборот, напоминает груду мешков, котомок, чехлов, штор, корпии и кожухов, под которой, резвый и бодрый, он бродит повсюду, – иначе бы он хоть раз предположил, что за ним тоже можно наблюдать, ведь именно этот нелепый и туповатый местный житель придает роскошной улице завершающий штрих. Все эти сотни кривляк и жеманниц проматывают свои состояния и гримируются под беспечных манекенов с гигантских витрин дешевых универмагов и магазинов стандартных цен лишь для того, чтобы какой-нибудь Вио полюбовался ими, похвалил их и почувствовал, что в сущности они его ближние – человеки, человеки, дорогой, по сути дела все они принадлежат к Роду людскому, хотя Человек и вымер.

За этим-то Вио сюда и приходит – посмотреть на манекенов, марионеток. Они блестят и двигаются, точь-в-точь как на Рождество. Жить на туристическом острове – большое везение: можно наблюдать за этим круглый год. Поражают их лица.

Но сквер Блума все-таки лучше. Там есть песок, который самому Вио, живущему в двухстах-трехстах метрах от галечного берега, залитого отработанным маслом и сточными водами, кажется золотым. В этой драгоценной ямке, зажатой со всех сторон досками, четверым ребятишкам будет тесно. А если пройти через весь город, то за ним простирается бескрайний ковролин платных пляжей на фешенебельном побережье. Их песок не такой мокрый и зернистый, как в сквере Блума, а совсем сухой, легкий и скользит, словно вода, между пальцами ног, он пахнет солнцезащитным кремом и жареным арахисом. Досадно только, что в этом раю нечем заняться. Нужны мячи, дети, родители – все такое. К тому же у Вио нет ни малейшей охоты жариться на солнце. Когда он видит на этих пляжах детей туристов, послушно лежащих на очень красивых полотенцах, с темными очками на носу и в цветастых плавках, прикрывающих пипиську, загорающих на солнце и без конца морщащих лоб, пока им мажут арникой ранку, Вио хочется укусить их за пальцы, чтобы удостовериться, что они живые и шевелятся.

Но, разумеется, он не трогает этих роскошных детей, обреченных на процедуры по уходу за кожей на пляжах для толстосумов.

Фестиваль гончарных изделий, раскрашенных ракушек и парасолей – совсем не то, что Сосновый пляж и пешеходная улица. Школьники могут там выставлять свои поделки, изготовленные под присмотром преподавателей. Это очень интересно. Ален Вио обожает пластилин. Он лепит все подряд, любые настоящие вещи, которые его просят слепить, а потом все разрушает. Со школой он смирился: у Вио нет родителей, он трудный ребе-

нок. Нужно его любить, типа, ээ… ээ… пф.

Как бы то ни было, он очень любит приходить и смотреть (благо это бесплатно) на пока еще целехонькие поделки. Он считает их очень красивыми и говорит об этом. Учительницы спрашивают ну что ну что?.. Вио ухмыляется. Это его раззадоривает. Ему нравится прогуливаться вдоль этажерок, проводя по ним рукой и словно катая игрушечную машинку. Вот все поп дало! Стало бы еще красивее. Он пожирает глазами ряды предметов, которые можно поломать (а что с ними еще делать?), с такой же страстью, с какой пялится на магазинные полки с товарами, которые можно украсть. На них, конечно, этого не написано, но Ален Вио и так все понимает.

Еще одно достоинство Фестиваля – пустота. Около полудня люди ненадолго уходят, поскольку окрестные рестораны еще не открылись, и возвращаются только в пять из-за солнца, которое еще уже ах да в общем, лучше в тенечке. И все. В больших залах, представляющих собой вереницу уродливых и сырых коридоров, где жалкие произведения местного искусства крошатся ночью и трескаются днем, царит какая-то съедобная тишина. Блаженная, густая, плотная, застывшая, как в музеях, и боязливая, как в церкви между службами. Такая тишина, словно перекрыли воду. Вио без ума от нее. Хочется спрятаться, чтобы остаться внутри. Но училки не дремлют. Те, что его знают, пытаются приучить к коллективу, а те, что не знают, особо не церемонятся и сразу же прогоняют. Когда нет наплыва посетителей, мало кто следит за этим изобилием скромных творений, куда все, от мала до велика, мужчины и женщины, от мастера-гончара до трогательного младенца вложи-

ли всю свою душеньку. Всю-всю свою душу. Так что уходи отсюда ну или тогда стой у меня перед глазами Вио хватит ломать комедию дружок уважай труд других если ты сам не. Ведь ты же в коллективе находишься.

Очень трудно скрыться от женщин и девушек-альтруисток, исполненных уважения к Фестивалю горшков. Это вдвойне досадно для Вио, тонко чувствующего единственную красоту, что царит в этих коридорах: красоту отсутствия, пустоты, пробела. Его никогда не перевоспитают. А ему это и не нужно.

Поэтому лучшее из привилегированных мест – это сквер Леона Блума. Единственное неудобство – там немного опасно. В общем, порой бывает забавно.

Ален Вио давно уже с этим не сталкивался. Наверное, просто совпадение. Так, например, в прошлом месяце с Вио приключилась одна история. Он сидел на решетчатой скамейке и развязывал узелки на ворсистой мокрой бечевке, подобранной с земли. На скамейке напротив дядька читал книгу.

Вскоре Вио развязал все узелки и встал, чтобы заняться чем-то другим. Тогда дядька тоже встал и показал мальчугану член.

Ален Вио уставился своим косым глазом на этот прибор и внимательно, недоверчиво его рассмотрел. Потом презрительно ухмыльнулся и достал свой. Да ну нет! После чего он ушел, застегиваясь и выкрикивая на ходу:

– Эй, сходи приоденься в «Голыш»! Ну и ну…

Перепуганный дядька убежал в другую сторону.

В туалете Вио терпеливо дожидается самых ма-

леньких. Увидев, что один в коротких штанишках пришел пописать, он незаметно подкрадывается, приготовившись к нападению, и резко засовывает ему палец сквозь штаны прямо в задницу. Малыш отходит, плачет. Вио нюхает палец и пожимает плечами:

– Воняет какашками, – замечает он. – Очень сильно воняет какашками. Вернее, говном.

Он равнодушно уходит, держа палец у себя под носом. Иногда малыш не возражает, а считает это даже прикольным, решает, что с ним хотят поиграть. Вио говорит то же самое, не улыбается, нюхает и уходит. Он уверен, что из заднего прохода у людей дурно пахнет, но только в сквере Блума можно проверить эту важную истину. Раньше, стоя на четвереньках в песке или еще в детском саду, Вио вставлял палец всякому, кто случайно становился в соответствующую позу. Задний проход у девочек в целом был доступнее: они хотя бы носили платьица. Он засовывал прямой, как карандаш, палец и резко скреб ногтем. Другие малыши считали его плохим. Он доводил их до слез. Косоглазому мальчику не доверяли, на него ябедничали, его наказывали, а он нюхал свой палец, равнодушный ко всему на свете.

Теперь, если жертвы жалуются маме или сторожу, Вио уходит из сквера и тут же обо всем забывает. Он не придает никакого значения своей скромной мании и даже не догадывается, что страдает навязчивой идеей. Тем не менее мысли о сквере Блума, пальцах в заднице и особом запахе, извлекаемом оттуда, тесно связаны у него в сознании и временами преследуют еще настойчивее, чем желание воровать. Ален Вио – одиночка: он хорошо изучил самого себя, поскольку всегда поступает

так, как хочется. Вероятно, таким он и останется навсегда, ведь он уже знает все, что нужно.

Мадам Тереза Амбрез приподняла руку и возразила:

– Да ну я без понятия где твой отец доченька! Или ты думаешь он со мной откровенничает? Он совсем не изменился! И так будет до самой его смерти. Точнее, до моей.

Врачиха Амбрез приняла вежливо-возмущенный вид. Она улучила свободную минутку, чтобы выполнить семейную повинность: сообщить, что в День матерей она будет занята и вручить подарок заранее. Ее отношения с мадам Амбрез были максимально нейтральными – максимально никакими. Малейшее слово, жест, не выражавший эту абсолютную незначительность, шокировал бы своей неприличностью обеих женщин. Подарок в точности соответствовал этому договору о взаимной пошлости. Каждый год Полина Амбрез приносила матери медный предмет на День матерей, оловянный – на день рождения, керамический – на День св. Терезы, каштаны на Рождество и цветы на Новый год: при этом почти всегда с небольшим опережением или опозданием. Отговоркой служила работа – прием простонародья в больнице. На самом деле, если бы Полина Амбрез педантично избегала приходить в праздничные дни, сама эта пунктуальность уже была бы перебором. Да и что, в сущности, праздновать, кого чествовать? Разумеется, нечего и некого. Ровным счетом. Никаких поводов, никаких событий, никаких людей.

– Не волнуйся, он не обидится, что ты не пришла. Ты и так очень добра, что побеспокоилась нас предупредить. Я бы поняла, если бы ты просто

позвонила, ты же знаешь. К тому же для меня все эти так называемые праздники…

Мадам Амбрез говорила все это не для того, чтобы обидеть дочь или намекнуть, что думает обратное: подобные тонкости на уровне консьержки были ей чужды. Она просто старалась, согласно неписаному протоколу, вычеркнуть из памяти посещение дочери, врученный подарок и ее будущее отсутствие. Показать, что придаешь им значение, было бы не менее ужасно, чем инцест, и все время визита уделялось череде ритуалов, каждый из которых означал: не соприкасаться, не общаться друг с другом.

Таилась ли за этими предосторожностями подспудная холодность или ненависть? Врачиха Амбрез не любила над этим размышлять. Напрасный (и тоже отчасти нечистоплотный) труд. Почему бы не воскресить семейные воспоминания, если они, конечно, имеются? Казалось непристойным полагать, будто мадам Тереза Амбрез и ее дочь когда-то были другого возраста, в другом положении и вели себя не так, как сегодня в этой банальной гостиной, где они изрекали пустые фразы, сопровождаемые пустыми жестами и пустыми взглядами, словно почтительно обрисовывая ту великую сероватую пустоту, что разделяла и в то же время наполняла их обеих.

Полина Амбрез сама не отличалась чувством юмора, но ценила его в других. Она принадлежала к тем людям, что в точности копируют живость и ум своего окружения или своей компании в конкретный момент и которые с неутомимой точностью отражают черты характера и даже душевное состояние. Она позволяла себя поочередно наполнять и опорожнять, покончила бы с собой,

находясь рядом с самоубийцей, и стала бы сильной личностью рядом с гением, ну а здесь, подле матери, она тоже становилась пресной, косной и разбитой.

– Вот, купила электрический противень, – сказала она.

– И правильно сделала, – сказала мадам Амбрез. – Не помню, как у тебя на кухне, но у меня…

Нет, неубедительно. Возможно, совсем чуточку задета?

– Э, восемьсот или девятьсот франков, – сказала врачиха Амбрез.

– Не может быть, мадам д'Алост выложила за свой семьсот пятьдесят: по крайней мере, так она мне сказала.

– Бывают по разной цене.

– Конечно. Но семьсот пятьдесят – это уже не самая низкая цена. Не говоря уж о девятисот, – сказала мать Тереза Амбрез.

– Да, есть и подешевле, – сказала Полина Амбрез.

– Они просто меньше, вот что. У мадам д'Алост там вполне помещается цыпленок, и, думаю, довольно крупный.

– Наверно, противень достаточно большой.

– Да ну, он помещается даже в самых маленьких. Иначе какой от них прок?

Полина Амбрез слабо улыбнулась. Разговор застопорился. Он показался ей чуть более натянутым, чем обычно. Мадам Амбрез что-то скрывала, утаивала. Секрет? Немыслимо. Скорее, недовольство. Мсье Амбрезом?..

– Ты ведь взяла на два напряжения? – спросила мадам Амбрез: она не любила затянувшихся пауз. Протокол ничтожности непременно предполагал

некоторое количество слов, фраз, условных интонаций.

– Да-да, мало ли что. Прибор рассчитан на два вольтажа, – ответила дочь. – Если придется переезжать…

– Ну нет, мадам д'Алост взяла только на двести двадцать. Думаешь, ей больше не грозит переезд? Этим и объясняется разница в цене.

– Да, в этом-то все и дело. Возможно, они практически одинаковые.

– Да, то бишь модель поменьше, но того же уровня, – почти с теплотой сказала мадам Амбрез. – Заметь, для нее одной… Ведь она никогда не принимает гостей. Ну или тогда она приготовит что-нибудь другое, если кто-то вдруг ненароком зайдет.

– Да. Она не обязана…

– Нет, к тому же представляешь, она мне призналась, что у нее цыплят на четыре раза. Четыре порции. Тогда она все равно может, если придут гости… но это и впрямь исключение. Да, они могут есть вчетвером. Тут не поспоришь!

Мадам д'Алост была пожилой соседкой, которую врачиха Амбрез никогда не видела и с которой мать порой обменивалась журналами. Тем не менее, они не ходили друг к другу в гости – по крайней мере, пить или есть.

– А как же духовка? – спросила Полина Амбрез, отчасти довольная тем, что благодаря этому противню удалось поднять тему, на которую можно произнести множество фраз, не опасаясь, что хоть одна из них окажется осмысленной.

– Естественно, – сказала мать. – Теоретически она может поставить своего цыпленка в духовку, если ей нужно два.

– Один на вертеле, другой в духовке. Тоже вкусно. Должны приготовиться практически одновременно.

– Вот именно, ну да – разумеется. Но в ее возрасте. В основном из-за этого. Противень она ставит перед собой и…

– Да, и уход, – сказала Полина Амбрез. – Духовка…

– Об этом не стоит забывать. Она у себя все делает сама. Это не вдохновляет на. Ну и духовка газовая. Признаюсь, я тоже иногда… когда надо включить.

Мадам Амбрез сочувственно усмехнулась: она мило подтрунивала над своей боязнью взорваться.

– Нет, риск очень… в общем, – сказала Полина Амбрез.

– Ну нет, я не думаю, что все взорвется, но… Ну нет, я прошу твоего отца. К тому же мало ли что.

На сей раз сочувственно усмехнулась уже врачиха Амбрез, и мать понимающе ее поддержала. Слова мадам Амбрез прозвучали так комично! Нет, разумеется, она не хотела сказать, что пусть уж лучше муж станет жертвой возможного взрыва! Никакого риска нет. Это… суеверие, фобия, которую он просто помогал ей побороть. Впрочем, если плита взорвется, то вместе с ней взорвется весь дом. Тогда нет почти никакой разницы – склоняешься ты над духовкой или стоишь в сторонке. Нет, просто фобия.

– Причем это у меня с самого раннего детства! – призналась мадам Амбрез.

Она уже разменяла седьмой десяток и теперь часто вспоминала раннее детство – первые три-четыре года, не позже. Это были исключительно

безликие, несущественные воспоминания. Она отыскивала в памяти цветок, часы с маятником, привычку, стандартный образ своего времени, неизвестный обычай, о котором ей рассказывали, – ничуть не оригинальнее, чем, например, обыкновение пить холодные напитки летом или раскрывать зонтик под дождем.

– Не знаю, что могло произойти с духовками за это время, – продолжала она. – Мне говорили – возможно, страхи – в общем, дело в том, что с тех пор… Как бы то ни было…

– Ребятишки иногда… И что у них в голове, в общем, просто так вообще-то, в конце концов, – согласилась врачиха Амбрез.

– Да, само собой, что-то в этом духе, я так считаю, потому как что еще могло бы быть? – сказала мадам Амбрез. Она предложила чай, кофе, алкоголь, фруктовый сок – дочь мягко отказалась. Это тоже был их обычай. Полина Амбрез подытожила:

– Нет, правда, я не хочу пить, спасибо.

– Знаю твои принципы, ну нет, я тебя не заставляю, – ответила мадам Амбрез. Молодая женщина-медик, как и полагается, придерживалась строгих принципов касательно всего, что поступает в организм. Начиная, разумеется, с пищи, лекарств, напитков, табака и т.д. Мадам Амбрез не была столь же дисциплинированной: к примеру, чашка горячего молока или даже куриного бульона около пяти вечера при ее-то подагре… Сверлящая боль порой пронизывала вот здесь, и вдобавок эти психосоматические болезни, которые в наши дни подхватывают все подряд, даже в самом благоприятном климате. После того как мадам Амбрез отдала дань вежливости медицине, ее дочери пора было уходить. Мадам Амбрез ввернула

фразу «призвание врача»: это напоминало завуалированный намек на упорное нежелание дочери выходить замуж и было единственным неопределенно личным замечанием в разговоре. Врачиха Амбрез промолчала. Она попрощалась. Послышался звук мотора. «Еще двадцать-тридцать лет, и я стану такой же, – подумала Полина Амбрез. – Но я вырублю себя раньше».

VI

Мадам Сеньеле осмотрела зал ресторана сквозь витрину, занавешенную большими шторами:

– Нет, ну ты видел эти цветы на столах? Нет, ну какой перевод добра! Это ж деньги на ветер. Ведь они ж не ставят их просто так! Даже не думай! Потом включат в счет! Никаких убытков, будь спокоен! Они-то ничего не теряют!..

Мсье Сеньеле и дети стояли немного позади – возможно, из страха, что за ними наблюдают посетители ресторана, – и ждали вердикта Реймонды Сеньеле, которую они поздравляли сегодня вместе со всеми мамами.

Она откинула голову. Ей было не по себе. Она чувствовала себя неловко в уродливом весеннем пальто и нетвердо стояла на высоких каблуках, из-за которых шла вперевалку, точно маленькая девочка, примеряющая женскую обувь. Обычно она носила низкие туфли на шнурках, а дома – тапочки с пятками. Но сейчас приходилось держаться с достоинством: она выпрямлялась, задирала подбородок и чувствовала, что ее мимика – гримаса, терпеливо отработанная для того, чтобы управлять концлагерным бараком, – получалась блеклой, сухой, сварливой, пустой и пошлой по сравнению с безмятежным великолепием ресторана.

Она прижала сумочку обеими пятернями к животу, набрала воздуха в легкие и в отвращении оскалилась:

– Нет, все эти цацки, все эти финтифлюшки… Они перед тобой выпендриваются, а в конце концов жратва там оказывается хуже некуда. Ты хоть

цены видел?..

Робер Сеньеле уже начинал смущаться и слегка раздражаться. Это он пригласил жену и детей в ресторан на День матери – в этот теплый, легкий и свежий воскресный день, какие бывают здесь в июне. Зарезервировали столик на шестерых. Он галантно настаивал и даже взял под руку элегантную мадам Сеньеле с перманентом на голове.

Но та резко вырвалась с разъяренным видом, как будто ее хотел задержать легавый. Она вполголоса завизжала запинающимся, вызывающим том:

– Ну нет! Ну нет! Ах, оставь меня, пожалуйста! Я не войду! Ну нет, только не сюда!.. Идите, если хотите! А я туда не пойду!.. Эти финтифлюшки фигли-мигли вся эта комедия!.. Ну иди же, Робер! Бери детей! Идите – вы! Идите! Я вернусь домой! Такси тут есть? Есть такси? Вы мне не нужны! Идите, раз вам это нравится! Я вам не мешаю! Могу вернуться одна! Меня не убудет! Робер, бери детей и заходи!..

Семейка Сеньеле сконфуженно топталась на месте. Филипп, которого укачало еще в машине (где Бертран посадил его к себе на колени), весь позеленел и прерывисто дышал. Утренний кофе с молоком спустя три часа поднялся из желудка – непереваренный, но кислый, с привкусом желчи и рвоты. Филипп также почувствовал урчание и плавное колотье внизу живота. Он боялся что-либо сказать. Но если они быстро-быстро зайдут в ресторан… Там он тут же попросится, и мадам Сеньеле не раскричится перед людьми или ради Дня матери.

Заведение называлось «Золотой единорог, ресторан Тонгра, Бавё и сыновей». Эти господа до-

рожили благородным стилем, «средневековым, барским, королевским, императорским и мировым кухмистерством». К ресторану примыкал «Адмиральский гриль-рум», основанный в 1805-м – в год Трафальгарской битвы, как пояснял заголовок вверху меню. «Золотой единорог» был очень известен, сюда приезжали издалека, чтобы поесть очень вкусных, очень дорогих и очень изысканных блюд, которые талантливо готовила команда гг. Бавё с сыновьями. Там же устраивал банкеты местный ротари-клуб. Но в этот праздничный день все столы были зарезервированы семьями – не обязательно самыми обеспеченными, даже напротив. Так что сегодня шикарные посетители не могли оскорбить чувства мадам Сеньеле.

– Ну идите же, говорю вам!.. А я пойду!

Филипп, на грани отчаянья, признался в своих мучениях Жану-Батисту, который посмотрел ошарашенно, с состраданием и передал новость Доминику. Тот шепнул на ухо Бертрану, который быстро взглянул в лицо малышу, словно пытаясь оценить неминуемость катастрофы. Затем он окинул взглядом окрестности и ужаснулся: ни кафе, куда можно запросто зайти, ни закоулка, ни улочки, ни стройки, где Филипп мог бы снять штаны незаметно для прохожих и своей матери.

Наконец Бертран рискнул здоровьем и, побеспокоив мсье Сеньеле, поставил его в известность.

Робер Сеньеле посмотрел на мальчугана, измученно выдохнул и окинул взглядом горизонт, точь-в-точь как до этого сделал Бертран. Никакой надежды. Придется зайти в «Золотой единорог». Но как примирить желания матери и потребности ребенка? Мсье Сеньеле ощутил себя сидящим на муле, у которого передние и задние ноги пыта-

лись разойтись в разные стороны: поскорее удержать одни за уздечку, а другие – за хвост. И сохранить при этом спокойствие.

Он отправил четверых детей в ресторан первыми: оставшись снаружи с мадам Сеньеле, он надеялся, что сможет ее урезонить, а затем пойти вслед за ними. Мсье Сеньеле подумал, что слишком редко разговаривал с ней наедине. Но здесь так не принято. Похоже, обеды в городе со странной силой пробуждали в ней подозрительность супруги, матери и поварихи. Мсье Сеньеле знал, что в конце концов она согласится войти. Просто угрюмое домашнее божество требовало соблюсти долгий церемониал, чтобы ему воздали почести и подтвердили его превосходство: после того как метнет свои молнии, изрыгнет свои вопли, спляшет сакральную чечетку на кафеле и разорвет на части своих жертв, оно надменно соизволит посетить сей храм богини-соперницы – «Золотой единорог» гг. Бавё и сыновей.

Бертран, полномочный представитель главы семейства в холле указанного храма, испытал потрясение, не обнаружив ни одного указателя с надписью «Туалет». Придется спрашивать. В крайнем случае он бы отважился обратиться к юной даме за стойкой администратора, но было слишком поздно: она уже вызвала метрдотеля и передала ему всех четверых Сеньеле – празднично одетых, в белых рубашках, галстуках и великоватых, но очень хорошо начищенных туфлях. Тогда пунцовый Бертран хриплым голосом, подпорченным жалобной писклявостью, промямлил что-то о столе на шестерых и родителях на улице.

Тем временем Жан-Батист и Доминик не сводили глаз с малыша Филиппа, лицо которого ис-

казилось из-за жары в холле. Они находились в машинном отделении гибнущего корабля: с минуты на минуту у них на глазах взорвется двигатель, обнаружится пробоина и во все стороны забрызжет паровой котел. Чего же ждал Бертран?

Вдруг Жан-Батист заметил на щеках и лбу Филиппа новое изменение цвета – проблесковый сигнал, обычно означавший: «Внимание! Экстренное катапультирование!» Он резко схватил Филиппа и заорал:

– Где туалет? Скорей, ему плохо!

Метрдотель оценил степень опасности и чопорно, но учтиво показал дорогу к уборной. Нужно было пересечь огромный обеденный зал. Наконец Бертран овладел собой, вырвал Филиппа из рук Жана-Батиста и бегом потащил, так же, как мать, грозно рыча и гневно хмуря брови, повторяя ему на ухо:

– Филипп, не блюй! Филипп, не блюй!

После того как это стихийное бедствие прошмыгнуло в дверь в глубине зала, ничего по пути не опрокинув и не испачкав, успокоенный метрдотель склонился над двумя другими Сеньеле и презрительно пригласил этих господ занять свои места. Жан-Батист и Доминик очень сконфуженно переглянулись. Как в одиночку войти в пышный обеденный зал, ошеломляющий дорогими предметами и служителями культа при полном параде, опасный и унижающий всей этой кошмарной роскошью и этикетом? Но как сказать «нет» дядьке во фраке, если одна его рубаха и шкары стоят, наверное, дороже, чем все тяжеленное обмундирование четверых ребят? Страшный лакей с рожей учителя, отвешивающего подзатыльники, или служащего похоронного бюро, испепеляюще-

го взглядом присутствующих, чтобы никто не засмеялся при виде катафалка. Но даже если они послушаются и никто их не обидит и не укусит, пока они доберутся до стола, что они будут там делать? Что можно, а чего нельзя трогать? Да к как братья найдут их в этом хаосе столов, скатертей, сервантом, тележек, кресел? А что, если мадам Сеньеле в конце концов откажется заходить и придется уйти, после того как они уже сели? И что, если в конце концов мадам Сеньеле согласится войти и они вместе с мсье Сеньеле увидят, как мальчики, расположившись за столом без их разрешения, веселятся и грызут булочки – почему бы и нет, раз уж они здесь стоят? И что, если при входе родителей они почтительно встанут из-за стола и это покажется всем нелепым, и люди презрительно улыбнутся, тыча пальцем в потешное семейство? И что, если все устаканится, но Филиппу, как это порой случается, станет так плохо, что придется уйти, чтобы уложить его в постель?

– Я останусь здесь, – наконец буркнул Жан-Батист.

– Да, тогда мы лучше подождем их здесь, – сказал в свой черед Доминик. Работник похоронного бюро поклонился и исчез.

– Эта сволочь тут нарочно, чтобы нас доставать! – сказал Жан-Батист глухим голосом.

– Ш-ш-ш! – шикнул Доминик.

Вероятно, дама за стойкой администратора услышала.

– А вот и они! – почти тут же радостно воскликнул Доминик.

Это были родители Сеньеле. Их отсутствие привело детей в такое замешательство, что те были счастливы снова их увидеть. Мадам Сеньеле

успокоилась словно по волшебству. Что же такого сказал ей муж? Хотелось бы узнать рецепт.

Но в действительности никакого рецепта здесь не было. По окончании всей сцены у Реймонды Сеньеле засосало под ложечкой и появилось острое желание выпить вкусный коктейль, поэтому она наконец обуздала свои эмоции. К тому же она любила вести себя элегантно в элегантных, барских, королевских и так далее местах. Она парила бесконечно высоко над этими людишками, этими халдеями, сомелье, гастрономами, прожорами, работягами, детворой в галстуках, завязанных бантами, омарами «Индийская империя» и прочими «веселыми кроликами». Она видела все эти цацки и финтифлюшки насквозь. Уж ее-то не проведешь: если заливное из лангустов будет приготовлено из налима, она мигом раскусит. Что-то ей уже подсказывало, что оно будет из налима: возможно, неуловимо насмешливое заискивание метрдотеля или сногсшибательная роскошь столов и великолепие букетов. Да, когда пришлось оставить пальто из искусственного шелка в раздевалке, она поняла, что, если гг. Бавё и сыновья выкинули столько денег на цветы, они как минимум могли бы назвать «лангустом» свеженького налима, а не этого наполовину протухшего хека, сдобренного приправами и залитого промышленным желатином. В этот раз точно живот разболится.

Она представила, с каким видом будет читать меню, карточку и как развенчает одно за другим все блюда перед своим наивным мужем и недоразвитыми ребятишками, которые путали морской гребешок с расческой и считали, что телячью зобную железу готовят из телятины и железа. А эти невыносимые цветы! Даже немного пахнут.

Поставить пахнущие цветы на ресторанный стол! Она глухо заскрежетала зубами:

– Да нет же, Робер, говорю тебе, что они пахнут. Я же слышу. Слышу. Говорю тебе заставь их убрать или хотя бы отодвинь отсюда… Короче, говорю тебе, они пахнут! Эта порода пахнет! Это же… ладно, короче, нет, я же тебе говорю!.. Они хотя бы для начала не травили бы нас этой вонью, а как же это самое заурядное что можно придумать! Самое заурядное, что можно придумать!..

Метрдотель, раздававший карточки, подслушал ее замечание и хотел было схватить вазу:

– Вам мешают цветы, мадам?

– Нет-нет оставьте вот те на!.. Пфф.. Ничего страшного! – вежливо заохала мадам Сеньеле, как будто подразумевая, что давно уже привыкла к дурному обращению и издевательствам и перестала обращать внимание на подобные мелочи. Она заговорила своим «выходным» голосом.

Мсье Сеньеле, твердо решив быть галантным во что бы то ни стало, сказал метрдотелю:

– Моя жена находит, что их аромат, э… слишком сильный.

Мадам Сеньеле пнула его под столом, чтобы он заткнулся, но промазала, потому что он сидел справа и она не дотянулась до него пяткой. Нет, какой идиот. Разумеется, халдей торжествовал.

– Это хризантемы, у них нет никакого запаха, мадам, – учтиво сказал он, убирая вазу. Вместо нее поставили серебряный канделябр.

– Хризантемы в июне да он с ума сошел! – зашептала мадам Сеньеле. – Может, я и не знаю, какие хризантемы, но это барахло, этот хлам не имеет никакого отношения к хризантемам – никакого отношения! Во всяком случае это ложь есть такие

которые пахнут: есть такие. И эти как раз были из тех, что пахнут! Короче, нет, эти были из тех… Нечего сказать очень приятно когда за тобой вот так шпионят… Да этот парень с ума сошел! – крикнула она погромче, обвела взглядом весь зал, догадалась, что ее услышали, и продолжила шепотом, сверля взглядом ребенка:

– Короче Филипп ты оставишь эту булочку или нет? Значит пять минут назад тебя рвало а сейчас ты уже ешь булочку? Совсем с ума спятил!.. И ты думаешь что… (Она наигранно рассмеялась, как будто вскрикнула испуганная козочка.) Значит его ведут в ресторан не знаю сколько звезд а он жрет хлеб! С ума сошел!.. Кстати а ты покакал сейчас с Бертраном?.. Он покакал?.. Потому что не вздумай снова начать свою комедию во время еды я тебя предупреждаю! Это плохо кончится!

Филипп покачал головой. Мадам Сеньеле метнула в мальчонку еще пару молний, а потом рассудила, что хватит уже пучить глаза, и принялась за свой коктейль. Филиппа утыкали кинжалами, словно мишень в цирке. Пригвожденный к месту, он надолго присмирел.

Ему было хорошо. Для удобства обслуживания его, как самого младшего, усадили на самом плохом месте, в самом конце стола, спиной к проходящим официантам. От этого он пришел в восторг. В зале работал кондиционер, дышалось очень легко. Галстук-бабочка на резинке не сжимал шею. Совершенно пустой живот больше не болел – разве что от голода. Мягкие здешние манеры доставляли удовольствие: приглушенные голоса, сдержанные жесты, негримасничающие лица. Он был в безопасности. Наконец, прекрасная блестящая посуда, накрахмаленная скатерть, такая толстая

салфетка, что уж точно не повяжешь в одиночку на шее, кресло для бриджа, где он утонул и качал ногами, хорошо защищенный спинкой и подлокотниками – все это внушало бесконечную любовь и уверенность. Робкий и пугливый в любом другом месте, Филипп был единственным из Сеньеле, кто чувствовал себя непринужденно в этом шикарном ресторане. Он еще долго будет скучать по столь целебному и умиротворяющему заведению. Забавно было наблюдать, как все эти люди справа и слева с чавканьем поедали груды блюд, напоминавшие своим обрамлением крышки супниц или витрины магазина колбас на Рождество. Нет ничего прекраснее на свете! Дети за другими столами, погруженные в океаны белого столового белья, напоминали больных малышей в постели, прислоненных к необъятным подушкам и пьющих из чашки бульон, только здесь сквозь белизну проступали довольные мордашки и большие серебряные вилки.

К тому же Филипп сидел очень далеко от мадам Сеньеле. Его желудок, туловище, мозг, внезапно освобожденные от этого бремени, превратились в изумленных зверьков, с которых сняли ошейник и выпустили их на лужок: эти радостные, удивленные, простодушные зверьки, эта радость и даже лужок – все это стало теперь Филиппом, который неподвижно и молчаливо сидел на своем месте, тише воды, ниже травы, попав практически в рай.

Так оно почти что и было. В самом деле, Реймонда Сеньеле вначале велела ему сесть рядом с ней, чтобы следить за ним и не давать привередничать, пока ему снова не станет плохо. Но это оказалось неудобно, и Робер Сеньеле, уже понимая, чем закончится обед, если мадам Сеньеле

удовлетворит свою прихоть, возразил шутливым тоном и с супружеским мурлыканьем, что хочет наконец-то немного посидеть рядом с женой, а дети пусть выкручиваются сами.

– Легко сказать!.. – взвизгнула Сеньеле, как будто муж посмел намекнуть, что ребятишки в ней не нуждаются. Однако он исправил эту дипломатическую оплошность. Отведав шерри и киршвассера, разбавленных водой из сифона, мадам Сеньеле стала снисходительнее и в конце концов тоже решила побыть в этот полдень не матерью, а супругой. Разве не таков в сущности истинный смысл этого праздника? – разглагольствовал мсье Сеньеле. Затем, подбодренный аперитивом, он провел параллель: в День матерей нужно быть женщиной и только женщиной (да еще какой!), тогда как День труда является нерабочим днем.

Они засмеялись, а потом мадам Сеньеле, хоть и завоеванная, заговорила ворчливым тоном с многозначительным лицом, глядя по сторонам, качая головой и измученно, но карикатурно, то есть мило надув губы, и сказала:

– Да, но для меня праздник или не праздник все равно каждый день работа. Все это слова это очень красиво но отдуваюсь-то за всех я. Эх, говорить легко! Это легко! Слова! Вечно одни слова.

– Дорогая… – начал мсье Сеньеле, сложив губы бантиком, с любовной поволокой во взоре, и понес какую-то ахинею о святости женщины. Тогда Филиппу разрешили пересесть в конец стола: ведь братья смогут за ним присмотреть, раз на большее они не способны, то смогут хотя бы этим себя немного занять. Ну а он все же возьмет себя в руки и посидит хоть часок смирно и оставит братьев в покое, хорошо?

Лишь чуть позже, очумев от счастья, Филипп принялся блаженно жевать булочку, чем в очередной раз вывел из себя мадам Сеньеле. Но она потом его простила.

Утром все началось довольно хорошо. Мальчики гуськом вошли в кухню около девяти, чтобы вручить приготовленные подарки. Один Филипп ничего не дарил, потому что у него не было карманных денег: по традиции он ассоциировался со старшим братом, и мадам Сеньеле чмокала Филиппа за подарок последнего, хотя Филипп приходил с пустыми руками.

Дети подарили три растения в горшках: пандан, аукубу и кротон. Дети Сеньеле всегда дарили матери горшки, откладывая на них по несколько недель. Мальчики договаривались о покупке, боясь не угодить, увидеть желтое лицо и прикрытые от досады глаза, а не ту умиротворенную, равнодушную маску, которую надевала мадам Сеньеле, когда ее представление о приличиях надлежащим образом уважалось и воочию воплощалось.

Впрочем, эти порядочные, благоразумные горшки, совершенно безобразные, но рекомендованные цветоводами, полностью ее удовлетворили. Она дохнула всем четверым детям в лицо мерзким запахом кофе с молоком, влепила каждому поцелуй, который заслужили их щеки, и по местному обычаю позволила на время освободить себя от посуды и домашнего хозяйства. Ничем не занятая, она бродила в халате и стоптанных туфлях на босу ногу, делая вид, будто собирается приступить к тяжелой работе (неизвестно какой), раз уж появилось свободное время и раз уж сегодня выходной для всех, кроме нее – праздник или не праздник. Словом, все было чудесно, пока не сце-

ну не вышел мсье Сеньеле.

– У тебя что всего одно яйцо? – спросил Франсуа Буатар, щупая мешочек.

– Да нет же два! – возразил Камиль Гассе и посмотрел на себя. – Ты про то что не вышло?.. Ну да про это.

Камиль двумя пальцами надавил на выпуклость сбоку от паха, рядом с членом, на перламутровой белизне лобка. Яичко тут же опустилось в мошонку, рядом со своим братом-близнецом.

Тяжело дыша, Франсуа-Жерар попросил Камиля повторить. Малыш Гассе (которому было одиннадцать) с гордым видом заявил, что может засовывать и высовывать оба, когда ему вздумается, и наглядно это продемонстрировал. Он сжал яички в пальцах, точно вишневые косточки, мошонка опорожнилась, а на лобке вздулись два бугорка. Камиль надавил на них – мошонка снова наполнилась. Это было прикольно, хоть и слегка противно, особенно когда кожаный мешочек становился пустым.

Франсуа тоже попробовал затолкнуть их себе внутрь. Ничего не получилось – просто было больно. Как же этот Камиль их туда запихивает?

– У тебя там что дырка? Как у девчонок?..

– Не-а, у меня аж две дырки, – любезно пояснил малыш Гассе. – По одной на каждое!

– Камилла – девчачье имя! Ты не чувак, а девчонка! – сказал Франсуа.

– Нет, Камиль – мальчиковое имя. У меня ж не настоящие дырки – они наружу не открываются!

Он продолжил свой урок занимательной и поучительной анатомии. Даже засунул в паховый канал указательный палец, чтобы доказать свое утверждение.

Одним словом, два мальчика занимались своими делами в комнате Франсуа. В другой комнате Амели-Лиана читала, а в гостиной Лора Буатар готовилась к написанию статьи.

Обычно она этого не делала, но недавно редакция «Объединенного республиканца» сообщила ей о читательской критике. Лору это очень сильно задело, и она посчитала отзыв несправедливым.

История была дурацкая. Молодой местный композитор, сорокадевятилетний Лоис-Эймар Пион, преподаватель городской консерватории, представил в театре оперу собственного сочинения – это была первая и последняя проба во всем мире. Текст, музыка и постановка автора, также дирижировавшего оркестром. Произведение на два персонажа восприняли неоднозначно. Мало того, технические работники на региональном радио (к композитору прислушивались власти предержащие) заснули во время исполнения, которое они должны были записывать для последующей трансляции. Отсюда кое-какие странности на пленке, включая длинную паузу. Автор пришел в отчаяние, если только не сказать, что он был морально убит.

После упорных просьб Лора Буатар написала восторженную, ангажированную рецензию, чье историческое значение глубоко потрясло ее саму. Она считала себя пророчицей, которую будут цитировать сто лет спустя – единственной прозорливой слушательницей непонятого великого художника. Ей удалось заглянуть в будущее. Разумеется (признавала она в своей статье), это первая опера совсем молодого автора, но зачем же подвергать молодежь систематическому остракизму, зачем так упорно культивировать пропасть между поко-

лениями, зачем этот расизм? Следует понимать, что талант не ведает ни возраста, ни границ. Неужели мы забыли, что, к примеру, прославленный автор Увертюры к «Вильгельму Теллю» написал свою знаменитую «Поющую сороку» в двадцать пять лет – да-да, в двадцать пять![3]

Этот небольшой ляпсус с названием увертюры, ускользнувший от чересчур проворных пальцев и слишком быстрых мыслей Лоры Буатар, не остался незамеченным. Несколько читателей (из тех маньяков, что вечно подписываются «старый абонент» или «Ансельм Ледуайен, школьный учитель на пенсии, сорок восемь лет преподавания в начальной школе») позволили себе насмешки в фирменном стиле стариков, томящихся скукой и целыми днями оттачивающих фразы, которые они считают остроумными, ясными и удачными. Старые пердуны. Неужели они считают Буатариху такой необразованной и способной спутать марку конфет с названием оперы и т.д.? Разве нельзя хотя бы предположить, что она и т.д.? Неужели они не принимают во внимание того обстоятельства, что и т.д.? Нет, старые пердуны, с радостью ее подловив, воспользовались случаем, чтобы написать письмо в редакцию, и кончили себе в штаны, обоссались от простатита. Опять эти женоненавистники.

Хотя Лора Буатар пришла в ярость, она была, тем не менее, польщена. Вплоть до этого момента все вокруг убеждали, что никто ее не читает. Статья о Пионе доказала обратное. («…Новый этап… В сущности, это так… Меня читают. Читают. Я…

3 «Сорока-воровка» (1817) – опера Дж. Россини (1792–1868). «Поющая сорока» – французская кондитерская марка.

настоящая журналистка. Подлинная. Ни на кого не похожая. Больше никто в «Республиканце» не… Все безликие. Ничтожные. Взаимозаменяемые. Неудачники. Кроме Мориса и меня. Я. Он. Я это знаю. Сегодня. Старперы. Шаг. Презирать их. Жить. Уехать с. Этого острова. Иллюзия. Стать… всенародно известной. Мы. Судьба. Вот: об этом нужно знать. У нас. Есть. Судьба».)

Напрашивался вывод: теперь она будет тщательнее отделывать свои статьи (и еще меньше внимания уделять урокам). Она перестанет бояться высказывать свои идеи. Начнет тормошить эту обывательскую, болтливую публику. Эти провинциалы, эти чурбаны, хорошо разбирающиеся в кондитерских изделиях Россини (да, мсье, конфеты! именно! есть оговорки, в которых на самом деле больше правды, нежели…), однако глухие к современному гению. Неспособные понять Пионов, Глера. Неспособные отвлечься от своей школьной образованности и от своих старинных бзиков. Вчера вечером она наконец совершила нечто великое. Для себя. Для них. Для людей. Отныне – выступать и бороться открыто. Она в лепешку расшибется, но не кончит, черт возьми, училкой в Сен-Реми. Успех. Вот о чем речь. Вот оно.

Она мечтала о новом Сен-Жермен-де-Пре. Они с Глера станут его героями. Будут писать громкие статьи: она – более женственные, он – более мужественные. Они будут всех подстегивать и переделывать все на свете. Она очень четко представляла себе квартиру, в которой будет жить, с видом на… на… то кафе, там, где… Ей вдруг захотелось перечитать что-нибудь из Бовуар. Она мечтательно пролистала «Республиканца»: вот те на, День матери. Сегодня? Хорошо, что есть газеты. Это

так романтично! Она не обращает внимания на все эти глупости мелких людишек. Грамотность. Цветы. Мамы. Нет: перечитать Бовуар. Блевуар. Добиться успеха. Поскорей.

Франсуа-Жерар надумал рассказать Гассе о том, чем он якобы занимался с сестрой. Наивный Камиль поверил в этот треп. Он расспрашивал подробности: вопросы были такими странными, что Франсуа заметил в них простодушие, как раз подходящее для того плана, от которого шел зуд по всему телу. У Камиля Гассе были очень широкие, очень оттопыренные и очень красивые уши и короткие, подстриженные чуть ли не под ноль белобрысые волосы. Его отец, председатель Гассе, принимал у себя Мориса Глера. Мсье Гассе председательствовал, разумеется, на родительских собраниях: он страстно увлекался педагогикой. Возвышенные, смелые, авторитетные воззрения самого блестящего преподавателя острова были «очень важны» для Гассе (по его собственному признанию). Стремясь угодить почетному лицу – столь обаятельному фрондеру, которого можно было принять за холостяка, Глера бормотал сквозь зубы или, крякая по-утиному, сыпал эффектными импровизированными мыслями. Его особенно вдохновляло обучение девушек. Он цитировал Фурье, осмеливался упомянуть и маркиза де Сада: председатель Гассе был на седьмом небе. А как ваша старшая Амели-Лиан?

– Сюда! Я сую его сюда!.. Не, не туда. Сюда! Угу. Сюда!

Франсуа-Жерар ткнул пальцем в голое тело Камиля. Тот простосердечно все ему позволял. Напряженные, как кролики, они уже больше не выдерживали. Франсуа-Жерар описывал самыми

необычными бранными словами тело своей сестры и отношения, в которые они будто бы вступали. Малыш Гассе комментировал: «Хххх! Вот везуха – у тебя есть сестра!» и уже готов был лечь на живот. Франсуа непременно хотелось показать, что делают с сестрами. Чтобы не залетели, сечешь? Малыш Гассе почувствует результат, а потом расскажет Франсуа, если будет хорошо.

– Да, я тебе расскажу! – энергично пообещал Камиль. Похотливый Франсуа раздвинул ему ягодицы. Розовато-беленькое.

Это была первая в их жизни попытка совокупления. Зад Камиля был уморительным. Красивее его самого. Задняя сторона ушей тоже. Франсуа-Жерар совокуплялся, не слишком напирая на Гассе. Маленькие ягодицы, полушария и прямая кишка – это было здорово. Подогнанные по размеру до миллиметра. Это не просто приятно, думал сорвавшийся с цепи Франсуа, двигая жопой, как молодой пес, и еще больше возбуждаясь от удовольствия: даже не успев еще кончить, он говорил себе, что сразу же все повторит. Мысль о втором разе удваивала наслаждение от первого.

– Потом еще раз! – сообщил он на ухо Камилю.

– Когда потом? – спросил Камиль.

– После этого.

Камиль Гассе вздохнул, но ласково поинтересовался:

– А это долго?..

Франсуа-Жерар не ответил. Камиль послушно добавил:

– Я расскажу тебе, что чувствовал, потом… Как договаривались.

– А да угу, – рассеянно выдохнул пыхтящий молодой Буатар.

По воскресеньям мсье Сеньеле появлялся в кругу семьи не раньше десяти часов: выбритый, причесанный и в галстуке. Он придавал большое значение этим хлопотам. Расхлябанность могла бы серьезно скомпрометировать его достоинство, его личность. Но этот утренний этикет касался только выхода на сцену. Начиная с обеда, мсье Сеньеле сбрасывал куртку и развязывал или хотя бы ослаблял галстук. После обеда, за которым он методично наквашивался, мсье Сеньеле отказывался от парадной формы. Летом он раздевался до майки. Выпирающий живот, короткие волосатые ненакачанные руки, грудь, раздувшаяся от дряблого, водянистого, сероватого и матового алкоголического жира, внушали детям какой-то тошнотворный страх. К счастью, мсье Сеньеле трогал ребят, только если бил, и никогда не бил, будучи в неглиже.

К счастью же, эти показы были краткими. Но воспоминаний о них хватало для того, чтобы мальчики, ценили и даже нежно лелеяли образ хорошо одетого отца – его болезненное и тяжеловесное тело, с белой кожей, как у личинки майского жука, с уродливой диспропорцией между массивным туловищем и тощими лапками, между их худобой и слоновьей мощью ударов; это кошмарное тело, упакованное в костюм, который его перекраивал, одновременно сглаживая материальные мерзость и грубость. От отца пахло коричневым табаком и конторой.

Любезный, тихий, уверенный в себе Робер Сеньеле поздравил жену с Днем матери. Реймонда Сеньеле, в обносках домохозяйки, растрепанная, без макияжа, с обвисшим задом под растянутым домашним халатом, в подшитых стоптанных туф-

лях на желтых ногах, смешно выделялась на фоне мужа, наряженного воскресным буржуа. Она это заметила и почувствовала, с каким мучением мсье Сеньеле рассыпался в многословных любезностях и реверансах. Поскольку он еще не выпил свой первый аперитив, его неуклюжие руки дрожали, неспособные на сколько-нибудь точный жест. Губы тоже дрожали, и, попивая свой кофе, он боязливо ловил губами край чашки, словно тот был расплывчатым, но в то же время острым.

Однако чашка дрожала у него в руке, или, точнее, была единственным неподвижным предметом между ртом и суетливыми, ненадежными, призрачными пальцами.

В этом заключалась еще одна причина, по которой мсье Сеньеле надевал утром костюм и ухаживал за собой. Вылезая из постели, он страдал невыносимым похмельем. В будни он мог очень рано опрокинуть первую рюмку, еще до того, как отправиться в контору. Но в воскресенье не было никаких оправданий для того, чтобы пойти в город сразу после пробуждения, а он не отваживался пить у себя дома в неурочный час. Мсье Сеньеле заглушал нужду приведением себя в порядок и одеванием. Наконец он приходил выпить кофе и тут же сбегал под тем предлогом, что нужно купить продукты на обед.

Жену и детей это устраивало. Возвращался он в отличном настроении, без опоздания, нередко с незначительными подарками, сластями, букетиком. Усаживался в гостиной перед полуденным телевизором вместе с женой и потомством, вызванным в качестве свидетелей родительского ритуала: это был его священный долг. Затем начинался второй этап алкоголизации, весьма про-

должительный.

Около двух или иногда раньше Сеньеле наконец садились за стол. У мсье Сеньеле начинался третий этап, состоявший из тонких вин самого низкого сорта: он был их знатоком.

После обеда наступал четвертый, разношерстный этап – единственный, что представлял опасность для близких мсье Сеньеле. Посредственная водка и ликеры предваряли возвращение к ординарному вину. К тому моменту настроение Робера Сеньеле становилось порой мрачным. Он побаивался собственных приступов злости и старался придать им форму полицейских, судебных и карательных мер. Не желая провоцировать острое помешательство у своей жены, он редко ее задевал – рискованную смелость внушали ему лишь некоторые сочетания и определенные дозы алкоголя. В целом же единственными его жертвами становились дети. В качестве сыщика мсье Сеньеле отыскивал в жизни, учебе, делах, манерах, ответах, круге чтения и комнатах своих сыновей следы преступления. В качестве следователя он допрашивал, проводил экспертизу и строил обвинение. В качестве прокурора произносил обвинительную речь. В качестве верховного судьи выносил приговор. В качестве палача приводил его в исполнение. В этой пародии на правосудие (которая завершалась хладнокровной расправой или моральными пытками, применявшимися столько, сколько решал этиловый суд: неделю, месяц, три месяца, весь учебный год) не хватало только адвоката, ну и собственно виновных. Дети не имели права на защиту – они отбывали наказание. И эта их покорность в итоге приравнивалась к доказательству вины.

Пятым этапом становился аперитив перед ужином. Мсье Сеньеле переходил к нему непосредственно после предыдущего этапа. Захмелевший и (если повезет) удовлетворенный, он замыкался в себе или, напротив, становился слишком эмоциональным, и его безудержное веселье уже пугало. Шестой этап состоял из вина за ужином и вел к седьмому – вину после ужина. Последний этап продолжался до самого отбоя и полного отупения. Мсье Сеньеле с пунцовым лицом снова начинал дрожать, опрокидывал свой бокал и засыпал в коматозном состоянии, надменный и бесчувственный.

В будни он пил меньше и редко преодолевал четвертый этап – свое полицейское настроение, или, точнее, часто на нем и останавливался. Поэтому воскресные приговоры, если они имели продолжительное действие, исполнялись со всей строгостью. Когда он пил мало, дети избегали наказания: криминальное досье вновь становилось чистым, а состав преступления, подробно запротоколированный накануне, считался отсутствующим. Тем не менее мсье Сеньеле не изменял своей серьезности, своей строгости, и его принципы сохраняли весь свой размах, неусыпность и прямолинейность. Поэтому дети (хотя старшие мало-помалу начинали осознавать бесчинство своего отца) не считали себя жертвами бреда больного человека. Их отец был главой, каким и должны быть все отцы. Мальчики необыкновенно его уважали, точнее, боялись – причем боялись его невыносимых судов еще больше, чем наказаний. Они боялись его присутствия, боялись думать о нем, воображать или знать о нем что бы то ни было и занимать его мысли.

В общем, мсье Сеньеле представал в обнаженном виде только этими воскресными утрами, пока еще не улизнул за покупками для жены и не обошел по пути все кафе. Мертвенно-бледный, слабый и безмолвный, он напоминал тогда больного, перенесшего тяжелую операцию и потерявшего почти всю кровь, которого заставили встать, одеться и выйти. Он наводил страх, точно покойник. И только если его ожидало что-нибудь приятное – весенний пикник, праздник или банкет, на его лице, несмотря на трезвость, появлялся бледный румянец и мсье Сеньеле становился бойким на язык, хотя ничего и не пил.

Но мадам Сеньеле больше всего ненавидела именно этого безоружного младенца, будь он хоть румяным или землистым, немым или болтливым. С давних пор она установила связь между степенью опьянения мсье Сеньеле и его коммуникабельностью. Она знала, что трезвым он невыносим, на втором этапе общителен, ну а после – просто несносен. Когда она хотела к нему обратиться, попросить денег, что-нибудь уладить, она внимательно наблюдала за его состоянием. Ей даже не нужно было считать бокалы. Лицо, руки, глаза, голос, позы, реакции тут же обо всем информировали – ну еще уровень жидкости в бутылках.

В любом случае, пока муж не опохмелился, она считала его просто каким-то сором, который хотелось скорее подмести.

Мадам Сеньеле холодно приняла поздравления. Все это кривлянье, эти фигли-мигли. Затем мсье Сеньеле раскрыл подготовленный им сюрприз – этот поход в дорогой ресторан. Чтобы избавить жену от кулинарных забот в праздничный день.

Мадам Сеньеле рассвирепела. Какой смысл в этих дебильных сюрпризах в последнюю минуту? Она запланировала обед, заказала телячье жаркое, мороженое. И что теперь? Когда они все это будут есть? В будни? У нее нет таких средств (представь себе!) покупать им телячье жаркое в будни! А мороженое? Оно же растает: в этом старом холодильнике, которому неизвестно сколько лет, оно не долежит и до вечера. К тому же вечером никто ничего не ест после этих обжираловок в ресторане, которые отбивают аппетит ко всяким другим блюдам. Ну так что?

Испугавшись стычки с женой без единой капли спиртного в желудке, мсье Сеньеле возразил:

– Послушай, дорогая, я хотел доставить тебе удовольствие! Зачем так нервничать… если речь идет… о…

Как же надоел этот цирк! – подумала Реймонда Сеньеле. Доставить удовольствие! Какое этому старому алкашу дело? Какое удовольствие, кому доставить? Себе. Да, себе. Не ей, а себе. Себе. Ведь ей-то самой все равно!

Она спросила название ресторана. Мсье Сеньеле хотел сделать сюрприз. Она снова вышла из себя. Нужно же хотя бы знать, как одевать мальчишек. С ней-то самой как раз все ясно: во что одета, в том и пойдет.

Робер Сеньеле посоветовать надеть все самое лучшее. Мадам Сеньеле злобно сообщила, что ее лучшее платье – в химчистке. Нечего расфуфыриваться на все эти празднички. Они отметят по-семейному. Да и сам Робер – не собирается же он выйти в люди в таком костюме?

– Вечно эти твои выдумки!.. – вздохнула она. – Хорошо еще что я постриглась в пятницу! И что у

меня хоть есть твой поновее.

Он решил, что она смягчилась, и преподнес подарок – серебряную брошь, какие носят нищие бабки на районе. Реймонда Сеньеле даже подпрыгнула:

– Да ты спятил! Что на тебя нашло? Купить эту дрянь! Это ж для бабулек! На базаре небось купил?

Она намекала на уродливые побрякушки и топорные украшения ярмарочных торговцев. К тому же она знала в них толк, но одно дело – разбираться, а другое – принять подарок, купленный… Муж запротестовал. Она преувеличивает. Кипятится по пустякам. Брошь – из цельного серебра, он выбрал ее в бижутерии Роза.

– Вот это вот?.. – вздохнула Сеньеле, которую даже замутило от жалости. – Вот это?.. И, для начала, почему ты мне даришь подарки? С каких это пор ты стал моим сыном? Так, значит, ты теперь мой сын?.. Он с ума сошел! Спятил! Вот оно что! Он с ума сошел.

Она непременно хотела узнать цену. В изумлении мадам Сеньеле завопила, что его надули. Такую безобразную фигню по такой цене!

– Этот папаша Роз тебя облапошил! Он тебя обдурил! Нашел лоха!.. Да, он тебя надул! Ты был бухой, этого не может быть!

– Прошу тебя, – строго перебил мсье Сеньеле. Любые намеки на его порок на самом деле приравнивались к объявлению войны, на которое он реагировал с начальственным возмущением. Худшее из оскорблений. Единственное абсолютное преступление. Нет, Робер Сеньеле не пил. Он не допускал, чтобы его в этом обвиняли – да что там, чтобы это хотя бы предполагали! Конечно, он ценил хорошие вина и укрепляющие спиртные на-

питки. Но он пил и не пьянел – мог перепить любого. Кто-нибудь может похвастаться, что видел его пьяным? Никто и никогда! И он никогда бы не простил такой безусловной, неслыханной обиды, если бы кто-нибудь из родных или все равно кто посмел неожиданно об этом заявить. На месте. Он убил бы виновника на месте. Никакой пощады к подобным преступлениям. Отцеубийство. Богохульство.

У мадам Сеньеле не было никакого желания устраивать сцену, по крайней мере, таким ранним утром. Потом уже не выкарабкаешься. Сорвавшееся с языка позорное прилагательное она поспешила загладить словами: «Ладно-ладно… ладно, но в любом случае это ужас». Спокойный, вялый, но все еще обиженный мсье Сеньеле педантично ответил:

– Скажи, что она тебе не нравится, но не говори, что она уродлива. У тебя есть полное право ее не любить. Она тебе не нравится – допустим. Это нормально – нормально. Ты имеешь на это право. Я не оспариваю твое право – я его не оспариваю, ладно?

Он утверждал, что, по словам Роза, брошь была точной копией старинной, вырезанной вручную.

– Копия старинной! – ухмыльнулась жена. – Правда? Каким же тогда был образец? Образец был красивым? Ха-ха! Копия!..

Робер Сеньеле предложил позже отнести брошь обратно Розу: пусть заменит на другую.

Мадам Сеньеле отказалась:

– Ну уж нет! Он даст тебе еще хуже! Лучше уж оставлю себе эту! Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Нет, даже не говори мне – какой ужас.

На этом перепалка закончилась. Оставшуюся часть утра мадам Сеньеле довольствовалась тем, что неубедительно отчитывала четверых детей, старавшися оставаться чистенькими и не слишком уж безвкусно одетыми. Мсье Сеньеле заметил, что вечером, возможно, понадобится хлеб и т.д., и скрылся из дома почти до самого обеда. Вернулся он церемонным, приветливым, любящим и терпеливым, словно научился хорошим манерам у вермутов, белого с лимонадом и анисовой настойки. Он сумел отменить заказ на мороженое и жаркое.

– Чё за день матери? – грубо рявкнул Франсуа.

– Дорогой, не кричи! – сказала Лора Буатар. – Это весело, разве нет?

– День матери, скажешь тоже! – повторил мальчик устало. Он смерил взглядом малыша Гассе:

– А ты Гассе его отмечаешь этот член матери?

– Прошу тебя, – вмешалась Амели-Лиан. – В этом нет ничего смешного… (Они пришла почитать в гостиную.)

– Мама да в полдень да, – сказал Камиль, – праздник да.

– Ну и как, ты купил горшок с цветами? Своему члену-матери?.. Ой, эй! Послушай, Амели, своему члену-матери! Эй! Врубилась? (Он промямлил.) Член-у-матери.

Камиль Гассе блаженно рассмеялся. Лора Буатар снисходительно нахмурила брови. Неуважение – так уж и быть, но похабщина, Франсуа-Жерар… И это дурно при малыше Гассе: в семье председателя есть свои традиции, свои убеждения, следует…

– Этот Гассе прищемил яйца портьерой! – дерзко ответил Франсуа-Жерар. Он побаивается, что

слишком невинный мальчонка проговорится о том, чем они занимались в спальне, и пытается его запугать.

Камиль Гассе и впрямь покраснел как рак. Но он не верит в то, что Франсуа плохой мальчик. Ведь Франсуа был таким хорошим другом: никто не показывал и не рассказывал Камилю столько всего о жизни.

Амели-Лиан насмешливо напела походную песенку, где говорилось о яичках, кучере и портьере. (Она-то откуда знает? – подумал Камиль, и щеки у него стали бордовыми.)

– Смех да и только! – вдруг сказала Амели матери. – Представляешь, секунду назад я на тебя посмотрела, и мне показалось, что ты гладишь!.. Можешь себе представить? Вот прикол! Я все-таки слегка того!..

Лора Буатар стоя перечитывала свою статью, упираясь ладонями в рабочий стол. Она рассеянно улыбнулась.

«…Ведь в самом деле интересно, предполагал ли Карл (Шарль) Маркс в этот день, 5 мая 1818 года, что 99 лет спустя его прославленный, если не сказать роскошный, труд спровоцирует знаменитую русскую революцию. По крайней мере, следует помнить, что, когда в никому не известной семье родился маленький Шарль, ничто не располагало к тому, что когда-нибудь он откроет марксизм. Но тем не менее…»

Она зачеркнула «располагало», подумала о «предрасполагало» и написала «предвещало». Эта статья не пройдет незамеченной. Серьезная заявка: в редакции «Объединенного республиканца» есть парочка правых коммунистов, которые раскритикуют ее текст. Очернят. Подумают: «Чего

это она сует свой нос?» Но впредь с ней начнут считаться. Будут ждать новых ее статей. Она обретет вес.

– Моя бедная Амели-Лиан!.. Как подумаю обо всех этих женушках, которые сегодня празднуют, так на меня хандра накатывает. День глажки, как ты сказала…

– Просто ей завидно! – воскликнул перевозбужденный Франсуа-Жерар. – Просто из-за всех этих абортов они не могут поздравить Амели с праздником! Ну знаешь, все эти зародыши, что визжат в урнах! Уа-уа!

– Послушай, Франсуа, у тебя не все дома! – сказала Амели-Лиан, подавляя смех. Именно за этим она и пришла.

Шутки о плаксивых зародышах появились во время кампаний против абортов, проводившихся определенными кругами. В Сен-Реми все это повторялось как минимум раз в год. Врачи, отказывавшиеся проводить операции, подписывались под воззванием. Все они были видными деятелями с прекрасной клиентурой, большими доходами, недвижимостью и верой в Бога. По утверждениям медиков, недобитые зародыши нарушали своими душераздирающими криками целомудренную рассветную тишину Сен-Реми.

«…Но для того чтобы представить себе Маркса-ребенка, необходимо забыть доктринера с густой бородой, потрясающего «Интернационалом». Лучше вспомнить его братьев и сестер, умерших от туберкулеза, или его семью, состоявшую из детей и родителей, еще не ведавших о завидном жребии, уготованном их второму сынишке: ведь Шарль вначале был таким послушным, таким трудолюбивым! Не следует об этом забывать, чтобы

понимать, что…»

Лора Буатар задумалась над тем, вправе ли она обходить молчанием обращение родителей Маркса в протестантизм: в самом деле, эти вопросы всегда были очень неудобными, и коллеги из ФКП могли обвинить ее бог весть в чем. В антисоветизме? Она вычеркнула всю фразу целиком и почувствовала, что действительно растет: теперь она работала ради других людей. Лора просияла от радости.

«…«Интернационалом». Лучше вспомнить его братьев и сестер, умерших от туберкулеза (четверо из восьмерых детей Маркс), но, к счастью или нет, маленький Шарль избежал страшной напасти, которая…»

Поискать более детальную информацию о туберкулезе («Как его называли? Чихотка? Чахотка?») в «Универсальной энциклопедии» Глера. Что, Франсуа?.. Да нет дорогой по воскресеньям бассейн закрыт, куда ты хочешь пойти?

– Замудохала ты нас, Лора, – жалобно сказал Франсуа. Ему хотелось произвести впечатление на малыша Гассе, в семье которого не употребляли грубых слов. Родители Гассе – пожилой господин и крохотная женщина – были очень мягкими и даже сюсюкали со своими детьми. Из-за собственной мягкости они избегали грубых слов, фамильярных выражений, конкретизирующей лексики. Поэтому двое сынишек председателя Гассе были скучными и добрыми детьми, порядочными безо всякого намерения.

– Может, на Сосновый пляж? – предложила Буатариха.

– Брррр! Ну уж нет! Там же можно подхватить…

Он запнулся. Ему пришла в голову чересчур заковыристая игра слова: насморк – нос-морг, что-то в этом роде, но он тут же представил, как сестра заблеет:

– Слабовато, Франсуа-Жерар… Слабенько, слабенько…

Поэтому он сказал:

– …подхватить… Слушай, Лора, там же полно педиков на этом пляже! Так ты отправляешь меня к педрилам? Ничего себе! Прррр!..

– Да что ты такое несешь, Франсуа-Жерар? В конце-то концов! – сказала Лора Буатар. – Знаешь, я все-таки наконец задумаюсь над твоим воспитанием. Уж поверь мне. Тебе не хватает… изящества.

– Можно позвонить и узнать, открыт он или нет, – сказал малыш Гассе. – Пляж!.. Я бы сходил. На пляж. Если мы туда пойдем.

– У-гу, – сказал Франсуа. – Но только если Амели пойдет с нами. Иначе эти гомики меня… А, Амели?

– Если ты считаешь себя таким красивым, что они будут за тобой гоняться, – сказала Амели-Лиан. Она была не прочь выйти с мальчишками.

– Не за мной, а за ушами Камиля! Они же охрененно вставабельные! – воскликнул Франсуа-Жерар. – У меня аж причиндалы зудят от его ушей! Они меня з-заводят!..

Все надулись. Здравствуй, неблагодарный возраст? Ну, наступает веселуха. Но какой милый этот Камиль! У ребенка терпение святого, подумала Лора Буатар. Странно он обходится с друзьями, добавила от себя Амели-Лиан. Тем более с такими славными.

Однако она признала, что Франсуа в одном

все-таки прав: сегодня отчаянно сук-кучно. Проверить солнце у окна. Если жарко, то пожалуй… А потом позвонить. До пляжа больше километра, не срываться же с места ради каких-то пелоток.

– Ради кого? – фальцетом переспросил Франсуа. Малыш Гассе был на седьмом небе. Его напрягала только Амели-Лиан. Девушка была в два раза выше и толще, чем он, и паренек никогда бы не смог приспустить ей трусы. Для Франсуа нормально, да и он такой борзый. К тому же он старше и выше. К тому же это его сестра, для начала. У Камиля были такие несчастные, блестящие скулы, что хотелось его поцеловать. Он рассмеялся.

Но Амели-Лиан взглянула на него, и он показался ей очень миленьким карапузом, с этими ушами интеллектуала или дурачка. Внешность в духе… как его… Жан-Поль Сартр в детстве? Нет. От него только глаза. Нет. Жан-Поль Бовуар… Нет, он не Жан-Поль. А, черт. Уши типа. Но славные. Наверно, они показывали друг другу пиписьки, подумала Амели-Лиан. Нет, дурында, не Сартр с Бовуар, а Камиль со своим корешком. Малыши и их карандаши, изучают, сравнивают. Амели-Лиан даже не надо было гадать, какое у Франсуа хозяйство. Она сглотнула слюну. Нет, эта малявка. Она тут же вспомнила запах.

– Ну, так кто позвонит на пляж? – спросила она, рассеянно приподнимаясь с дивана, на котором лежала.

Вызвался Камиль Гассе. Все согласились. Пляж был открыт.

«…Ведь его отец умер в возрасте двадцати лет – если быть точным, в пятьдесят шесть. Этот стало ударом для юного Карла, которому было всего-навсего двадцать и у которого не всегда ладились

отношения с отцом. Разве он не уехал в Бонн из своего доброго родного Трира? Поэтому не следует забывать, что эту невосполнимую утрату можно, в сущности, считать бесспорным семейным событием. Тем не менее, к счастью, через пять лет Шарль Маркс женится на будущей Женни Маркс, которая в девичестве с гордостью носила фамилию фон Вестфален. Фамилию семьи, наперекор которой они с мужем оставались помолвленными целых восемь лет. Настойчивость, о которой свидетельствуют регулярные записи мелким почерком в блокнотах (надо полагать, около двадцати тысяч страниц), которые Маркс заполнял в течение многих лет, посвященных чтению и научным изысканиям. Ведь в самом деле…»

– Нет, вообще-то мне не жарко. Я не пойду. Ты хоть смотрел, какая там погода, Франсуа? – вяло сказала Амели.

Камиль Гассе страшно расстроился. А Франсуа подумал о попке своего приятеля. Этот придурок Гассе! Его можно выебать в жопу и внушить ему, что он просто жрет торт с кремом. Нет, какой все-таки дебил. Ну еще бы, Франсуа собирался трахнуть его в очко на Сосновом пляже.

– Ма, ты заплатишь за таксо?.. Ой, прости! Лора, заплатишь?

– Франсуа-Жерар! А тебя не затруднит спросить не так… грубо?.. И ты не знаешь, где мой…

– Ох ничего себе они едут на таксо! – сказала Амели-Лиан.

Камиль бросил на нее взгляд влюбленного модельера: он мысленно надел на нее купальник. Раздельный, с красными спиралями.

Внезапно Камиль представил себе эту геометрическую фигуру между прекрасными ляжками

старшей сестры Франсуа. Его член поднялся, словно вздернутый нос. Ему захотелось плакать. Как это было?.. Когда это произойдет?.. Она, конечно, не такая уж миленькая. Но кто же тогда?..

– Да нет он меня бесит, – сказала Амели-Лиан. – Прости Камиль я не про тебя, но мой братишка такой олигофрен.

– Надо говорить не олигофрен, а калека-хрен, – парировал Франсуа-Жерар. Камиль Гассе выглядел таким же несчастным. Его больше не интересовал пляж. Все пожали плечами.

– Мы еще повторим! – шепнул негодник Франсуа Буатар, когда они остались вдвоем в такси. Гассе не ответил. Он был слишком удручен, слишком серьезно влюблен, в голове пустота. Он еще долго не будет счастливым. Взрослыми становятся в… в…

– Сколько лет твоей сестре? – тихо спросил Камиль.

– Нет! Не здесь! Ох уж этот чувак! – прогорланил Франсуа.

На пляже было почти безлюдно. Адская скукота. Было несколько мальчишек, таких же, как они, пара девчонок, пара мамаш. Камиль Гассе догадался, что Франсуа собирается повторить это в кабинке. Его славный носик снова выпрямился. Дерьмово, если не сможет. К тому же он стеснялся дрочить с кем-то на пару. Вот уже дверь на засове.

– Эй, Ка-камиль! Эй, ваниль! А ты когда-нибудь мочил старух? – воскликнул Франсуа-Жерар, снимая штаны. У него была спортивная сумка с полотенцами и двумя плавками – одни для него, а другие, прошлогодние – для Гассе, потому что он был меньше.

– В смысле «убивал»? – спросил ребенок.

– Ну конечно! Я – уже двух. А ты ни одной, спорим?

Камилю Гассе было удобно в плавках. Он обрадовался, что Франсуа забыл еще раз показать, чем занимаются с сестрами. Он отодвинул засов и вышел: нет, не холодно. Амели-Лиан надо было пойти вместе с ними. Они даже поплавают. Что там сказал Франсуа Буатар?.. Ах да. Он убил двух старух! Какой он прикольный, и впрямь. Вот это чувак.

– Так настоящих старух или – таких, как твоя сестра?

– Эй, а ты пошаешься в снопку? – спросил Франсуа, с особым удовольствием морально подавляя боязливого ребенка из богатой семьи. – Нет, не такие, как сестра! Старые старухи! Бабульки! Завалишь их, и трах-бах – кубышку с деньгами! Усек, Камилка?

Нет, Камиль плохо усекал, но Франсуа ему все объяснил.

К тому же там было полно… и они… они… они… Гассе надо стать членом банды. Тогда все девчачьи дырки будут его. Угу. Хрычовки – дебилизм, но так надо. Ведь у них есть «бабки»!

Он уже не знал, что делать. Под плавками носик Камиля отчаянно напрягся, задрожал и скрючился от горя. Этот Буатар слишком много говорил. Камиль готов был есть песок – так бешено хотелось потрогать. Но кого и где?

– Эй да у тебя стояк ну ни фига себе! – прыснул со смеху Буатар, от которого не ускользала ни одна эмоция его жертвы. Он тут же придумал: для того, чтобы вступить в банду, где они развратничали, нужно пройти необычные испытания. Он, Франсуа, как раз имел право приводить, кого за-

хочет, устраивать экзамены. Если Гассе хочет, чтобы его приняли…

– Все дырки, зуб даю. Но сначала испытания.

– Прямо сейчас? – спросил Камиль.

– Без балды! – сказал Франсуа-Жерар, пораженный доверчивостью мальчика. – Просто тебе нужно кого-нибудь убить.

Камиль Гассе даже не знал, что ответить.

– Мы все убили по одной! – продолжал Франсуа. – А я аж две!

Она зашли в серую воду по лодыжки. Белые барашки пены плясали у ног, икр, и вода, высыхая, стягивая кожу, пощипывала, оставляя соль. Горизонт холодно голубел. У Франсуа Буатара был уродливый шрам на левом предплечье: как будто ему вытатуировали или вырезали на коже толстую красноватую сороконожку. Он сказал, что это у него после Мерибель-лез-Алю, когда он в шесть или семь лет спускался по страшной черной лыжне. Сломать руку, катаясь на лыжах – вот это ржака! – хвастался он. И жестами изобразил, как было дело. Перекувырнулся и – бац!

Вдалеке проплывало вытянутое в длину судно. Белый теплоход, почти голубой или розовый, словно там, на изогнутом горизонте, сумерки наступили раньше: казалось, видишь воочию часовые пояса, как в школе или в расписании авиарейсов. В силу оптической иллюзии корабль выделялся на золотистом или бледно-голубом фоне, как будто был из другого мира, где уже наступила ночь: там играла музыка, наверное, танцевали, показывали, где туалет, смешивали коктейли.

Но здесь, на пляже, еще вовсю светило солнце. Камилю Гассе ужасно захотелось уплыть на огромном, бело-розово-голубом корабле, которого они

больше никогда не увидят. Но у него не было никакого желания убивать. Особенно сегодня.

– А это обязательно? – вздохнул он. Вода была нехолодная. Камиль услышал язвительный ответ Франсуа Буатара, а потом с разбега прыгнул в воду. Он очень хорошо плавал. Мерзляк Франсуа догнал его не сразу. Когда находишься в воде, ее шум мешает разговаривать – Франсуа не спешил погрузиться в этот плеск. Он наблюдал, как Гассе рассекает небольшие волны, устремляясь навстречу золотистому солнцу. Крошечный кораблик исчез за поблескивающей водной сферой, напоминавшей глобус. Камиль обернулся, встряхнул головой и рассмеялся. Он был уже далеко в маслянистой воде. Франсуа так и не поплыл вслед за ним. Незлобивость Гассе его унижала.

Мадам Сеньеле разносила в пух и прах особое меню, придуманное гг. Бавё и сыновьями специально для семей с мамашами ко Дню матери:

– Но это же дешевле всего, ну просто!.. Дорогой. Ну просто! Это же все их объедки за неделю, которые они собирают и подсовывают людям как же!

Она ликовала:

– Как же это идеальный день все люди сбегаются и так везде! Они полгода собирают свои объедки во-во и перепродают их тебе втридорога!

Мсье Сеньеле подчеркнул, что жареного лангуста в белом соусе из меню на День матери вылавливают сачком из того большого садка с морской водой – извини за каламбур, дорогая.

Мадам Сеньеле так пронзительно завизжала, что от ее крика мог бы лопнуть хрусталь:

– Ну ты меня насмешил! Умереть не встать! Умеретьневстать! С тобой обхохочешься на каж-

дом шагу! Умеретьневстать! Смех да и только! И ты в это веришь? Робер, это же цирк-шапито! И смех и грех! Ты бы себя видел! Ты бы себя видел! И ты в это веришь! Ты в это веришь!.. А ты цены видел? Нет. Короче. Пф!..

Мсье Сеньеле робко повторил, что в садках все-таки… (К тому же он выделил довольно крупный бюджет, ведь для него это был самый главный праздник в году – после Рождества.)

– Садки! – торжествовала жена. – Са-адки-и! Умеретьневстать, дорогой! Вот уж точно умереть не встать!.. С твоими садками!

Она не готовилась к тому, чтобы охаивать садки, и поэтому подыскивала слова и визжала, как плохой боксер, который, приняв позу богомола, цепляется узловатыми обезьяньими лапами за руки соперника. Иногда противник, принимая этот надоедливый букет из рук с толстыми раздувшимися ладонями, тянет время, боясь, как бы чего не вышло. Так и Робер Сеньеле дожидался вымученного аргумента жены. Она сделала глоток и высунула язык, а затем всосала коктейль, посмотрела на бокал, поставив его на стол, и наконец произнесла речь:

– Хлюп… И могу тебе сказать, что они добавляют в эту гадость не киршвассер, а водку. Еще бы в этот воскресный день сегодня или никогда. Потому что слышишь нельзя же портить себе настроение так ведь? Поэтому никто не будет ругаться и они этим пользуются и подсовывают тебе все подряд. Потому что в такой день никто не ругается. Вот же сволочи!

Тем не менее мсье Сеньеле снова принялся настаивать на лангустах из специального «маминого» меню, которых подавали чуть ли не живыми.

Это меню стоило сто двадцать франков на человека: по одному лангусту на четверых. Полпорции и скидка 15% для детей младше десяти лет.

Впрочем, это меню выбирали все.

Мадам Сеньеле наконец нашла аргумент, который прошептала, присвистывая между зубами:

– Хочешь знать насчет садков? Хочешь знать? Хорошо, я тебе расскажу. Они вылавливают их перед тобой ладно! Это всегда действует на лохов! Но потом они относят их на кухню! И ты их больше не видишь! Ты что дундук считаешь они приносят тебе обратно того же?.. Держи карман шире! Держи шире ага! Там они запихивают его обратно в ведро а тебе приносят замороженного! Держи карман шире!.. Но это канает! Люди ведутся! Они все ведутся!.. Мороженого!

В конце концов она все-таки согласилась на это меню, только без лангуста. Тем более что он был на четверых. Дети возьмут ее долю. Нет, она даже не хочет ничего взамен. Все попахивает шахермахером, нечего переплачивать сверх цены. Да они просто греют руки на этих семейных праздниках. Стыд-позор.

За обедом она проклинала и поносила дальше, но ела много, с жадностью блюющей суки. Попробовала лангуст мужа и сказала, что он не только мороженый, но еще в придачу несвежий и даже плохо проваренный. Что же касается знаменитого белого соуса гг. Бавё, это был обычный уксус с корнишонами, взбитый в маргарине, куда наверняка досыпали крахмала – для густоты. Сплошная показуха… Наконец, жаркое – разогретое! – было чересчур сытное. Мсье Сеньеле, сидевший напротив Бертрана, вполголоса давал ему уроки виноделия, перечислял усадьбы, районы, урожаи, выносил

суждения, произносил термины, а затем решил обучить старшего сына строгому ритуалу дегустации, заставил пробовать на вкус, перекатывать во рту, булькать, возводить очи горе с отсутствующим, но сосредоточенным видом, щелкать глоткой, языком, губами. Бертран, покрасневший сильнее, чем вино, был вынужден подчиниться. Впрочем, сорта были очень скверные, поскольку эрудиция мсье Сеньеле в этой области, несмотря на его напыщенность, была обманчивой, и он уже давно потерял всякий вкус.

Обед был очень долгим, утомительным и обильным. Мадам Сеньеле, сильно захмелевшая и смертельно оскорбленная такой роскошью, с трудом себя сдерживала. Она изрешечивала свирепыми взглядами свою семью: казалось, она вырывает у них сердца, выпускает кишки, отрубает головы. Дети вели себя ужасно: им всё понравилось, они всё съели, не скрывая удовольствия, и ни с кем не случилось заметного конфуза (Жан-Батист спер под шумок два прибора).

Даже Филиппа не стошнило. Он заснул, склонившись на свой наконец-то успокоившийся животик. Его разбудили, когда принесли десерт.

После этого дня мадам Сеньеле еще целый месяц оставалась злобной и раздраженной, но уже вечером снова взяла бразды правления в свои руки и восстановила собственные порядки.

VII

Они не умели разговаривать друг с другом.

– Повезло, хоть лето, – мрачно говорил Рене Тере.

– А мне хорошо то, что есть хоть это мыло, – отвечал Жюльен Рокен. – Птамушта оно ничем не пахнет.

Жюльен мылся чаще Рене. И воровал (или говорил, что воровал) намного меньше. Он совершенно не доверял Тере. А для Тере Жюльен был просто шкетом, то есть никем.

Жюльену нравилось раннее утро. Они выходили из подвала, смотрели на серые камни этого дома без крыши и почти без стен, а впереди – на давным-давно заброшенные солеварни. Это ремесло потеряло всякий смысл. Жители острова, несмотря на свою бедность, стали презрительно относиться к этим сооружениям, где какие-то старики продолжали выпаривать, сгребать, а затем использовать красивую серую морскую соль. Занятие для нищих и дебилов. Странное, идиотское, тупое кристалловодство. Оно уже отмирало.

Оставались только целинные соляные поля, которым Жюльен поклонялся, устремляя взор к морю на золотистой заре, потому что здесь у него чаще билось сердце. Длинные прямоугольники голубой воды или слегка вспенившейся небесной синевы и неплодородные склоны, поросшие скудной травой. Эта вода, заключенная, словно зеркало, в рамку, волновала ребенка: жить именно здесь, у самого моря, в этой развалившейся хибаре, так похожей на дом Рокенов, только разрушен-

ный, без мебели и без злобы.

В начале июля всем на острове становилось дурно: слишком много иссиня-черного в воде, красновато-золотистого и желтоватого на гальке и на земле. Слишком много птиц, обезумевших от солнца и прилетевших то ли из Африки, то ли из Океании, с брюшками и с важной миной обедающего кюре, тяжело садились на эти кубические скалы. Жюльен тоже чувствовал себя неважнецки.

Больше всего смущал Тере. Жюльену хотелось, чтобы этот буржуй свалил отсюда. Вместе со своим буржуйским шрамом на щеке. Сам Жюльен не признается и никогда не покажет длинных шероховатых и рваных рубцов у себя на спине. У него не получалось даже нащупать их на коже, заведя руки за спину. Не хватало совсем чуть-чуть, чтобы можно было потрогать.

Во всяком случае, этот говнюк Тере никогда их не увидит. Он также не станет хвастаться, что подрался с говнюками из Сен-Лу. Они были отморозками и могли отметелить кого угодно. Во-первых, не надо было вообще драться, а если уж дерешься, то нельзя бить по лицу. Это подло. Трусливо. Тере сцепился с оборвышами, отморозками, подонками. С этими суками никто не связывается.

Так, через ненависть к Тере, Жюльен выражал свой страх перед деревенскими пацанами. Кому, в конце концов, принадлежал остров? Разумеется, не таким, как Рокен. Нет, остров принадлежал этим ребятам, выяснявшим отношения с «пером» в руке. После второго же крика, первого же взгляда, малейшей угрозы наказания эти ребята сбежали бы от родителей. Или отплатили им сторицей. Конечно, ни у одного ребенка из Сен-Лу нет такой

спины, как у Жюльена. И об их преступлениях даже не пишут в газетах. Они спокойно возвращаются домой, жрут и спят. Они, скорее, ровесники Тере, а не Жюльена.

Тере, в самом деле, был здесь лишним. Лучше бы он остался дома. Разве родители сажали его на воду и сухари или на цепь в погребе, пороли до смерти? Он ушел просто из хвастовства. К тому же теперь хорошо видно, что Тере не выдерживает. Жюльен говорил про себя: «Он сломается и настучит легавым. А мне надо свалить куда-нибудь еще раньше».

Поначалу Тере Жюльену понравился. Наверное, такой католический типаж производил приятное впечатление. Теперь же он считал его трусом и предателем. Совместная жизнь была обоим в тягость.

Тере встал. У каждого из ребят была своя кровать из груды одеял, покрывал, подушек, простыней и скатертей, украденных, как и все в подвале, во время налетов, в которых они не участвовали. Днем мальчики подтягивали эти груды к отверстию, через которое поступал яркий свет, и читали. Жюльен часто выходил, бегал по песчаным равнинам и побережью – так же, как в то время, когда еще жил с родителями и прогуливал школу. А Рене валялся на кровати и листал книжки, изнывая от тоски. После ухода второго ребенка он много мастурбировал на возбуждающие сцены из детективов.

Он подошел к Жюльену Рокену, швырнул на стопку, стоявшую на полу, книгу, которую недавно дочитал, и поискал глазами другую:

– Эта была клевая. Нету еще похожей?..

Она была из серии, принесенной Марком Гий-

яром: герой трахался, боксировал, был богатым и сильным, имел всё на свете. Убивал в меру. Жертвы либо заслуживали своей участи, либо были пустым местом. Иллюстрированные обложки сплошь в сиськах и ляжках. Это здорово развлекало. Жюльен взглянул на роман и тут же узнал картинку. Нет, ему эта баба в черных трусах не понравилась.

– Угу они клевые, – сказал он. – Но по ходу все что есть тут.

– Тогда я уже всё прочитал, – сказал Тере.

Он зевнул, размял мослы: чтение отупляло. То ли дело киношка или телик.

– Слы выйти охота. А ты чё читаешь?

Жюльен показал книгу под названием «Пираты и капитаны». Роман про флибустьеров, чтиво для малышни, подумал Тере.

– Гийяра? – спросил Жюльена.

– Угу.

Тере вздохнул. Он не выносил неуловимо враждебной холодности, которую проявлял ребенок. Настоящий дичок, этот Рокен. Марк Гийяр предупреждал.

– Так не может продолжаться, – сказал Тере. – Мы же не собираемся всю жизнь просидеть в подвале?

Жюльен пожал плечами.

– Так уходи. Можешь вернуться к родакам. Попробуй. Не убьют же они тебя. Они не в курсах что мы тут мутим. То что мы тут мутим с тобой это никак не связано.

Обидно, но справедливо. Тере думал об этом уже сотню раз. Он мог вернуться домой. Родители наверняка его простят. А если сначала написать письмо? Они ответят, э…

– Может им написать старикам моим? – сказал он. – Только как они ответят? Вот где гемор.

Рокен выпрямился на своей груде одеял и тряпок, словно варвар-кочевник:

– Скажи им пусть напишут да или что-нибудь типа того в газете рядом со своей фамилией, если согласны. Лично я бы так и сделал.

Рене подумал:

– Угу, но они по-любому скажут да, чтобы я вернулся. А потом прибьют. Или посадят типа под домашний арест…

– Они что тебя лупят, родаки твои? – спросил Жюльен, внезапно заинтересовавшись.

– Не, нельзя сказать, нет, – честно признался Рене. – Мать – так, слегонца. Они ж не изверги. Нет.

Жюльен снова упал на подушки:

– Так перетри об этом с Гийяром.

– Угу, перетру с ним… Ладно, пойду я. Чё у нас там кончилось?

– Хлеб, горчица, – супружеским тоном сказал Жюльен. – Ну и подтираться нечем.

– Как это нечем? Целая упаковка с четырьмя блоками!

– Где?

– Ну, в кухне. Розовая. Просто встань и поищи. Пока.

– Пока. Не забудь про воду на обратном пути.

«Кухней» они называли комнатку с подвальным окном, где, возможно, раньше находилась котельная. Они складывали и бросали туда все, что мешало им в «спальне» – просторной комнате, частично заваленной строительным мусором, а частично раскрытой перед непогодой. Существовала реальная опасность, что однажды они

не проснутся или будут здесь погребены заживо. Зато нычка была хорошая: никто не забредал сюда чаще, чем раз в год.

Вдобавок не было проблем с питьевой водой: они брали пластиковую бутылку и поднимались к старому семафору примерно в километре в сторону Сен-Реми. Вода солоноватая, но зато в избытке. Они подмешивали туда немного вина или перно.

Если снова спуститься к Рош-Нотр-Дам, еще была безымянная речка с длинными безлюдными излучинами. Жюльен приходил туда стирать белье: ребенок был грубым и серьезным, как незамужняя труженица, которая безжалостно следит за своими пасмами, своей каморкой и своим тряпьем, беснуясь от собственного целомудрия. Жюльен, конечно, не прилагал столько же сил и усердия – тем не менее, он отличался холодной чистоплотностью животного, которому противны грязь, экскременты, дурные запахи. Стирка и купание на речке особо не затягивались.

Но Жюльен надолго сваливал с хазы, чтобы посрать. Он шел вдоль берега и искал укромное местечко, с озабоченным взглядом и отяжелевшей задницей, как будто собирался снести яйцо. Он так, кстати, и говорил: «нестись» вместо «срать», какашку называл «яйцом» и сообщал: «Я в курятник».

Через пару минут после ухода Тере Жюльен тоже встал: он проголодался.

Он изучил консервы на кухне и нашел туалетную бумагу – ватную белую с рисунком из розовых цветов, как на бабушкиной ночнушке, и с ароматом ландыша. Он даже не улыбнулся. Подобные вещи его не задевали, оставляли безучастным.

В последний раз жратву притащили двое ба-

кланов, которых Жюльен и Рене никогда раньше не видели. Гийяр был недалекий, он перебарщивал. Он что, целую армию хотел собрать или что? Жюльену все они осточертели. Надоели до чертиков. Мелкие – потому что придурки, а старшие – потому что уроды.

Консервы украли во время крупномасштабного налета на супермаркет где-то на севере. Еще один дурацкий, неосторожный шаг. У них ведь есть деньги, так что можно спокойно ходить за покупками, не опасаясь, что схватят или что пойдут кривотолки. Зачем эти провокации, особенно опасные для двух беглецов? Жюльен никому не доверял и был уверен, что его сдадут при первой же мазе. Все зашло слишком далеко, они уже не справляются. Нет-нет. Пора валить.

Жюльен с любопытством приподнял банку: внутри как будто черные существа – аквариумные зверюшки с оранжевыми брюшками, ассиметричные, как медузы, сдавленные, тошнотворные. Он разобрал надпись на этикетке: «Рядовка серая». Омерзительные черные существа. Он произносил «ридовка». Есть же люди, которые это едят. Хуже розовой бумаги для подтирки. Вторая банка кишела тоненькими белыми червячками длиной с мизинец, на вид – с большими желтыми яйцами. Брр. Жюльену даже не захотелось узнать, что это такое. И впрямь воруют ради прикола.

Естественно, Рене сожрал все равиоли с помидорами. Жюльен набросился на какую-то консервную банку с фрикадельками, где тоже было написано «помидоры», и съел их холодными. Они были мягкими и правда в томатном соусе. Он решил потихоньку сходить (было еще рановато) и проверить удочки на скалах.

Но перед этим он нашел в тайнике под обломками одну вещь, которую приберегал только для себя: пузырек с ацетоном. Налил немного на рукав и, поднеся к ноздрям, мгновенно захмелел от паров. Втянул носом всего один разок и потом ушел на рыбалку. В глазах зарябило от миллиардов серых солнышек. Он вдохнул запах моря, и зрение вернулось.

– Послушай, дорогая, давай-ка зайдем сюда! – сказала старая мадам Пропляд. – У них наверняка есть!

Иоланда Пропляд зашла вслед за бабушкой в писчебумажный магазин. Мадам Пропляд тут же изумленно вздохнула:

– Мариетта!.. Я не обозналась, Господи, это вы?

– Мадам Пропляд! Какой сюрприз! Ну надо же! Да уж!

– Ну надо же! Это действительно вы! Боже мой! Я не обозналась!

– Ну надо же!.. Но, знаете, я бы вас не узнала с этой девочкой! – воскликнула Мариетта Перефикс.

– А я вас узнала, Мариетта, узнала! – воскликнула Пропляд. – Ну еще бы! Как тут не узнать? Боже мой!

– Да-да, – сказала мадам Перефикс. – Но что же вас привело в наш район, мадам? Это не тот район… гм, надо сказать! Со всеми этими заводами! Да уж!

– Чего уж, чего уж, – заворчала мадам Пропляд, – ваши заводы очень хороши! Очень хороши!.. Но вы так и не объяснили мне, почему вы здесь, ну и ну, продаете книги, право слово! Шутка сказать! А все эти, это… канцелярские товары? Ах, как хорошо. Очень, очень хорошо! Очень хорошо!

– Но вы мне так и не объяснили, почему вы здесь, мадам Пропляд, в нашем паршивеньком, фу, районе! Вот это да!

– Представьте себе, мы пришли сюда именно ради одного завода! Представьте себе! Ради этой дорогуши!

– Ну вы только посмотрите! – сказала мадам Перефикс. – Боже мой! В ее-то возрасте! А кстати, сколько ей лет? С виду она уже взрослая! Так, значит, это ваша внучка?

– Уже восемь! – воскликнула мадам Пропляд взволнованно-снисходительным тоном. – Боже мой, восемь лет!

– Ах, ей восемь лет! Ах, как хорошо. Но она не такая уж и большая для восьми лет. Ах, нет да уж.

Мадам Пропляд замотала головой, поднеся носовой платок к губам, словно собиралась кашлянуть. У нее и в самом деле спело дыхание от удивления. Она попросила стул:

– Ах!.. Ах!.. Боже мой!.. Ах!.. Рхх!.. Ах!.. Спасибо, Мариетта, спасибо!.. Ах!.. Если б я знала!.. Нет, не восемь… Ах!.. А мы зашли просто так, можно сказать, случайно!.. Ах!..

Мадам Перефикс предложила ей стакан воды.

– Нет, нет, моя милая!.. Сейчас пройдет!.. Не восемь лет… Вы… Восемь лет. Вы! Вы!.. Не она!

– Ну да Боже мой теперь когда вы сказали: восемь лет! Шутка сказать! Да уж!..

Мариетта Перефикс в двух словах пересказала ту череду неприятностей, что привела ее от службы у мадам Пропляд к благородному ремеслу книготорговца. Замужество, да. У нее ребенок.

Мадам Пропляд захотелось его увидеть. Она искренне любила этих людей и не могла взять в толк, как это она прожила восемь лет без весточки

от Мариетты. Тем не менее между ними пробежал холодок, когда она узнала возраст мальчугана: девять лет. Выходит, Мариетта родила его, еще когда была у нее в услужении? Вот те на. Да как же это?.. Мадам Пропляд постаралась не акцентировать внимание на этой подробности.

– Да нет же! – внезапно сказала мадам Перефикс. – Ведь моему огольцу уже девять! Мадам Пропляд!

– Ну так что же? Что вы хотите сказать? – осторожно спросила пожилая дама.

– Ну так это же доказывает что я ушла от вас девять лет назад, ну и ну! Как минимум!

– Ну да, ну конечно же! – быстро подтвердила мадам Пропляд.

– Девять лет назад, ну и ну! Как минимум! Да уж!

– Но какое-какое-какое-какое золотце! Но какое же только золотце!.. – залепетала мадам Пропляд, махнув рукой на запутанные арифметические вычисления беременностей своих служанок. Этих вычислений ей выпало, ох, с избытком.

Тут как раз появился славный Мари-Антуан, который изящно играл роль дурачка. Мать осмотрела его, полюбовалась и в целом одобрила. Она нежно вздохнула:

– Да уж!..

– Какое золотце! – повторила мадам Пропляд. Она была потрясена тем, что парнишка холопки может быть таким хорошеньким, таким хорошеньким. Наверное, муж очень-очень хорошенький. Конечно-конечно.

– И как же тебя зовут, дорогой мой? – спросила мадам Пропляд, обеими руками притянув ребенка к стулу, на котором сидела. Как хорошо пахло

от гладенького ребеночка!

– Мари-Антуан! – прощебетал Мари-Антуан, усердно показывая, как ему нравится называть свое имя пожилой даме. Он улыбнулся. Очень красивые зубы. Очень хорошо. Очень хорошо. Прелестная улыбка. Первоклассная. Очень красивые манеры. Разумеется, отец.

– Мари-Антуан! Но это же очень славное имя, мой дорогой!

– Да! – блаженно сказал Мари-Антуан. Он тоже так считал.

– Да уж!.. – восхищенно вздохнула мадам Перефикс. Иоланда Пропляд подошла, засунув палец в нос, чтобы получше рассмотреть девятилетнего мальчика. Во-первых, на девять лет он не выглядел, а во-вторых, наверное, был полным кретином (Иоланда безжалостно это предчувствовала). Ей захотелось ущипнуть его за ляжку. У Мари-Антуана они были наполовину оголены: белые, светлые, пухленькие и блестящие – как раз такие, на которых после щипка остаются большие синяки (подумала Иоланда).

– А как зовут эту маленькую девочку, осмелюсь спросить?.. – задорно сказала мадам Перефикс.

– Еще бы! – добродушно ответила мадам Пропляд. Она пожирала глазами обнаженные части тела Мари-Антуана и сгорала от желания засучить ему рукава. Чудесные ручки. Девять лет! Боже мой! А на вид совсем крошка! Такой славный! Такой пухленький! Такая улыбочка! Возможно, слегка недотепа, но идеальных людей, увы, Боже мой, нет! И потом как подумаешь, скольким мы обязаны этим умникам: бомбы, пилюли, мясо с гормонами… Боже мой, да, сумасшедшее время, под конец говоришь самой себе… (Мадам Про-

пляд никогда не высказывала этих мыслей вслух.) – Так ты скажешь Мариетте, как тебя зовут, моя дорогая?

– Мари-Антуан! – кокетливо повторил послушный Мари-Антуан: он невнимательно следил за разговором. Мадам Пропляд засмеялась и встряхнула его за руки.

– Вот еще! Не тебя, мой дорогой!.. Тебя, моя дорогая! Тебя, Иоланда!

– Какие милые, да уж! – сказала мадам Перефикс.

– Нет! – ответила Иоланда.

– Чего уж, дорогая, не упрямься, Иоланда, дорогая! Это же некрасиво! Мариетта вправе узнать твое имя, чего уж!

– Нет, – повторила Иоланда.

– Иоланда, дорогая? Ты же знаешь, что отказывать – это очень плохо. Назови им наконец свое имя! Ты же знаешь имя маленького мальчика!

– Нет! – снова сказала Иоланда. Мадам Пропляд заворчала:

– Ну ладно, они и так узнают, вот и всё. А теперь они знают, что ты очень плохо воспитанная девочка, а Мари-Антуан – очень хороший мальчик. Слышишь меня? Злючка. Упрямой быть очень скверно!

– Нет! – сказала Иоланда.

– Да ладно ничего страшного! – взмолилась обиженная мадам Перефикс.

– Как ее зовут? – с любопытством спросил Мари-Антуан у пожилой дамы, которая вдруг отпустила его руки, решив по размышлении, что он гораздо старше, чем казалось.

– Ах, вот видишь, Иоланда, мальчик такой хороший он тоже хочет знать твое имя!.. Ему ты

тоже не скажешь?

Иоланда задумалась, смущенная этим доводом.

– Ах, Иоланда, вот видишь! Ты назовешь свое имя мальчику! – сказала мадам Пропляд.

– Ах! Да! Иоланда назовет! Да, милашка! Да уж! – сказала растроганная и униженная мадам Перефикс.

– Ах? Ее зовут Иоланда? – спросил Мари-Антуан.

– Иоланда! – сказала мадам Пропляд. – Слышишь, что мальчик хочет знать: тебя зовут Иоланда? Так ты ему скажешь? А? Дорогая! Просто закончи мою фразу: те-бя зо-вут…

– Не знаю, – сказала Иоланда и вытащила палец из носа.

– Чего уж, ну хватит дурачиться, чего уж! – сказала мадам Пропляд. – Тебе прекрасно известно, как тебя зовут. Чего уж. Повторяй за мной: ме-ня-зо-вут…

– Бабуля! – недовольно воскликнула Иоланда. Когда уже ей разрешат ущипнуть этого тупого мальчишку?

Мадам Пропляд махнула рукой:

– Ну вот!.. Вот вам современное воспитание! В шесть лет их нельзя даже заставить назвать свое имя! А в раньше в два года! В два года!.. Но в наше время все запаздывает.

– Ну и ну. Что греха таить: с их-то прогрессом… – вздохнула мадам Перефикс.

– Я с вами согласна, Мариетта. Что греха таить. С их прогрессом, Боже мой!..

– Уши вянут! Да уж!

Мари-Антуан посмотрел на мамины уши. Нет-нет, они не завяли. Наверное, она быстро-быстро

полила их водой, чтобы послушать мадам Пропляд. Он последовал примеру пожилой женщины.

– Ну давай иди выбери фигурки для вырезания моя дорогая. У вас есть фигурки для вырезания Мариетта?

– Да уж!.. – ответила мадам Перефикс. Она отправила сына показать груду в глубине. У Иоланды загорелись глаза.

– Но я не могу ручаться что у нас есть заводы знаете ли? – добавила Мариетта Перефикс. – Люди здесь… Ах, какое это тяжелое ремесло! Если рядышком нет школы. Да уж!

– Завод! Какая же я глупая, боже мой! Ох. Если я порой глуплю, ох, вы мне говорите! – воскликнула мадам Пропляд.

– Что греха таить, – вежливо сказала мадам Перефикс. – Это как со зверюшками: как их ни люби, тут ничего не попишешь, бывают дни. Гм, так уж заведено. Так уж заведено.

– Что греха таить, и даже дети, – сказала мадам Пропляд, понижая голос. – Это факт, Мариетта, ох! Да, дети.

– И даже дети, что греха таить это факт, мадам Пропляд, ох да! – сказала Мариетта Перефикс. – Ох, даже он изредка получает подзатыльничек, это факт!

– Ну да, ох! Ну да – что же вы хотите?.. Но я вам говорила, ах… Да, завод. Завод! Это не для вырезания, хи-хи, нет же! Какими мы бываем глупыми!

– Это факт, мадам, это факт. Так это не завод? Ах видите а я подумала, что…

– Ах видите как мы иногда думаем что… Да нет же! Завод.

– Что греха таить. Завод. Ну да! – сказала Ма-

риетта.

– Да нет, вот что. Представьте себе, что ее дядя, мой сын, брат ее отца, моего сына, отца этой девочки…

– Иоланды?

– Ну да! Ну вы же помните чего уж.

– Ну да! Я же их помню. Да уж!..

– Вот именно…

Пока Мари-Антуан показывал Иоланде фигурки для вырезания, она прикидывала, куда бы ущипнуть и наконец, закусив губу, напала.

Мари-Антуан удивленно хихикнул и почесался.

– Дебил, – сказала Иоланда.

– Ах, ну разумеется! Какие же мы глупые, это факт.

– Вот так!.. Завод его дяди. Все эти большие штуки…

– Который ваш сын выкупил у Эрмана.

– Вот так. Вот так. Ох, выгодная сделка, ох! Да!

– Вот так. И это чтобы ей показать. Дядин.

– Дебил.

– Ай-ай.

– Ты нашла фигурку дорогая?

– Мари-Антуан ты нашел фигурку для мадмуазель Пропляд?

– Да что вы! Просто Иоланда, скажите: Иоланда! Ребенок…

– Это факт, ребенок. Но я не осмелюсь.

– Тсс, там мой крантик. Не трогай! Ты еще маленькая.

– Дай посмотреть.

– Трогать нельзя. Я покажу но ты не трогай.

– Дебил.

– Ну она уже больше не дуется милашка. Но какой милашка ваш милашка Мариетта подумать

только, ох! Боже мой! Он – прелестный!

– Я тоже вспомнила о заводе Эрмана. Так ваш сын…

– Самым первым делом, ох да! Я сказала ее дяде, своему сыну, говорю вам, сын мой, я ему сказала, твой брат, сын мой, мне сказал, что бешено тебе завидует, скажу вам только это. Сделка!..

– Это факт. Говорю вам, я тоже вспомнила о заводе Эрмана. Ну вы понимаете – в заводском-то районе.

– Ну да! Вот так! В этом-то все и дело! Вы разбираетесь в этом почище, чем все они вместе взятые! Когда живешь…

– Что греха таить: когда живешь. В этом-то все и дело.

– Вот что я думаю, говорю вам: почище, чем они все вместе взятые.

– Улитка, чур не так прытко, – сказала Иоланда и ущипнула.

– Ай! Не сюда не сюда! Ай-ай!

– Ах как же мне приятно моя милая Мариетта! Словом…

– Да уж!.. Да что вы! Какой сюрприз!

Мадам Пропляд пошла за внучкой и вдруг заметила сквозь витрину силуэт, показавшийся ей знакомым. Да кто же это? Сын… ах… да это же мальчик, который сбежал… из… Да это же Рене, Рене Тере! Ну конечно. С ума сойти. Так, значит, этот блудный сын вернулся домой к родителям? Скандал?..

Мадам Пропляд решила тут же зайти в продуктовый магазин Тере. Она воспользуется машиной своего сына – ее отвезет служащий. Она позвала Иоланду.

– Дебил.

– Ну дорогая! Иоланда! Ты нашла то, что хотела?

– Крантик.

– Ай-ай!

Мари-Антуан шмыгнул в подсобку. Этот тоже не умеет прощаться, подумала мадам Пропляд. В общем, почти что милашка, но никакого воспитания. Выпирает происхождение. Горбатого могила. Яблоко от яблони.

– В общем, Иоланда, иди сюда, моя дорогая: нам пора!

– Говно. Дебил. Крантик.

– Иоланда! Ох, какие скверные словечки дорогая, ох! Будь паинькой, иди сейчас же сюда. Отнеси свою фигурку мадам.

Гийяр жестом показал Тере, что все будет хорошо, и провел его наверх в свою комнату:

– А как же Дракула?

– Скажешь тоже задрал он, – сказал Рене Тере.

– А чё он тебя лапает? – спросил Гийяр, уписывая за обе щеки и даже не воспользовавшись замешательством Тере.

– Не валяй дурака! – сказал Рене. Он нацепил горестную улыбку, подсмотренную в каком-то старье по телику, в свои тринадцать лет отождествляя себя с героями на экране.

– Чё… А вы что другу дружке не дрочите? Педрила! С Жюльеном?

– Да ты с катушек слетел!

Тере становилось противно, когда с ним говорили о подобных вещах. Все связанное с сексом казалось ему либо гадостью, как желтизна на трусах, либо неприятной обязанностью в будущем, как необходимость когда-нибудь пойти в армию. Прожорливый и смеющийся Гийяр внушал ему

такой стыд, что он задрожал до мозга костей – холодного, красновато-серого мозга, как в мясном магазине.

– А чё я знаю он нехило дрочит со всеми подряд! – заявил Гийяр. Из человечности он ссужал пороки.

С ужасно усталым видом Тере покачал репой. Нет.

– Скучаешь по нему? – спросил Марк. – Попробуем разок?

– Если ты этим, даже ты… – уныло забормотал Тере. – Нет ладно если думаешь что… Рискнуть всем и прийти сюда…

Он надел маску, отягченную всеми грехами мира: Тере ужасно боялся, что этот урод Гийяр положит на него руку, а еще страшнее стыдился своего крохотного хуишка. Ведь ему хотелось быть лучше всех.

– Уже зажило, – нежно сказал Гийяр, показав подбородком на шрам Рене. Он подхалимски улыбнулся.

– Угу… угу… фффф… угу, – пробормотал или пропыхтел Тере – старый, покрытый шрамами герой, который под конец понимает, что война, возможно… (Но все равно мы были храбрецами.)

С напускным «гуманизмом» он тяжеловесно сказал:

– Понимаешь Гийяр… Понимаешь… По сути, в конце концов… По-моему, это был идиотизм. Зачем мы все это делали?

Этот вопрос не понравился Марку Гияйру: он был таким довольным, что не мог быть честным. Эта их мания принимать себя чересчур всерьез.

– Под попа косишь? Чё на тя нашло?

Тере понял, что слажал: Гийяр любил гнать

пургу, надо было подходить с другого бока. Он без тормозов.

– Нет ну это же не может продолжаться Марк послушай, – сказал он.

– Ну просто, – сказал Гийяр. – Когда спалимся, пойдем куда-нибудь еще. Мест хоть отбавляй. Хочешь вернуться к мамочке, куколка?.. Нет, прости, я не держу тебя за девчонку.

Гийяр был сволочью и на ходу придумывал доводы на каждое возражение. Раньше он никогда не говорил ни о добровольном уходе из родных мест, ни о будущем.

– Ты не говорил о том чтобы уйти. Когда?

– Вот сейчас говорю, – сказал Гийяр. – Никто не сказал, что те две хрычовки больше не… и тэдэ… Этот ваш дебилизм!

– Но куда?

– Не суть. Можно остаться здесь. Лично я останусь.

Рене Тере почувствовал себя взрослым, отцом. Гийяр такой доставучий. Тере твердо сказал:

– Когда ты тут стал за главного? Когда мы занялись дебилизмом, как ты сказал. Раньше все были равны. По ходу, тебя это устраивало…

– Это я-то кошу под главного? Блядь! – спокойно сказал Гийяр. – Сколько недель мы лезем из шкуры ради тебя и Рокена, а ты меня теперь лечишь что тебя типа достали? Да пошел ты в жопу ага.

– Меня это больше не колышет. Я понял. Просто надо было с тобой повидаться. Но теперь все в поряде. Понятно. Давай, пока. Я – всё.

Гийяр встал и удивленно спросил:

– Слышь Рене. Ты куда намылился?.. Вернешься домой?

Тере механически улыбнулся, как старый меланхоличный герой:

– Будь спок, я вас не заложу.

Он вышел.

Тере был очень сконфужен. Он приходил к Гийяру вовсе не за тем, чтобы порвать со всеми. Это… просто роль, в которую он внезапно вжился. Надо было это сделать, сыграть. На тебя накатывает, и остается только подчиниться. Теперь он не мог ни вернуться на хазу, ни встретиться с кем-либо из них. Он был одинок, и нечего было делать с этим одиночеством. Он сыграл роль, но где зрители, одобрение, награда? Нет. Ничего. Никого. Для одного себя не играют. Нужны хотя бы враги, и Тере решил вернуться домой. Он снова влезет в свою шкуру, обретет собственную душу. Своих родителей.

Жан Рокен встал с Фуйу. Пока она кончала, она вдруг показалась ему старой. Клер внушала ему отвращение. Он любил пацанок за то, что они вроде как никогда не кончали. Стоны от боли и даже раздражения его возбуждали, но довольный вид вызывал желание ударить. Да, оргазмы сытой мамаши старили Клер Фуйу, которая теперь тоже урывала себе печенюшек и нямочек.

Она снова стала девчонкой, как только встала. Жан Рокен подумал, что охотно трахнул бы ее в задницу. Чтобы она оставалась похожей на ребенка. Согласится? Он грубо спросил:

– А ты знаешь, что туда было бы даже лучше? И без проблем.

Он вытащил палец еще до того, как она стала вырываться. Он терпеть не мог дерьмо. Потрогал очко, сочное, как коровий навоз, жирное и широкое, пастозное дупло.

– Не ну тебе чё мало? – буркнула Фуйу.

– Да мне мало, – сказал Рокен, которого завел этот нерешительный отпор.

– Отвали, отвали, отвалишь ты наконец папаша.

– Как. Как. И как.

– Ох блядь! Хватит!

Этот крик напомнил Рокену истерику жены. Он сделал театральный жест.

– Да сама ты блядь! Блядь! Это ты мне остопиздела, представь себе! Остопиздело тебя видеть! Блядюга! И это ты сама виновата во всех этих гадостях. Ты больше не нужна. Ты не нужна. (Наверно, палец теперь воняет.)

Растерявшись, Клер задумалась. Рокен еще не отдал ей деньги. Лучше придержать язык, чтобы не остаться с носом. В этой профессии нельзя открывать пасть на клиента, ну или надо выбирать время и человека. Она сказала:

– Что я такого сделала?

– Сказала: «Блядь, хватит», – сказал Рокен.

– Такое бывает, странные вы какие-то. Всегда думаете, что мы всегда… в общем…

– Я не спорю. Но все равно ты можешь сказать корректно, прилично типа – я же блядь плач ! – прилично, типа, будешь или нет.

– Нет, это нет, – сказала Фуйу. – Милый нет. Это нет.

– Могла бы сразу так и сказать, – сказал Рокен. – Тут ты в своем праве. Тут это нормально. Тут я не осуждаю.

– Так когда мы увидимся? – устало спросила Фуйу.

– А… – сказал Рокен, которого удивил вопрос, и сразу же углядел в нем шанс, предложенный Клер

Фуйу. – А… Моя девочка это зависит от тебя… Сколько. Понимаешь.

– Милый я не соглашусь я же сказала.

– Ну ладно блядь и ебись с кем хочешь.

У Фуйу не хватило смелости возразить. К тому же у нее было необычное свидание в городе, у одного типа. Она впервые работала на дому. Старый вдовец, господин… Вюйяр, Хуйяр или Жопяр… Что-то такое. Разумеется, вечно одно и то же. Она вышла на него через папашу Маньяна – толстого водопроводчика, импотента и вора, любителя полизать. Этот мсье Маньян обожал месячные. У него были на это средства, которые приносили водопроводные работы, в основном ремонт. Папаша Лошар, Нашар или Сучар был одним из его коллег, маляром.

– Ты уверена один разок прямо сейчас? – прошептал Жан Рокен, постучав хуем по ложбинке между ягодицами Фуйу.

Ей захотелось крикнуть, поцарапать; но она вдруг задумалась; нащупала толстую, упругую, простодушную залупу; попросила триста франков за услугу; получила их; стоя выгнулась.

Изумленная мадам Тере выпрямилась за прилавком.

– Рене? Ты?.. Пришел нас убить или просто переночевать?

При этих словах на глаза Рене Тере навернулись слезы. Мать подошла к нему посреди пустого магазина, и он упал в ее объятья. Тем не менее, тоже заплаканная, она строго повторила:

– Ты вернулся или просто так зашел?…

– Вернулся, – сказал Рене. – Вернулся мам.

Он сомневался, что так легко отделается. Родаки – они злопамятные, мстительные. Само по себе

возвращение обошлось дешево, но что потом? Он даже представил, как этот страж добродетели, получив все признания, отводит его в полицию.

– Я не стану говорить, что тебя ожидает, – заявила мадам Тере. – Даже твоего отца нет дома. Сестры в школе. Я только что открыла. Закрою опять ненадолго. Может, ты хочешь мне что-то сказать? Хотя нет, конечно.

Он поискала в ящике стола дощечку со странноватой надписью «Закрыто по болезни», которую муж старательно вывел тушью на бристольском картоне. Довольно глупо для продуктового магазина. Дощечку приклеивали скотчем к стеклянной двери.

– Больше не балуешься «пером»? – спросила мадам Тере на своем устаревшем жаргоне, сняв ручку с входной двери.

– Чем?.. – озадаченно сказал Рене. Он и правда не понял. Его задел только вульгарный, почти непристойный тон.

– Не прикидывайся пай-мальчиком, – сказала Луиза Тере. – Слушай, пошли на кухню, толку все равно никакого. Пить хочется. Есть пиво. Хочешь?

Скверное домашнее пиво – безвкусное, выветрившееся, в литровой бутылке.

– Пинкой, если тебе так больше нравится, – продолжила мадам Тере.

Рене всё равно не понимал. Мать выпила:

– А… А… Мокрушник с пинкой, ни о чем не говорит? Ну ладно, маловато ты читаешь, а еще блатной. Уж я-то знаю, что в лицее…

– Финка! – вдруг сказал Рене, вспомнив книгу.

– А вот тут ты прав! – холодно и удовлетворенно признала мадам Тере. – Мокрушник. Ну да. Это я перепутала. Короче, пинка или финка, ты с этим

покончил?.. Конец фильма?

– Да, – буркнул Рене. – У меня ее никогда и не было, ты ж знаешь.

– Клянешься? – сказала мадам Тере. – Хоть в этом поклянешься?

– Да, – сказал Рене.

– Сколько трупов?.. Думаю, были трупы. Выкладывай.

От этого ходульного вопроса у Рене подкосились ноги. Он побелел как полотно. Мать все это заметила. Она посмотрела на Рене в упор, но не тронула его.

– Что, были? Были? Ну и дела, были?..

– Два, – сказал Рене.

Он все же ответил очень тихо, будто просто кашлянул. Мадам Тере послышалось «кха», она нахмурила брови и повторила резче, натянутей:

– Что «кха»?.. Да? Или нет?.. Ты меня нервируешь Рене. Отвечай.

Рене Тере вовремя спохватился:

– Нет. Конечно, нет. С чего ты взяла что.

Успокоившись, мадам Тере состроила негодующую гримасу:

– Ну так бы сразу и сказал! Так бы мне и сказал! Все никак не наиграешься в свое кино.

– Знаешь, – сказала она опять, – это слишком серьезно для подзатыльника, но ты еще слишком молодой, чтобы получить по заслугам. Ты это знаешь?

Рене позорно признал свою вину, снисходительность материнского суда, великодушие рода Тере. Теперь ему разрешалось уйти и спрятать свой стыд у себя в комнате. Он чувствовал себя хуже собаки, которую окатили ведром воды. Поглощенный мыслями о себе, он даже не заметил,

какой сукой была его мать (уж она-то играла роль идеально), и упрекал себя лишь в собственной трусости. Теперь он по уши в дерьме. Ему захотелось снова свалить. Связанный по рукам и ногам, окончательно запутавшись, он заплакал. Его комната была убрана, даже книги; постель застелена.

– Привет! – весело сказал Марк Гийяр. – Ну и денек! Заходите скорей!.. Как же я рад! Ну?..

Он повернул засов и провел ребят наверх в свою комнату. Они никогда здесь не были.

– Это что твоя комната? – спросил остолбеневший Пеллисон.

– Ой, ты чё-то посеял! – Вио показал на ступеньку лестницы у них за спиной.

Марк не повелся, а похотливо схватил его за задницу:

– Когда уже свадьбу сыграем, Сороконожка? Знаешь у тебя классная жопа.

Вио увернулся.

– А это не ты схватил с неба звезд марлезонского балета? – спросил он. – Да это он! Он…

Гийяр решил угостить их прохладительными напитками. Он спустился в кухню и неожиданно застал там отца, растрепанного, в трусах, носках и майке.

– Ой, прости, па! – сказал Марк. – Ты чё, дома?

Мсье Гийяр застеснялся:

– Да, я вернулся от, э, от Маньяна. Надо себя отдраить, вот. Душ принять. Но перво-наперво уайт-спирит.

Марк сразу почувствовал, что отец врет. К тому же на нем не было никаких следов краски. Он сегодня постригся, сто пудов. И почему это он сегодня работал у Маньяна? Он всегда предупреждал Марка о своих халтурах.

– Кажись у тебя там гости? – спросил мсье Гийяр.

– Угу. Друзья типа. Как раз совпало.

– Я так и подумал. Надеюсь, вы не будете спускаться вниз? Вам ничего не нужно?

– В кухне, па? – с любопытством спросил Марк.

– Да, или в столовой – короче, внизу.

Комната мсье Гийяра находилась на первом этаже, сразу же за столовой.

«Так ты шлюху привел», – подумал Марк.

Это бывало, хотя и очень редко, но никогда не случалось днем.

– Я возьму пиво и бокалы, хорошо? – сказал Марк.

– Да-да, конечно… Я устал понимаешь…

– Да, па. Слушай, возьму-ка и жратвы, раз уж я здесь.

Сконфуженный и терпеливый мсье Гийяр безучастно ждал, пока сын закончит.

«Наверно, за льдом приходил». Уже на лестнице Марк услышал звон раскалываемого льда.

– Батя внизу с колбасой упражняется! – объявил он ребятам, возвращаясь в комнату.

Вио потянул носом:

– Он что ее сырой жрет?

– Если поджарить эту колбаску, он завопит как ужаленный! – сказал Гийяр. – Свининой там и не пахнет!

Ни Вио, ни Пеллисон не поняли намека. Гийяр растолковал доходчивее, закрыв за собой дверь и сказав ребятам, чтобы они говорили вполголоса.

Но шашни папаши Гийяра не заинтересовали гостей Марка. Он угостил их хлебом, маслом, паштетом, чесночной колбасой и разлил пенное пиво по большим стаканам в форме кружек. Пел-

лисон сказал, что предпочел бы молоко, но Гийяр рассудил, что снова спускаться было бы неблагоразумно:

– Этот козел уже засунул хуй в масло!

– Но масло же здесь, – сказал Вио.

Ребята объяснили, зачем пришли. Эрве Пеллисон сказал, его мучит совесть из-за того, что он втянул троих мелких – Вио, Перефикса и Леско. То и дело пахло жареным. В газетах писали о беспрецедентной волне преступности. Никто пока не понимал, что речь идет о маленьких детях, но полиция уже начала серьезное расследование, клюнули репортеры, и если так продолжится и дальше, то покажут по телику.

– Если покажут по телику, уже не спрячешься, – заявил Ален Вио, словно речь шла о недреманном оке. Они рассмеялись.

Но одно было ясно: если вмешается телевидение, легавые станут из кожи вон лезть.

В то же время, продолжал Пеллисон, отношения, которые Гийяр установил с разными блатными, компрометировали их всех. Теперь, учитывая происшествия, шокировавшие весь остров, уже не выйти сухим из воды: и это касается тех и других. Пора уже шкетам делать ноги.

– И тебе вместе с ними? – спросил Гийяр.

– Сначала было по приколу. Но теперь уже не прикольно, – сказал Пеллисон. – Если прям сейчас не остановиться, потом уже не выпутаешься. Слушай, а что Жюльен Рокен?

Гийяр рассказал все, что знал. Он промолчал об измене Тере. Ему не давало покоя, что Рокен там, на хазе, один. Он не мог даже представить, как мальчик забился в угол – одинокий, без старшего товарища. Ночью. Марк должен пойти туда

немедля и разработать какое-нибудь другое решение. Привести его сюда?

– Это случайно не те, из Сен-Лу, угнали тачку возле собора? – спросил Эрве Пеллисон. – Зря ты с ними путаешься.

– Может, и они. Но я с ними больше не вожусь.

– Они отморозки. Уже вляпались в дерьмо. И те из Рош-Нотр-Дам тоже!

– Нет, они нет. Ни чуточки, – сказал Гийяр. – Они хорошие.

– Это твое дело. Я тебе сказал, что мы вместе с мелкими – всё. Это паскудство вообще-то. Мерзость!

Раскаяние и отвращение Эрве Пеллисона были притворными. Он обожал кражи и приключения. Просто боялся стычек, шпаны, машин с мотором. Насилия. Полиции. Теперь его мелкобуржуазной, несерьезной банде нужно было полностью отмежеваться от Марка Гийяра.

Тот даже не обиделся. Все равно от Пеллисона толку мало; пронырливая, но чересчур болтливая малышня – источник постоянной угрозы; в общем, у Гийяра проснулись амбиции. Его планы обрели размах. Он мечтал о налете с настоящим оружием – и настоящими миллионами под замк м. Он никак не мог сделать выбор между банком и сберкассой, расположенными почти что рядом на улице Джонатана Свифта (это была роскошная пешеходная улица). Гийяр осторожно вынашивал свой план, никому о нем не рассказывал, записывал на клочках бумаги, которые тут же сжигал. Самую большую проблему представляли члены его шайки. Нельзя было связываться с ребятами постарше и закаленнее, которые могли его попросту вытеснить. Он понимал, что совершит глупость,

если стакнется с бандюками или же, наоборот, поведет за собой шкетов. Он жалел о предательстве Рене Тере. И напротив, отступничество Пеллисона и банды Леско было, скорее, плюсом.

– Мы никого не грохнули. Ничего плохого не сделали, – заметил он. – Что ты увидел в этом мерзкого, Эрве?

Эрве всегда был готов изложить свои моральные принципы. Он выпалил, не раздумывая. Это гармонировало с его лицом, голосом – вылитый пай-мальчик.

– Ну ты и святоша! – вяло ругнулся Гийяр. – Ах, бедненькие старушки как ты говоришь! Ты что нюни из-за них распустил?

– Ну конечно! – подтвердил Эрве. – Постоянно думаю и думаю. Бывает, просыпаюсь ночью, и мне страшно!

– Они вернутся и отгрызут тебе задницу, – сказал Гийяр. – Эти старухи такие развратные! Видишь они ждали пока их кокнут чтобы потом прийти и тебе подрочить! Привидения делают минет!

– А тот другой старик!.. – сказал Пеллисон, полный негодования. – Мы нелюбезно с ним обошлись.

– «Мы нелюбезно с ним обошлись»! – передразнил Марк Гийяр. – Да мы его даже не привязали! Чего тебе еще надо? И он же ведь не скопытился!

– Нет, но какого страху натерпелся… Нет это плохо. Это плохо. Ужасно втягивать… детей…

– Детей! – ухмыльнулся Ален Вио.

– Да, – важно сказал Эрве. – Ты поймешь, когда вырастешь, Вио. Увидишь, что я был прав… Ты бы хотел, чтобы твоя бабушка умерла – пусть даже от страха?

– Угу. Хотел бы, – сказал Ален. – Скажи когда? Я

бы сам ее напугал. А после этого, если надо, убил бы вдобавок.

Двое старших рассмеялись над его злобой.

– А потом? – осуждающе продолжил Пеллисон. – Куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь? В детдом? Ты же будешь один-одинешенек!

– Да, – сказал Вио. Он нахмурил брови и стал еще больше косить, уставившись в пустоту. Ему часто талдычили о сиротском приюте. Этого не миновать. Он бы с радостью убил старуху Вио, чтобы наказать ее за то, что его туда сдадут. Понятно, что он никогда не согласится сесть в тюрьму.

– Да. Надо ее убить, – повторил он. – Я приду жить к тебе Патиссон.

Вдруг Гийяр услышал хорошо знакомый дверной стук: окна их хаты, зажатой между красивыми старинными домами, выходили с одной стороны на улицу, а с другой – на глухой проход, за которым можно было наблюдать из форточки рядом с комнатой Марка, на мансардной площадке.

– За мной! – сказал он. – Быстро! Зазырим батину цыпу! Он выпускает ее через черный ход!

Гийяр принес стул и влез на него:

– Вот те на. Нет. Он вышел один. Видать, она ждет, пока он стоит на стреме… Нет.. Он смывается. При параде. Ну и ну. Вот это да… Охота сходить вниз и посмотреть она там или никого уже нет. Вот это да!

Получив удовольствие, мсье Гийяр и впрямь столкнулся с финансовой проблемой: у него не хватало наличных. Его спутница неожиданно оказалась обжорой. Пришлось немедля пойти и снять деньги в банке.

Марк спустился по старой деревянной лестни-

це. Он обладал необыкновенным умением – не скрипеть ступеньками, а эта лестница могла бы победить на конкурсе самых скрипучих и трескучих. Каждый день мальчик в одних носках разучивал на ней бесшумные гаммы взломщика. Он запретил Пеллисону и Вио идти вслед за ним, пока он не подаст сигнал: они не были такими же виртуозами.

Гийяр добрался до первого этажа. На минуту прислушался. Наклонился и заглянул в замочную скважину столовой. Покраснел как рак.

Он заметил Клер Фуйу. Та заканчивала одеваться. С этого ракурса она напоминала маленькую девочку, едва достигшую половой зрелости. Марку она показалась младше его самого. Так вот кого трахал отец.

Гийяр поднялся по лестнице с такой гибкой и бесшумной быстротой, что поразил двух других. Он затолкнул их в свою комнату.

– Ну чё?

– Вот такая толстенная бабища, – сказал Гийяр. – Натуральная бочка. Стадо коров в лифчике.

Вио был в восторге. Теперь Гийяру не терпелось спровадить гостей, так что он повеселил их прочими враками и наспех попрощался:

– Но вы приходите еще, я потом все расскажу! – сказал он.

Пеллисон неопределенно пообещал. На самом деле он планировал полностью с ним порвать. А мелкие никогда не придут к Гийяру без него. Они больше не увидятся.

– Раз она слышала, как вы вошли, шумите посильнее, когда будем спускаться. Вы выйдете, а я потом тихонько вернусь: она подумает, что никого нет, – пояснил Марк Гийяр. Он сгорал от воз-

буждения.

– Да знаю я, – ухмыльнулся Вио, – ты хочешь ее позажимать. Эту корову в трусах. Коровьи труселя!

– Тсс! – шикнул Пеллисон.

– Он пойдет ее зажимать, – настаивал Вио. – А нас вытуривает.

Они кубарем скатились с лестницы и вышли через переднюю дверь.

Марк Гийяр хлопнул ею со всей силы и бесшумно подошел к двери столовой. Тактическое чутье ему изменило. Сердце выскакивало из груди. Внезапно он вытащил член и снова наклонился к замочной скважине.

Он ничего не увидел. Вероятно, девчонка отошла подальше. Чтобы снова раздеться. Задыхаясь от этой мысли, Марк стал сам не свой. Маленькая девочка. Шлюха. Голышом. Только что потрахалась с его отцом. Он набросится на нее, войдет силой. Забрызгает все вокруг молофьей и кровью. Гийяр выпрямился, в ушах шумело.

Клер Фуйу вдруг открыла дверь: она искала туалет. Столкнувшись нос к носу с подростком, она увидела его замешательство. Он был очень миленьким, но какая гадость – эта большая липкая штуковина. Сукин сын. Кто это такой?

– Ой! – удивленно вскрикнула Клер и резко захлопнула дверь. Она думала, в доме никого нет. Может, этот мсье Клошар, Лапшар или Воняр хотел, чтобы ее натянули малолетки? Прямо у него на глазах. Некоторых извращенцев это возбуждает: растлевать молодежь. На пару секунд Фуйу представила, как сношается с пареньком, которого увидела лишь мельком, и у нее привычно засвербело в одном месте. Гадкий маленький

свинтус, показывает девицам свою толстую-претолстую пипиську. Ох.

Марк резко заправился. Он мысленно сфотографировал Клер Фуйу, появившуюся в дверях, и расстроился, что батина девка на самом деле оказалась старой и плоской уродиной. Однако он обрадовался, что она увидела его… Марк больше не рассчитывал ее выебать, но после своей демонстрации почувствовал с ней связь. Он испытывал ужасную неудовлетворенность. Похоть, которую нужно срочно утолить. Подняться к себе в комнату или, несмотря ни на что, попытать-таки счастья в столовой? Там не было ни ключа, ни засова. С виду девка не из пугливых и не из тех, которые долго ломаются. Наоборот, смелая.

В голове Гийяра неприятный образ в дверном проеме наложился на волнующий образ в замочной скважине, заново воссоздав очаровательного батиного ребенка-шлюху. Марк сильнее сжал член. Если она не захочет, он начнет шантажировать старика, чтобы тот ее все равно заставил.

Вставить с такой силой, чтобы он вышел наружу между плечами – удар кинжалом наоборот. Марк достал член и позвал, мастурбируя:

– Мадмуазель?

В ту же секунду он открыл дверь. Почти не удивившись, Фуйу раздраженно, презрительно вздохнула и заговорила тоном важной дамы:

– Что еще не всё? Нет ну ты же умеешь сморкаться сам? Для шкета тут ничего стыдного. Ну и ну.

Она сидела за идеально начищенным столом в деревенском бретонском стиле Генриха II.

– Это мой батя! – сказал Гийяр, приближаясь. Выставлять себя напоказ было необычайно при-

ятно. Он интуитивно почувствовал, что нравится ей. Фуйу напоминала тех примерно шестнадцатилетних девчонок, с которыми Марк Гияйр общался, глумясь и пытаясь охмурить: продавщиц, официанток и тому подобное. Он был уверен, что эта хотя бы ему подрочит.

– Старик? – спросила Фуйу. – Твой отец?.. А. И зачем он тебя подослал? Чтобы я тебя отлупила?

– Угу, согласен! – с наслаждением воскликнул Марк Гийяр и обеими руками, быстрым пацанским движением, спустил штаны до колен. Клер Фуйу вспыхнула: она никогда не видела красивых мальчиков голыми. Она застеснялась, и ее охватила безрассудная страсть. Здесь! Вот это да! Со шкетом!..

– Ты с ума сошел мой котеночек! – по-матерински шепнула она и сухой ладонью плавно подхватила снизу мягкие крупные яички, еще не поросшие волосами. Марк Гийяр больше не мог сдерживаться.

– Может, сходим к Жюльену? – предложил Ален Вио. Эрве Пеллисон покачал головой. Пешком далеко. Ему неохота. А на хазе Жюльена Рокена всегда есть риск, что тебя заметут.

– Заметут? – переспросил Вио. – Почему?

Эрве пояснил, что о нычке Жюльена знает слишком много ребят. Любого из них могут повязать, и он настучит в полицию.

– Спустят на тебя двух волков на колесиках и песенка спета!

(Он имел в виду полицейских на велосипедах.)

Ален Вио не согласился. Он представлял арест Жюльена иначе: большая черная машина с синей мигалкой, куча легашей, вооруженных до зубов, прожекторы, направленные на разрушенный дом,

сирены – целый спектакль. Ну и конечно, это будут показывать в прямом эфире по телику.

– Ты с дуба рухнул! – засмеялся Пеллисон. – Рокен же не гангстер! Он не сделал ничего плохого. Его отвезут домой, и всё. Нет, говорю тебе. Но если мы будем там с ним, это уже другое дело. Они подумают чего-чего да это ж банда. И если ты думаешь, что Тере сейчас там.

– Тере из жопы, – загадочно сказал Вио.

– Тере из зада, – сказал Эрве, минуту подумав: заявления Вио всегда были очень отрывистыми, он разговаривал сам с собой.

– Тере словоблуд, – добавил Эрве.

– Не. Тере из жопы, – упрямо повторил Вио. – Кстати слышь Пеллисон во вторник все в силе?

– Угу. Во вторник в шесть. Или потом в следующий. Смотря, какие у нее дела. Я вам просигналю.

– Мы убьем ее.

– Ну нет убивать никого не будем! – возразил Эрве. – Это какая-то мания!.. Мы не причиним ей вреда. Во-первых, ее там не будет. Я спецом выбрал день.

– Если ее не будет что тебе с того что я хочу ее убить? – логично предположил Вио.

– Потому что нам это не нужно. Когда-нибудь в другой раз ты…

– Да нет, – перебил Вио. – Первым войдет твой двоюродный, я ж чересчур жирный.

– Ты – жирный?.. По-моему, ты тоже сможешь пролезть.

– А вот и нет, – сказал Ален Вио. – Жопа останется снаружи. Спорим. Моя жопа.

– Да, – сказал Эрве. – А легаши его найдут и такие ой да я ж его знаю! Уж его-то я знаю!

– Не, не найдут. Они туда провалятся. И запута-

ются. Плюх! Пожалуйте к столу. Никаких легашей.

– Тогда я отведу тебя домой? – предложил Эрве.

– Да, тогда тебе туда, а мне – сюда.

Вио показал в разные стороны. Эрве пожал плечами. Малой откалывал свои номера с таким серьезным, туповатым видом и таким сухим тоном, что трудно было понять, не шутит ли он и как ему ответить. Жутко трудно общаться с чуваком, который не смеется, не плачет и никогда не бывает ни сердитым, ни довольным.

– Ты хочешь, чтобы мы расстались?

– Я тебе этого не говорил. Пока! – сказал Вио и тут же отошел на несколько метров. Немного обидевшись, Эрве Пеллисон повернул обратно. Его совсем не прикалывало возвращаться так рано, но он не любил шляться один. Мелкие тоже его порой доставали. Иногда весь мир кажется тоскливым. И ненужным.

Точнее, из-за резкого ухода Вио все потеряло интерес и поблекло. Сначала разрыв с Гийяром. А теперь и Ален свалил.

Гийяр не горевал. Наоборот. У него, конечно, были свои планы, и ему это только на руку. Он всегда загадывал далеко вперед. Даже не из-за книг. Он не дурак, его не проведешь. Не до такой степени. Ведь он славился своей ловкостью, хитростью, отвагой: все схватывал на лету, побеждал людей упрямством, в самый последний момент – из него выйдет отпетый жулик, он будет манипулировать людьми и вещами. Если только уже сейчас… Пеллисон вспомнил о гадких сторонах их разнообразных затей. Он соврал, когда сказал Гийяру, что его мучают кошмары. Тем не менее постоянное беспокойство сохранялось. Временами возникало ощущение какой-то безобразной сумасшедшей

истории, которую следовало предотвратить. Их волновала только безнаказанность; они почти не удивлялись, что их не раскусили, не загребли, даже не заподозрили; у них были все основания считать себя невиновными; но под спудом разрасталось что-то тяжелое и черное, омерзительное, огромное. Не угрызение, а чувство совершенной ошибки, гнусности, заблуждения. Это был безотчетный, противный, колоссальный страх.

Эрве Пеллисон испытывал его явственнее всего, когда оставался, как сейчас, один на улице. В нем пробуждалось что-то массивное, невыносимое и, не просачиваясь наружу, не причиняя боли, не вгрызаясь, потихоньку сеяло чудовищную панику. Бороться с ней было невозможно. Она постепенно распространялась. Все начиналось с этого ощущения пустоты, предательства: мало-помалу оно превращалось липкую, блеклую, бесцветную грязь. Ты сам становился этой грязью. Это было хуже, чем если бы тебя побили, бросили, наказали. Это была неодолимая нагота, тусклое одиночество, безграничное и дряблое, как слякотный день.

Какая связь между этим и мелкими кражами, любительскими налетами, справедливыми и безобидными играми (Эрве именно такими их и считал)?

Как минимум одна: когда испытываешь этот безбрежный прилив отвращения, тоски и страха, вскоре возникает безумное, абсурдное желание воровать. Поэтому, решив отказаться от всяких правонарушений, Эрве одновременно искал глазами удобную возможность срочно его совершить, причем самое вопиющее, самое вызывающее.

Эрве чуть не вырвал у прохожей сумочку, но

обстановка показалась слишком уж неблагоприятной, и тогда он прошмыгнул в магазин стандартных цен.

VIII

– Не я ж обратно не пролезу! – шепнул Жоашен Леско.

– Да сто пудов пролезешь! – сказал Эрве.

– Да он проходит, – сказал Вио.

– Говорит же что не пролезет, – сказал Мари-Антуан.

Стоя на коленях у окошка, Эрве еще раз осмотрел подвал мадам Арно. Он сердился: забыл взять фонарик, потому что вылазку запланировали на вечер. Но в этом сраном подвале темно хоть глаз выколи.

К счастью, он уже несколько раз ходил на разведку и мог все описать Жоашену.

– Ну почему? Если голова пролазит, значит, и все остальное пролезет! Ты пролезал решетки еще и погуще!

– Не, не пролезу! – повторил малыш Леско.

Она разбили стекло и открыли одностворчатое окошко. Оно было очень удачно расположено. Садовая стена, какие-то кустики, что-то типа пристройки и сам дом закрывали обзор. Нельзя было только выпрямляться. Соседние домики находились совсем близко. Из дворов доносились детские голоса.

– Он сдрейфил! – сказал Вио.

– Ну да, что с тобой?.. Боишься сесть в тюрягу? Но они нас не заметут! Если будем пошустрей!

Жоашен Леско покачал головой. Тюрьмы он не боялся. На этот счет он был совершенно спокоен! Гильотины тоже!

– Если не хочешь спускаться тогда кирдык, –

сказал его двоюродный. – Остается только смыться. Значит, все накрылось медным тазом. Причем из-за тебя.

Нет, Жоашен не хотел, чтобы все накрылось медным тазом. Он решил наконец признаться, почему отказывается:

– Там. Из-за этого, – сказал он, тыча указательным в глубь подвала.

– Да что там такое? – сказал Пеллисон. – Ничего нет. Ты запросто спрыгнешь. Даже невысоко. Ничего нет!

– Есть! – недовольно крикнул Жоашен. – Ты что не видишь? Всю эту п-паучью тину?

– Пауки? – растерянно сказал Мари-Антуан.

– На потолке, – сказал Вио.

– Ну ты и дебил! – сказал Пеллисон Жоашену. – Ничего нет все чисто. Мы бы ее увидели, если б ее было видно! Паутину твою!

– Я тоже сейчас увидел паучью спину, – сказал Перефикс, подойдя ближе. – Она большая.

Эрве вздохнул:

– Жоашен? Слушай ну давай!

– Мари пусть он пойдет, – сказал малыш Леско.

– Не знаю, – сказал Мари-Антуан. – Страшновато.

– Во скока хрычовка вертается? – спросил Ален Вио, начиная терять терпение.

– К ужину, – сказал Пеллисон. – Часов в восемь. Но она не старуха, а мадам Арно.

– Убьем ее? – предложил Вио.

Эрве не нравилось, как все начиналось: ему было не до шуток. Шайка выходила из-под контроля. Но он не собирался так быстро сдаваться. Дом его манил, возбуждая аппетит. Как заставить кого-то из мелких спуститься? Что пообещать?

Чем пригрозить?

– Жоашен, слушай… – снова начал он.

Ребенок отказывался наотрез. Он сказал:

– Нет. Надо просто пролезть в другом месте.

Ночью они бы, конечно, попробовали. Жалюзи не закрывались. Залезть на подоконник, разбить стекло и открыть окно – проще простого. Но сейчас – нет. Кто угодно мог увидеть. Однако с наступлением темноты появится слишком много помех: вернется мадам Арно, мадам Леско будет волноваться, что Жоашен не пришел на ужин, родители Перефикса перепугаются, оторопеют, кинутся всем звонить… Сейчас или никогда.

– А ты Ален уверен что не пролезешь между этими прутьями? – с отчаяния спросил Пеллисон.

– Ну да, ясен перец, пролезу, – сказал Ален Вио.

– Так чего ж ты ждешь ослиная твоя башка?!

– Просто я не хотел, – пояснил Вио.

– Не хочешь, значит? – сказал Эрве. – Ну и псих!

– Да нет, пауки меня не парят, – сказал Вио.

Хоть бейся головой об стену, подумал Пеллисон. Просто дурдом какой-то. И зачем он только связался с тремя мелкими. Эрве взглянул на часы. Он их не украл: это был подарок на первое причастие, которое прошло совсем недавно. Родители не обманули сына: часы были суперские. Двадцать минут седьмого.

Вио попробовал просунуть голову. Зазора между прутьями едва хватало. Мальчик попытался еще раз, но начал уже со ступней. Он вставил ноги целиком в пустоту, изогнулся, подтянул зад и вдруг испугался, что застрянет. Эрве страховал его, пока он спускался. Послышался звук прыжка. Леско следил за всем с большим интересом. Он никогда не думал, что Вио такой шустрый.

– Ну и куда мне теперь идти? – спросил Вио, запыхавшись.

Эрве Пеллисон описал маршрут. Надо было добраться до двери, ведущей из подвала на площадку перед садом, и отомкнуть ее. Когда все будет готово, Вио им сообщит: трое остальных на четвереньках прокрадутся к двери.

Все произошло очень быстро. Вскоре банда Леско оказалась уже на месте.

Незамужняя мадам Арно была добрейшей женщиной, преподававшей математику в техническом коллеже. Она хорошо знала Эрве Пеллисона, которому давала здесь же частные уроки. Каждый вторник, если не было занятий, она уезжала после обеда либо в Сен-Реми (она жила в северо-западном пригороде), либо на континент. В этот день она редко оставалась дома, особенно в теплое время года.

Домик, который она снимала, был обустроен замечательно, почти шикарно. Детей это смущало. Когда грабишь, как все нормальные люди, ночью и при этом убиваешь, всё кажется необычным, и потому чувствуешь себя свободно: совершаешь множество трудных и причудливых телодвижений, которые даже не отрепетировал, проявляешь большую находчивость и не боишься темноты, ведь ты находишься по ту сторону включенного фонарика. Если сталкиваешься с обитателями, то запугиваешь их – впрочем, если застичь их в такое время, вид у них всегда неважнецкий и глупый.

Здесь же – ничего подобного. Снаружи – конец прекрасного июльского дня, атмосфера школьных каникул, приличные дворики, а внутри – добродушная, приветливая обстановка. Казалось, ма-

дам Арно, едва услыхав, как мальчишки выбираются из подвала, выйдет из гостиной, радушно их встретит, предложит чашку шоколада и яблочный пирог. Она будет старательно причесана, в туфлях на высоком каблуке, с накрашенными ногтями. С улыбкой пожалуется, что пока еще не на каникулах – из-за экзаменов и массы других обязанностей. Она поблагодарит их, что навестили, и любезно проводит, а на пальцах останется запах ванили, сливочного масла и сахара.

– Что надо красть? – испуганно спросил Жоашен Леско. – Лично мне ничего неохота!

Он увидел, как Ален Вио, вместо того чтобы все кругом обоссать, стал искать туалет, схватившись за ширинку.

– Самое интересное – это деньги, – сказал Эрве. – Я знаю, у нее их куры не клюют.

– Откуда? – спросил Жоашен.

– Сам видел, – сказал Эрве Пеллисон.

– Значит, – сказал Вио, – она сквалыга, скряга, жлобина. Собирает на общак.

– Что-что? – спросил Перефикс. – Так она ворует?

– Скупердяй – это не тот, кто ворует! – сказал Пеллисон. – А тот, кто припрятывает, эх, Мари!

– Угу, скупердяйка, угу, – подтвердил Ален Вио.

– Но она ж все равно их где-то для начала взяла, перед тем как они у нее появились? – настаивал Жоашен Леско, которого ошарашила эта история о деньгах, хранившихся дома у классной дамы.

– Она работает, – сказал Пеллисон. – Ей платят!

– Угу, платят, – ухмыльнулся Ален Вио. – Училка угу!

Тем временем Эрве Пеллисон стал осматривал мебель в гостиной. Ничего не было заперто на

ключ. Гостиная примыкала к крохотной столовой с круглым столом, обильно украшенным резьбой: он служил письменным мадам Арно, которой редко доводилось убирать книги, тетради и письменные принадлежности, чтобы расстелить скатерть и разложить приборы.

Вио рассеянно поворовывал, как будто что-то жевал без аппетита. Он брюзжал:

– Не по приколу когда не ночью и даже никого нет. Не по кайфу. Не кайфово. Все заранее видно. Как будто у себя дома. Просто остались одни.

– Ну у меня совсем не так! – сказал Пеллисон. – Надеюсь, она не положила свою капусту в банк. Потому что я ничего не нахожу.

В старинных и скромных виллах этого пригорода обычно имелся мансардный этаж – довольно редкая для острова планировка. Дети поднялись посмотреть на спальню мадам Арно. Им понравилось: полумрак, теснота, страх оказаться в ловушке, если кто-то появится внизу. Грабеж снова обрел остроту. Однако они все равно не решались переворачивать выдвижные ящики, ломать или пачкать вещи. Загрустив оттого, что ничего нельзя унести и оставить себе, Мари-Антуан с опаской смотрел на остальных. Лучше бы ему поручили какую-нибудь черную работу: сносить вниз груды простыней, ковер или стенные часы, считать носовые платки, пачки денег. На самом деле налет разочаровал своим идиотизмом и нудностью. Мари-Антуан уже не понимал, что в этом такого уж забавного. (Гораздо интереснее, к примеру, в темном закутке перебирать с вредной девчонкой фигурки для вырезания.)

У Эрве вытянулось лицо.

– Ни хрена нет, – повторял он.

– А что ты хочешь на них купить? – спросил Жоашен Леско. – Зачем тебе бабки?

– Просто чтобы их иметь! Ты хоть врубаешься что с ними можно сделать? – сказал Пеллисон.

– Нет, – признался Жоашен. – А что с ними можно сделать?

– С ними можно делать все, что захочешь! – сказал Пеллисон.

– Угу, чё хочешь! – подтвердил Вио. Жоашен все равно не понимал. Он не испытывал тех головокружительных и загадочных потребностей, которые двоюродный брат и Ален Вио, похоже, ценили превыше всего. Жоашену с утра до вечера навязывали чужую волю. Но воровство привлекало его, так же, как и Мари-Антуана, развлекательностью, переменой обстановки, физической сноровкой, а не чужим добром: он больше не мог этого скрывать. Брал и возвращал вещи на место.

– А сколько надо? – неуверенно спросил он.

– А угу кстати, скока? – сказал Вио.

– Я без понятия, – сказал Эрве. – Я знаю, что она их прятала, не мог же я сосчитать! Как ни крути!.. Нет, для нас лучше деньги. Так практичнее.

– И еще Рокену снести, – сказал Ален Вио. Пеллисон не ответил.

Во время сиесты Юго Грандье приснился жуткий кошмар. После смерти жены он часто испытывает комичный страх одиночества. Его преследует мысль о вампирах. Он готовится к внезапным появлениям и нападениям со спины великанов с черными львиными или алыми тигриными мордами. Он боится темноты, закутков и вообще интерьера собственного дома даже при дневном свете. Жилище оглашается слишком гулким эхом.

Но его сон до сих пор от этого не страдал. Он

спал долго и крепко, оставляя включенным ночник, дабы ослабить тоску одиночества. Ни снов, ни внезапных пробуждений.

После той ужасной сиесты он опасается, что его фобии станут теперь отравлять даже часы беспамятства.

Тем не менее мсье Грандье не чувствует угрызений совести. Он постоянно думает о жене, но думает с удовольствием. Это скрашивает его тусклые дни, успокаивает и утешает, когда он возвращается домой и проявляются его дурацкие фобии. Он все больше и больше скучает по старой мадам Грандье. Напыщенные ритуалы, чопорные шутки, ничтожные причуды, банальные удовольствия, пустая болтовня, скучное настроение, бездушные хорошие манеры – этот механический мир был, в конечном счете, наиболее цивилизованным: ведь мы наслаждаемся покоем лишь на плоских изображениях. Все это казалось пустым? Совершенно верно. С тех пор как мсье Грандье обитает в пустоте, сотворенной им самим, он чувствует всю красоту предыдущей. Он ненавидел пустоту мещанства? Теперь у него осталась лишь пустота смерти.

Помимо этих поразительных открытий, Юго Грандье не находит в себе сил для того, чтобы восстановить положение вещей, которого он сам себя лишил. Ему бы не составило большого труда раздобыть робота, попугая, мумию и в последний раз пережить идиотский покой, разрушенный его же руками. Никаких материальных препятствий. Таких старух, как она, на свете больше, чем таких стариков, как он. Но он утратил энергию. Что-то больше не отзывается. Его ностальгия аккуратно занимает ограниченное и фиксированное место

ностальгии: она не видит перед собой, да и не хочет никакого будущего. Нечего начинать заново. Нечего пробовать. Мсье Грандье просто дрейфует по направлению к смерти, и его тоска по хорошим денькам – приличное занятие, надлежащее для тех дней, которые даже не назовешь плохими. В действительности единственная неприятная, неуместная неожиданность – это его фобии, приступы паники, а теперь вот и кошмары. Вероятно, они свидетельствуют о том, что мсье Грандье боится самого себя и того, безусловно, неотвратимого и уже близкого отвратительного события, что таит в себе его стариковское тело.

Вскоре после похорон жены он уволил служанку. Люди оценили этот изящный жест. Теперь его хозяйство вела опрятная нищенка, отслужившая свой век, слабоумная и почти немая. К несчастью, она почти не умела готовить, и скоро Грандье заменит ее экономкой, которая будет за ним ухаживать и ночевать в городе. Мсье Грандье представлял себе прекрасные тяжелые, гладкие, белые телеса, которые прячут некоторые старухи с увядшей кожей и скрипучим голосом. Он предугадывал, что эта безымянная, почти абстрактная плоть могла бы заинтересовать его гораздо больше, нежели свежесть незрелых плодов. Молодухи такие надоедливые! Старуха, подставляющая свою толстую жопу точно так же, как она подносит супницу, жаркое, твердый пирог: вот что его устроило бы. За деньги.

Возможно, этого хватит, чтобы вернуть спокойные сны и прогнать обратно в их гротескную вселенную чернокожих вампиров с львиными мордами. Между стариками возраст не имеет значения.

Мсье Грандье довольно часто встречает комиссара Лоржа, который расследует волну молодежной преступности, захлестнувшую всю южную часть острова. В их беседах иногда возникают предположения о возможной двойной игре, которые доставляют удовольствие Юго Грандье и заставляют его как никогда прежде презирать «легавых».

В самом деле, Грандье – и только он один – знает, что нападения, грабежи, налеты, невольные убийства – дело рук очень маленьких детей. Полиция, конечно, почуяла и пришла к логическому выводу, что речь идет о несовершеннолетних, хотя это и нельзя доказать. Поэтому она ищет в возрастной группе намного старше, где можно ежедневно откапывать больше виновных, чем требует правосудие. Именно это упорное стремление отлавливать правонарушителей там, где им место (среди простонародной шпаны от пятнадцати до двадцати лет) вызывает у Грандье наибольшее отвращение в расследовании комиссара Лоржа и его свиты.

Нет, ни один хулиган не оставил у мсье Грандье ни мотоциклетного шлема, ни дешевого дрянного щитка. Ему хочется направить комиссара Лоржа на верный путь, и он отмечает мелкобуржуазный, нелепый, противоречивый и «пеший» характер некоторых дел. Но комиссар противопоставляет им более кровожадные случаи, в которых Грандье уже не чует «своих» воришек. В конце концов, когда совершается новое преступление, даже если оно описано лишь в двух словах в прессе, Грандье наперед знает, идет ли речь о «его» ребятах или о подозреваемых комиссара Лоржа. Тогда он испытывает прилив нежности и умиления: «Ну вот и

мои сорванцы». Его собственная безопасность на кону не стоит – они тоже не станут закладывать его как убийцу. Говоря объективно, их делишки заслуживают примерно столько же внимания, что и хулиганские выходки. Даже их бестолковость или хвастливость не сразу бросаются в глаза. Из-за своих бесчинств и перегибов они достойны точно такого же осуждения, как и прочие. На самом деле Грандье любит и выслеживает их, потому что они напоминают ему о нем самом и его собственном преступлении. Что-то ненасильственное, неуголовное, каков бы ни был характер происшествий. Мсье Грандье полагает, что благодаря этому дети так же неуловимы, как и он. К тому же, поклянись он комиссару Лоржу, что то-то и то-то сделали малолетки, это нисколько бы им не повредило и ничуть не помогло легавым. Где и как их искать? Разве что поймать в западню или застать с поличным. Когда птицы разоряют плодовое дерево, обычно говорят «это же птицы» и палят без разбора. Но указать на виновных… Грандье думает и вновь твердит про себя:

– Только бы они сами не наделали глупостей.

Теперь он, можно сказать, живет с ними заодно. И приписывает им много лишнего. В действительности происходит нечто заурядное, лишенное тех красок, которыми он все это расцвечивает. Пресловутая волна преступности – неважно, кого она за собой увлекает и откуда исходит, – это, разумеется, лишь порыв пыльного ветра, ведро грязной воды, выплеснутой на застывшую грязь. Но, поскольку мсье Грандье способны напугать вампиры и кошмары, еще одно заблуждение ему не повредит: так он поднимает себе моральный дух. Его-то ценности никогда не подешевеют. Дух и

рать.

Прошли задержания. Допросы. Сплошная банальщина. Даже самая низкопробная пресса почти не удостаивает их вниманием. Это слишком часто повторяется: плоды воображения лучше воспроизводятся, они крупнее и удобоваримее, преступность нагоняет на людей тоску, они предпочитают детективы с продолжением. Публика очнулась лишь на пару дней, когда сообщили об изнасиловании маленькой девочки возле Рош-Нотр-Дам. Возраст довольно соблазнительный, хотя уже и вполне заурядный: девять лет (в Перу или Пакистане девятилетние девочки уже становятся женами и матерями, если верить газетам). Однако ее не убили и даже не особенно принуждали, и она выдала виновных, которым ничего не грозит, даже если их опознают и арестуют: в двенадцать лет – ни капли спермы или крови. Семьи презрительно отвернулись от этого дела. Испытание для пасторальных, захолустных нравов. Что-что, изнасилование? Журналисты всё раздувают.

– А я срал на тебя пехом, верхом и на тачке!

– А я ебал тебя под парусом и на моторке!

– А я трахал тебя с водой, маслом и горчицей!

– Да хватит уже, наизусть всё знаем, – немного стесняясь, сказал Доминик Сеньеле. Он передал бутылку «мартини» дальше.

– А я с белизной и шваброй из тубзика, – сказал его брат Жан-Батист, даже не услышав его.

– А я срал на тебя в носках и в зонтике! – сказал находчивый Бенуа Гассе. Его младший брат рассмеялся:

– А я на одной ноге и без рук!

– А я, уф, я ебал тебя задом наперед!

Это сказал, немного запнувшись, Франсуа Буа-

тар. Братья Гассе, которые за словом в карман не лезли, застали его врасплох: эти буржуи быстро смекали что к чему.

– А я в духовке, на пару или на шампуре!

– А я черным и цветным!

– А я на море, в горах, на лодке и на луне!

– Да что я делаю с этой мелюзгой! – вздохнул Доминик Сеньеле. Он не умел или не решался импровизировать, участвовать, боясь опозориться, не быть лучшим, показаться недалеким – как будто в этом и заключался весь смысл.

– Чё ты делаешь? – заорал Буатар. – Элементарно: тебя трахают рукой и автоматом, на фотках и в кино, по часам и по минутам, по радио и… э.

– По телику! – спокойно продолжил Бенуа Гассе.

– Угу а я ебу тебя с винтом и с реактивным двигателем! На полке и на сиденье!

– На стремянке в гамаке!

– На кляче с великом!

– Письмом и открыткой!

– Не я тебя ебу в пилюлях и в свечах!

– А я с картошкой-фри!

– А я с чесноком и луком!

– А я голышом-одетым!

– А? – сказал Жан-Батист. Он выпил пока больше всех. Его не тошнило, но в районе лба очень быстро кружился какой-то очень твердый шарик. Тем не менее его неожиданно охватила неудержимая потребность помолчать и распустить ремень. Доминик мгновенно понял, что брату плохо: он уже привык читать по лицу самого младшего – Филиппа. Подойдя к Жану-Батисту, он шепнул:

– Это не из-за «мартини»?

– Чё? – спросил ребенок. – Просто я…

– А ты Доминик скажи хоть раз! Ты ни разу не сказал! – закричал Франсуа Буатар. Доминик пожал плечами. Шкеты и правда его достали. Они были такие… неугомонные, ни конца ни краю. Собрать вместе столько ровесников с похожими характерами – все равно что открыть в доме все краны, которые потом невозможно закрыть. Франсуа сказал:

– А если я скажу что срал на тебя в бутылке и в банке и порошком и в тюбике?

– А я квадратом треугольником ромбом трапецией?

– А я в Москве в Париже в Пекине в Риме?

– А я что ссал на тебя на автобусной полосе?

– А я что гадил на тебя с нос илок?

– А я с нос орога?

– А я с клюв илок?

– А я с рубильника гасильника? А я тебя слов лю-муха?

– А я тебя слов люлька! Я тебя…

– Тш! Харе! – взмолился Доминик. Он поискал глазами бутылку аперитива и почти сурово сказал:

– Дураки вы, что столько бухаете. Потом бодун будет.

Ребята возразили, что ни к чему еще не притрагивались. Бар на вилле действительно оказался так хорошо оснащен, что было от чего упасть замертво меньше чем за час. Вилла была дачей парижской семьи, приезжавшей туда два-три раза в год. Весь пляжный район покрыт подобными имениями. Добрая их половина сейчас пустовала. Ребята решили опробовать одну наобум – не грабить, а просто насладиться комфортом, повеселиться, собраться вместе. Их немного напрягал

свой щепетильностью обломист Доминик. Никакого убытку не будет. Они даже перчаток не надевали.

Братья Гассе были в восторге от приглашения. Франсуа Буатар покорил их сердца. Они никогда не произносили столько грубых слов в своей жизни – по крайней мере, друг перед другом. Братья также обнаружили, что все они хорошо им знакомы: ничего удивительного, ведь они ходили в один и тот же лицей. Франсуа удалось удивить и поразить братьев Гассе лишь тем, что он придумывал слова и сочинял выражения. Если ты сын знаменитого преподавателя философии, это наименьшая из твоих обязанностей.

Однако Доминик Сеньеле встретился с детьми впервые, и это было его первое правонарушение. С тех пор как Жан-Батист рассказал ему про старую крестьянку-сердечницу и раскрыл все секреты их банды, Доминик испытывал смешанные, болезненные чувства. Он понял, что Жан-Батист, наверное, преувеличивал свою ответственность: старуха умерла вовсе не от того, что увидела Жана-Батиста. Но ребенок, который сначала поклялся брату порвать с бандой и отказаться от всякой преступной деятельности, не сдержал своей клятвы. Напротив, он мало-помалу начал подстрекать Доминика к участию в своих странных выходках. Сделал его свидетелем некоторых подвигов, например, кражи с лотков. Мораль Доминика в основном складывалась из робости, чистоплюйства, страха перед телесными или эмоциональными наказаниями. У Жана-Батиста не было ни одной из этих черт характера, и поэтому вполне естественно (понял Доминик), что он отваживался совершать поступки, которые считал невинными.

Тем не менее Жан-Батист пока так и не сумел втянуть своего брата. К тому же банда раскололась на множество неформальных групп: встречались они только случайно, больше ничего вместе не затевали и больше не существовало армии, куда можно было завербовать Доминика или любого другого новичка.

Это банкротство было вполне естественным: все началось непреднамеренно и без определенной цели, а продолжалось наобум. Было заметно, что сыну Глера хотелось создать точно такой же небольшой отряд, как сейчас, и даже командовать им. Лишним был только Доминик. Его возраст, разница в росте с четырьмя остальными и т.д. были несущественными неудобствами. Но, несмотря на свою доброжелательность, он выказывал слишком глубокое отвращение ко всем тем вещам, что возбуждали парней и приносили им удовлетворение. Он напоминал пяти-шестилетнего малыша, простодушного, туповатого и затурканного.

– А ты говорил, что будут консервы! – вежливо пожаловался Камиль Гассе. Все проголодались.

Запасы на кухне за продуктовым оказались буквально нулевыми: крупная соль, остатки мутного уксуса, пара пакетиков с эльзасскими дрожжами, мучная и крахмальная пыль, посреди которой разбросан мышиный помет. Опомнившись, Жан-Батист вдруг встал и напыщенно воскликнул:

– Я знаю!

Все посмотрели на него с гипертрофированным вниманием и преувеличенно замолчали. Мальчик неторопливо раскрыл свою мысль:

– Есть дом … Когда люди делают запасы… Они

хранят жратву…

– Да! Да! Да!

– Тогда они хранят ее… в… подвале.

Последнее слово вызвало разочарование. Они никогда о таком не слышали. Курортники, туристы прячут в межсезонье в подвале недоеденный зеленый горошек, охотничьи соусы, пачки лапши? Неправдоподобно. Жан-Батист наклюкался, набухался, нализался, наквасился – он кирной, косой, лыка не вяжет, на бровях, под газом! Ребенок возразил:

– Неправда! Некоторые собирают целую кучу…

– Банок с камамбером, ну еще бы!

Но они все же встали и начали искать подвал.

– Хорошо бы так перепробовать все хаты.

– Угу. И если не слишком сильно свинячить, люди даже не вызовут легавых.

– Угу, это то что надо слы! Ничего не портить! Шито-крыто! Кемпинг!

– Какой с этого толк? Не-не! Надо портить! – возразил Франсуа. – Все поломать! Все выпить! Устроить бардак! Иначе чем мы тут вообще занимаемся? Тогда я лучше дома посижу.

На вилле не было подвала в собственном смысле слова – только одна-единственная бетонированная комната в полуподвале, где находились бойлер, верстачок, несколько ящиков шампанского.

– Разобьем или выпьем?

Эта серьезная проблема вызвала долгие дебаты. Доминик ратовал за то, чтобы ничего не трогать. Бутылки были теплые. Уже вечерело. Братья Гассе охотно бы выстрелили парой пробок, но только ради развлечения – без питья и битья стекла. Но Франсуа и Жан-Батист выступали за разру-

шение и грохот. Доминик настаивал: чем серьезнее ущерб, тем выше риск, что полиция схватит их за задницу, когда это обнаружат отдыхающие. Если хоть один житель района вспомнит, что видел, как тут рыскала их шайка…

– За задницу? – закричал Буатар. – Нас? Задница схватит по лицу? Что-что? Никогда! Никогда! Полиция – она…

Он выразил свою мысль сложной гримасой с шумовым сопровождением. Тем не менее братья Гассе присоединились к мнению Доминика, а Жан-Батист беспокоился лишь об одной непосредственной опасности – поздно вернуться к Сеньеле – и потому утратил пыл. Оставшись без публики, Франсуа Буатар тоже был вынужден отступить.

Юмьер оказался вовсе не таким букой, каким его все считали, – Морису Глера пришлось это сегодня признать: они с Лорой пригласили старого интеллектуала к себе на ужин, и, вопреки всем ожиданиям, Юмьер согласился. Правда, с началом школьных каникул Сен-Реми расставался с самыми блистательными своими гражданами; префектура на другом берегу была в этом отношении ничуть не лучше, а Париж – даже хуже. Вероятно, Юмьер с его нелюдимым нравом и привычками домоседа просто изнывал от скуки. Но, несмотря ни на что, Глера решил, что любезность старого чудака как-то связана с его собственной крепнущей репутацией. Юмьер у тебя за столом – это конкретное, если не сказать осязаемое, доказательство общественного успеха, ведь об этом все узнают.

– Поначалу я думал… мм… назвать эту пьесу… «Одноглазая дива»… понимаете… аллюзия, в общем…

– Дорогой! – сказала Лора Буатар. – Что за чушь!

– В самом деле, дурацкая идея, – буркнул Юмьер. – А… текст – такого же пошиба?.. Плагиат, пародия или шарж?

Вечер был просто великолепен. Оставалась лишь проблема с детьми. Они провели день на пляже (отлично, что они все-таки соблазнили малышей Гассе), но должны были вернуться с минуты на минуту: Глера не знал, выносит ли Юмьер юных девушек и маленьких оболтусов. Это маловероятно, ведь он всячески афишировал жгучую ненависть к мальчикам и девочкам из выпускных классов. Ходил слушок, что он любил лишь детей младше трех лет. В сердце каждого мизантропа живет нянечка. Зачахшая беременная женщина.

– Текст… мой дорогой Юмьер… текст… Просто представьте меня в тридцать, тридцать пять лет… Девственника, нужно сказать, девственника… Текст! Ах!.. Я помню лишь первых реплик, это…

– Первые реплики, а не первых реплик, – перебил Юмьер.

– Нет-нет-нет! – раздраженно вскрикнул Глера. – Я настаиваю на «первых реплик», которые вас так возмущают! Я на этом настаиваю! Разве не… Мм. Ведь…

Морис чудесен, думает Лора Буатар. Он пьет лишь легкое шампанское со смородиновым ликером. Он верховодит. А другой – старый пердун. Конченый алкоголик. Реплик. Реплики. Реплик. Я помню моих воспоминаний. Я вспоминаю моих памятей. Болван. Пьет как конь. Вонючий конь. Серый. Скелет.

– Это?.. Или… ко…

– Да, – сказал Юмьер, беря «это», то есть шампанское. На нем был нелепый галстук-бабочка преподавателя музыки, беловатая рубашка, синеватый костюм, чрезвычайно толстые черные туфли с закругленными носками, которые даже по ковролину гремели, словно сапоги.

(«Надежные башмаки. Агресс. Страх бах. На све. Он. Огромные суда… как… Шалавы. Говорят на арго шаланды. Шалавы. Нет. Не. Колыбели. Ступенька в. Бронированные колыбели. Окованные. Блокгауз. Босой расплачется. Захнычет мамочка. Уронит аккордеон. Ему. Страшно».)

– Ну и сохранилась у вас эта ваша «Близорукая дива»? – ухмыляясь, спросил Юмьер. В его любезности было что-то мерзкое.

– Разумеется, нет! Нет!.. Мм… Я даже думаю, что никогда ее не перечитывал. Складывал бумагу стопками, стопками…

Морис Глера лгал. Он аккуратно подшил свое первое произведение в толстую папку вместе с остальными: перечитывал его без стыда и смаковал наедине с собой всякий раз, когда испытывал потребность в абсолютном литературном удовольствии. Ни один текст не был окончен. Глера не считал себя писателем – это, скорее, был один из этапов его эволюции, один…

– Это был всего лишь… мм… этап, писанина… шаг на пути – на станем бояться этого обесцененного слова, дорогой Юмьер, – на пути к зрелости. В нем есть… инфантильность, мм… есть… мм… литературность, которая…

– Дорогой! – воскликнула Лора Буатар. – Я не разделяю этого мнения! Морис должен, – понимаете, Юмьер, – должен писать.

– А после этой истории с лысой вагиной или

что там еще? – вежливо спросил старый профессор.

– После, ох… Как и все писатели, я ее боюсь, – небрежно сказал Глера. Ему хотелось узнать, не марает ли бумагу и Юмьер. Такая пустая жизнь. Не может же он все время только то и делать, что читать. Ах да, загадочные посетители. Тайные интриги. Макиавеллевские планчики, старательно составляемые на страницах записной книжки, которые тут же сжигают. Благосклонность сильных мира сего. Небылицы. Старый педант заставляет в них верить. Последыш почтенного рода, поскребыш, защищенный своей фамилией. Ветер, дым.

– Доброго дня. Доброго дня! – сказал вошедший Франсуа-Жерар, передразнивая отца. – Что?.. Опять шампанское? Ну и денек!

Он узнал мсье Юмьера, которого часто видел в лицее. Очень низко сидевший старик протянул ему костлявую, скрюченную, точно клещи, руку и позволил ее пожать, не сжимая руки ребенка.

– Амели-Лиан не с тобой, дорогой? – спросила Лора.

– Не-а! Трахается в городе! Наверно, с обоими Гассе!

– Франсуа-Жерар, сын мой… – вмешался Глера, – я был бы… нет, не скажу рад или счастлив… в общем… пожелание… глубокая радость… чистейшая… которую ты выказываешь сегодня вечером… мм… да, нашему гостю, конечно… но также и нашей радости, я сказал и повторяю… поэтому, если бы ты продемонстрировал нам… чрезвычайную утонченность своих манер… своей речи… словом, не мог бы ты быть повежливее? Осыпать нас… мм… наслаждениями?

В монологе Глера была некоторая натянутость,

Франсуа это почувствовал. Вот невезуха. Его шалость, его новое преступление не принесли удовлетворения: ведь ему хотелось разгромить виллу. Вместо этого он обречен весь вечер прикидываться скучным ребенком, чтобы помочь отцу охмурить какого-то старого пердуна. Пытка. В конце концов он подчинился:

– Уфф, ладно, папа, – сказал Франсуа-Жерар с утрированным раскаянием и комичной досадой. – Я и сам знаю, что должен зарабатывать себе на корку хлеба!.. Тем не менее Амели-Лиан действительно с ними – с Гассе. Понятия не имею почему, но она там. Бедные малыши! Я бы на их месте… я бы наложил в штаны.

При этом он бесцеремонно налил себе шампанского с малиной и рухнул поперек кресла.

– Дорогой, а она хотя бы указала час… Но только не говори, что она… только ради Бенуа и Камиля… Ты же любишь придавать парадоксальность своим высказываниям? – спросила Лора Буатар. Сегодня вечером она решила быть немного по-матерински грубоватой, властной. Франсуа наверняка поймет это по ее тону. Он хорошо чувствует обстановку.

– Ну так вот, – не спеша начал Франсуа. – Мы все оставили Амели на пляже.

(«Ладно. Хорошо. Он понял. Какой зануда. Юмьер бурчит. Так и надо. Он их ненавидит. Пьяная рожа. Амел. трахается с малышом Ка. и малышом Бе. Пип-пип-пип. Достать. Салаты. Чтобы чуть-чуть оттаяли. Еще не сказал ни одной умной мысли это старый п. Лет через пятнадцать я тоже. Тот же образец. У меня будет костюм от Шанель. Сохрани светлый ум ради. Него. Пусть он верит что. Но ах да. Очень хорошо, Амели очень. Кар-

лица председателя Гассе. Баюкать ее по одной под каждой рукой. Значит Амели залетела. Талантливая молодая девушка. Настоящая кобылица. Какие круги под глазами Франсуа онанирует. Для мальчиков нет пилюль. Хотя правда».)

– …и если мадам Гассе захочет оставить ее на ужин, то она позвонит, ну а я приму аспирин птамушта.

С перепою голову мальчика тисками сжимала мигрень. А еще хотелось вздрочнуть, прежде чем садиться. Но из-за боли это удовольствие оказалось мучительным: прострелы, колотье. Хотя бы поужинать с запахом спермы на пальцах – сдобрить еду и разговор. Нет, даже этого не вышло. Он с утра помылся: она так быстро не вырабатывается. А запах ануса Франсуа не нравился. Паршивый, препаршивый вечерок. Она встал.

– …и решился нам признаться, что он шакалил в Службе общей информации!.. Вот так загадка!..

Глера поднес бокал к губам. Юмьер соизволил ухмыльнуться. Общая информация. Вот те на. Чего только не придумают.

– Тридцать шесть подчиненных, – подхватила Лора Буатар. – Представляете, Юмьер, чего только не выудишь на нашем несчастном островке! Крамола!.. Наверное, ему платили сто франков в месяц!.. Или в год!

– Пикантно, – сказал Юмьер.

– Весьма пикантно! – подхватил Глера. – Представляю себе характер… мм.. его связей, э… Супрефект привез, мм, из Великобритании, надувную куклу, мм, в британском стиле… длинные зубы ни грудей ни задницы, улыбка и габариты, мм, герцогини Виндзорской… ха-ха-ха. Выпускают желтыми или из шотландки.

– Ха-ха. То, что ты говоришь об англичанах, Морис, это абсолютная ложь! – сказала Лора Буатар. – Но вообще-то, да, связи этого бедняги Сенглена… Полагаю, громкий смех… Ведь в самом деле…

– Я ценю, – сказал Юмьер. – Бедняга Сенглен – вы сами это сказали.

У себя в комнате Франсуа упал на кровать и расстегнулся. Он рассеянно потеребил член, не зная, о чем подумать. В первую очередь он ждал, чтобы подействовал аспирин. Вермут, выпитый на вилле, многократно поднимался волнами растительной горечи, охватывавшей даже ноздри. Его ужасала перспектива с минуты на минуту сесть за стол. И разговаривать. И слушать. И отвечать. И смотреть. Его не тошнило. Бокал шампанского, который он осушил, скорее, успокоил желудок. Дурнота была более абстрактной. Он… ему надоело быть ребенком. Можно выразить это так. Франсуа думал о пузырьках.

Четыре или пять раз в году Лора Буатар становилась бесстрашной кухаркой. В таких случаях она нуждалась в привередливой, неудобной, грозной публике – тогда под ее вдохновенными пальцами, словно по волшебству, рождались салаты из сардин с абрикосами, кролик с ванилью и устрицы в сливках с каштанами. Ее охватывал творческий порыв. Она отважно ваяла блюда, обычно их не пробуя: приберегала сюрприз на потом. Лора Буатар обладала «даром» и уверенно двигалась вперед. Берегитесь ее невинного домашнего цыпленка, ведь пока она задумчиво крутила его в руках, перебирая содержимое холодильника, на нее вдруг снисходило вдохновение. Берегитесь овощей, ракообразных и специй. Самые безобидные

консервы могли превратиться в смертоносное оружие. В этом все опасности и вся красота Искусства. Кто ищет, тот, увы, найдет.

Однако в тот вечер она обуздала свой талант. У этого брюзги Юмьера, вероятно, были устаревшие кулинарные вкусы, и она не хотела его обидеть. Она приготовила всего парочку холодных блюд, ну а потом они с удовольствием пожарят шашлыки на балконной решетке для барбекю. Пустячок, но чистенько и легко переваривается.

Зазвонил телефон. Это была Амели-Лиан. Она сообщила, что поужинает у мадам Гассе, которая тоже обменялась с Лорой Буатар любезностями. И что вы будете есть?

– Какие учтивые, прелестные люди – эти Гассе! – сказала она, положив трубку. – Но мы останемся без Амели-Лиан.

– Гассе? – переспросил Юмьер. – Рыбные промыслы, ага. Ах, верю вам. Кругленькое состояние. Черный рынок, доносы, рэкет. Давняя история. Зато сегодня – очаровательный мужчина. Отличное знакомство, отличное. Семья будущего. Традиция. Всё.

Этот комментарий вызвал неловкость. Все знали о том, что Юмьер только что сказал. Зачем напоминать об этом, ворошить прошлую вражду, да к тому же разве сам Юмьер водится только с невинными людьми? Знатное лицо есть знатное лицо – со всеми «за» и «против», и пусть тот, кто никогда и т.д. бросит в них и т.д. Впрочем, по сути.

– Вы меня пугаете, Юмьер… – наконец сказал Морис Глера. – Эта манера… это желание… какая непримиримая…

– Лора, уфф, па, чё-то мне неважно, ну короче неважно, – сказал вновь вошедший Франсуа. –

Лучше я спать пойду. Не могу есть. Меня… качает. Буэ. Как его. Морская болезнь. В голове.

Ему разрешили удалиться, и всем стало спокойнее: Юмьер чуть ли не побледнел при появлении мальчугана. («Эта утробная ненависть к. Ко всему. Ко всему. Что он любит. Стерильный. Мертвый. Что конструктивного в том. Ничего. Ничего. Чистое отрицание. Слепец. Рот. Швабра. Развалина. Сволочь. Вот слово. Сволочь. Я об этом. Догадывалась. Вот слово. Надо бы, надо бы не. Морис опирается на. Нет. Ложный след. Единственный надежный знак – любовь. Опираться на. Секрет успеха. А не сгусток ненависти. Чтобы уверить в своем ясном уме. Что если он говорит, то».)

– Какая жалость – мне очень нравится ваш сын! – внезапно сказал Юмьер. – Очень милый мальчик. Прелестный. Наверное, педерасты от него без ума. У вас еще не было неприятностей такого рода?

В раздражении Морис Глера покровительственно улыбнулся:

– Франсуа-Жерар, мой дорогой Юмьер, в том возрасте, когда… мм… дружба, мм… конечно, страстная, но… совершенно чистая…

– Нет-нет, – ухмыльнулся Юмьер, – я говорю о том, чтобы подставлять задницу для щипков. Для нападения, не так ли. Он очень… признаюсь, я…

– Это было бы для него, – напыщенно сказал Глера, – большим интеллектуальным приобретением – о, каким! Но… вопрос, так сказать, словом, взаимности… Вы об этом подумали? Ведь… я считаю его… мм, довольно задиристым – это мой сын… Мм.

Они рассмеялись. Юмьер признал, что у него не хватит юмора и любви, чтобы подставлять свой

зад мальчишке для щипков. Но тем не менее – да, прехорошенький. Он действительно понимал тех, что помоложе да посмелее… Снова пришел Франсуа:

– Мне капец. Капец. Признаюсь во всем. Признаюсь. Выкладываю всё. Это мой смертный час. Хха. Отрава с диким вкусом… Нет э, можно мне выйти на улицу? Под-дыш-шать? Иначе буль-буль. Спасибо, Морис!.. До свиданья, мсье.

Он вышел. Пожирая его глазами, Юмьер сказал:

– У знатоков, Глера, следовало бы спрашивать, что они предпочитают: лицо или зад. В двенадцать лет и то и другое… одно стоит другого. Божественная страсть.

Это ироническое замечание задело хозяев. Они снова наполнили бокалы, а затем отметили, что с самого своего прихода Юмьер не произнес ни одной фразы, которая была бы откровенно им неприятна. Похоже, ему понравились, в частности, место, шампанское, диван, и он позволял Глера разглагольствовать, не только не перебивая, но и подбадривая.

– Этот июль выдался прохладным, – сказал он. – Вы скоро уезжаете на каникулы? Я никогда не покидаю Сен-Реми. Не так ли. Что толку искать необитаемый остров у черта на куличках, если у тебя всё это под рукой. Я остаюсь дома. Среди своих.

На улице Франсуа глубоко вздохнул. Но не из-за своей мнимой дурноты, а из-за тревоги. За минуту до этого он решил уйти из семьи – перестать кривляться. Уйти сразу и молча. Ему ведь ничего не будет, если он когда-нибудь вернется. Написать им завтра письмо, чтобы не боялись. Проведут

пару бессонных ночей – это послужит им уроком.

Куда идти? Франсуа не знал, где хаза Жюльена. У кого выяснить? В такое время суток трудно зайти к корешу и не напороться на родаков.

Франсуа решил дождаться завтрашнего дня. Спросит у Гийяра. Переночует на улице.

Да нет же. Почему бы не наведаться к Гассе? Будет похоже на шутку. Он застанет сестру и других за столом. Стянет чего-нибудь похавать – ну и, возможно, деньжат. Подобьет Камиля пойти с ним – тоже сбежать. Они спокойно пойдут спать на виллу, которую ограбили сегодня вечером.

План был превосходный. Франсуа обязательно должен уговорить кого-нибудь из Гассе, возможно, даже обоих. Родаки у них такие культурные, что неожиданное появление младшего брата Амели-Лиан их не смутит. Но надо поторапливаться.

Франсуа пересек оживленный район. Несмотря на веселые планы, ему было грустно и одиноко. В городе полно туристов. Богатые отдыхающие выглядели счастливыми. В основном парочки. Потрепанные люди молодились, точно родители Франсуа, и окружали друг друга карикатурной нежностью, шаловливостью и любовью, к пятидесяти годам получив наконец хорошее место и приличное жалованье после полувекового монотонного рабства. Геронтократия вдруг осенила их своей благодатью: эти пришибленные, помятые, опустившиеся, полумертвые, жалкие существа примеряют маску, голос, убеждения и, несмотря на парики, вставные челюсти, светлую и стройнящую одежду, подражают свободе и свежести, которую отныне стараются задушить и уничтожить в тех, кто помоложе. При геронтократии пятидесятилетний человек наконец-то может жить,

как подросток – порхать, щебетать, «творить», совращать, заниматься любовью. Рассекая толпу богатеев, Франсуа наблюдал этот карнавал старичья, с трудом его переваривая и проклиная. Здесь было все так же, как дома. Он был не просто зародышем, а скорее, невидимкой, потенциальной возможностью. Возможно, через тридцать лет ему таинственным образом позволят родиться, получить зачатки внешности и слабый намек на голос. Франсуа испытывал странную тоску. Он вышел на почти пустынный проспект, ведущий к дому Гассе.

– Да нет не горячий он! Ешьте с краю! – заорала Реймонда Сеньеле. Сама она жадно втягивала ртом собственный суп, постепенно остывавший с краю ложки.

Мсье Сеньеле крутил тарелку и осторожно набирал в ложку жидкость по периметру круга. Это был отменный летний, рыбный суп. Рыбу они съедят потом, в белом соусе с каперсами.

– Ну так что Филипп? – сказала мадам Сеньеле. – Что с тобой? Суп невкусный?.. Что, ммм? Мог бы ответить да или нет. Он невкусный?

– Вкусный, – сказал Филипп.

– Так ешь тогда. Мы не собираемся ждать тебя до утра. Мы почти все доели. Посмотри на братьев они почти все доели.

– Горячевато, – решился сказал Филипп и сильно покраснел.

– Что значит горячевато? Я же тебе сказала бери с краю.

– Объедение, моя дорогая, – сообщил Робер Сеньеле. – Твой рыбный суп – нет, твоя рыбная уха, дорогая – это, тэкскэть, подлинное произведение кулинарного искусства. Объедение. Ммм…

– Пф, пф, – отдувалась мадам Сеньеле, – как же,

разве сравнить с супом из банки! Их провансальские супы – провансальские, ты слышал? Просто спроси у этих сукиных детей, может, им вкуснее суп из банки, ну спроси их! Когда они плюют на все что ты для них делаешь даже спасибо не скажут!.. Два часа уходит на то чтобы приготовить такой суп! Два часа! Представляешь а им начхать! Я им дам суп из банки! Да из банки! Потому что это стоит труда, а это дерьмо!

Этим вечером Реймонда Сеньеле говорила как-то неуверенно. Похоже, в глубине души она была в хорошем, жизнерадостном настроении, но ее вдохновлял и подпитывал единственный тип говорливости, который она могла проявлять: вспыльчивый, стервозный, на грани срыва. Никто не знал, ограничится ли она вздорной, но милой болтовней или скатится в бешенство, крик, настоящую злобу, неистовство.

Филипп ненавидел рыбу, каперсы, супы. Меню этого вечера представляло собой череду пыток. Мадам Сеньеле готовила из продуктов самого низкого качества и по самым дубовым рецептам. В ее руках посредственная пища превращалась в тошнотворную, никакая – в несъедобную, сомнительная – в сущую отраву. Она вовсе не прикладывала столько труда, сколько утверждала: она умела производить все эти метаморфозы одним мановением руки.

Мсье Сеньеле не терпелось выпить вина, он поскреб дно тарелки и широким движением языка облизал ложку с наружной стороны. Он искренне любил супы. Главное – не запачкать скатерть.

– Обрати внимание что я даже позаботилась о белом вине! – с многозначительным упреком промямлила мадам Сеньеле.

– Я заметил, – сказал муж, пододвигая к себе литровую бутылку ледяной желтоватой жидкости. – И еще я заметил, что оно охлажденное. Я оценил. Вполне можно оценить молча. Я оценил, дорогая. Спасибо, дорогая. Я умею благодарить за заботу, которой ты…

– Я не брала высшего качества! – воскликнула мадам Сеньеле. – По таким ценам, какие они заламывают! Тем более что в конце концов это одно и то же. Только бутылка меняется. Только бутылка. Они клеят броскую этикетку и в итоге ты платишь втридорога за то что они тебе просто пускают пыль в глаза. Уж в этом-то они поднаторели, мерзавцы!.. Заметь оно же все равно одиннадцать градусов.

– Точно… совершенно… совершенно верно, – вполголоса ответил мсье Сеньеле. Впрочем, он был в некотором замешательстве: белое вино вызывало сильную изжогу. После пары бокалов придется изловчиться, чтобы снова вернуться к привычному красному – и хрен с ней, с горечью во рту после рыбы. Он съест совсем чуть-чуть.

– Давайте еще осталось! Вы же не оставите мне три несчастных половника? Бертран! Где твоя тарелка? Доминик!.. Ты что еще не доел, Филипп? В чем дело? Хочешь, чтобы я тебя шлепнула? Ты этого ждешь? Ты этого ждешь?

Филипп сказал:

– Нет.

Тем временем суп остыл и был уже не таким противным. Запах помидоров выветрился, вкус ржавчины смягчился, и слышался лишь слабый аромат мочи, как спереди от трусов по воскресеньям (Сеньеле переодевали трусы в воскресенье утром). Филипп больше боялся рыбы. Обычно это

был большой кусок пикши, ошметки и пряный навар от которой, вместе с парой голов и обрезков других рыб, выпрошенных мадам Сеньеле «для кошек» у продавца, служили для приготовления супа – точнее, воды, оставшейся от этой варки, как следует подкрашенной, приправленной и посыпанной мукой, жиже, но еще душистее обойного клея. Крупная рыба с жилистыми волокнами бесконечно долго валялась в тарелке ребенка, нередко предпочитавшего ей оплеуху и пронзительные крики, когда его вдруг резко отправляли спать. Но хуже всего был соус: вода, мука, жир, уксус и мерзкие зеленоватые почки с серенькими прожилками под названием «каперсы». Из всего того, что люди ели на глазах у Филиппа, но что он сам не считал съедобным, эта приправа занимала одно из первых мест. Мать, напротив, обожала ее, не задумываясь, выбрасывала на нее деньги и приносила ее в безвозмездный дар.

Дабы разнообразить рецепт, в тот день мадам Сеньеле поместила рыбу вместе с каперсами и соусом на противень, посыпала липкую поверхность тертыми сухарями и поставила всё запекаться. Она любила полакомиться такими вкусностями. Еще мадам Сеньеле сварила на сильном огнем порезанную на кусочки картошку, которую называла «отварной». Придется всем этим давиться под страхом грозы, войны и стенаний.

Обжоры Бертран и Жан-Батист были довольны. Не столь прожорливый Доминик попытается избежать ненавистной «добавки» и наверняка нарвется на ругань: его обзовут дистрофиком. Неизвестным оставалось лишь то, как поведет себя Филипп и какая участь его ожидает.

Тем не менее летом совместные трапезы были

спокойнее, чем во время учебного года. Мадам Сеньеле становилась невнимательной. Домашних переманивали хорошая погода, пляж, палисадник. Чужое присутствие меньше ее стесняло, и, если только ребятня уходила орать куда-нибудь подальше, она сдерживала и собственные вопли.

Сеньеле уезжали в отпуск во второй половине августа. Автомобильная поездка продолжалась две недели. Они изучали континент. Мсье Сеньеле просвещал свою семью. Луга, дороги, поля, домашние животные, «мишленовские» карты, буфеты, поставленные в известных местах, старинные города, плотины (отец проявлял упорный и неожиданный интерес к водоемам, истокам рек, водопадам, озерам, ледникам и ущельям), исторические музеи, жилища великих людей, фольклорные и пикантные праздники, резьба по дереву, региональные костюмы, местные вина и домашняя водка – все служило предлогом для того, чтобы загрузить семью в машину, и нескончаемыми дорожными днями, когда нужно было, сидя в неудобном положении, смотреть, слушать и молчать, он делился с неблагодарным потомством удивительными познаниями, выуженными из путеводителей, автомобильных журналов, рекламных буклетов виноделов, тягомотных и выспренних стихотворений в прозе, сочиняемых в турагентствах.

Этот познавательный отпуск таил в себе лишь угрозу для здоровья, для желудка Филиппа – раз за разом. Включая его последующее влияние на настроение мадам Сеньеле. Поэтому, покидая остров с удовольствием, они очень быстро пресыщались туризмом и с облегчением возвращались назад.

– Да поживей блядь горячо блядь! – завопила Реймонда Сеньеле. – Поставьте подставку сюда! Блядь да им начхать что мне горячо да сукины дети им насрать!

Мадам Сеньеле поставила на стол блюдо с рыбой, еще раз взвизгнула и выронила тряпки, которыми защищала руки. Она осмотрела ладони, дуя на них: обожглась своей же едой.

Затем к ней вернулось шутливое настроение. Мсье Сеньеле опорожнил бутылку белого вина, разлив его старшим. Бертран снял пробу с кислятины и почувствовал запах старого грюйера, поднимавшийся из промежности: сегодня он не ходил на пляж. Бертран изучал дрянную брошюрку под названием «Грамматика любви», написанную каким-то врачом. Автор осуждал, в частности, минет, называя его «отвратительным оральным сексом». Это выражение настолько взволновало и потрясло Бертрана, что он несколько раз с остервенением сдрочил. Слово «отвратительный» оказалось слишком удачным.

Полина Амбрез приготовила шприц.

– Вашего внука нет дома?

– Этого шалопая, – сказала старуха Вио, – разбойника этого? Да вы что!

Она вздохнула. Когда ей делали укол, она не церемонилась: задирала юбки до талии, поворачивалась задом, спускала панталоны из суровогo полотна и хлопчатобумажные трусы. Врачихе Амбрез всякий раз приходилось подавлять смех. Старуха наклонялась вперед, опираясь о спинку стула. Как человек, привычный к боли, но не придающий значения ни чувствам, ни стыдливости, она громко вскрикивала: «Ух!», когда вонзалась игла, и больше об этом не вспоминала.

– Он должен хотя бы прийти покушать? Ален? – спросила Полина Амбрез, медленно опорожняя шприц.

– Ничего не слышу, когда спиной! – крикнула старуха Вио. Врачиха повторила с нажимом и дидактизмом.

– Ох да он придет пожрать! – сказала старуха. – Ох да! Ох это да. Как крыса приходит пожрать. Как крыса. И, погодите он подберет все дочиста! Дочиста – при условии, что украдет! Вот так!..

– Это хорошо, что он кушает! – продолжала кричать Амбрез тем же голосом. – И вы тоже – хорошо! Нужно хорошо кушать и хорошо какать! Важно хорошо какать! Очень хорошо!

– Ах нет ну и ну нет моя милая не скажите несладко приходится! Это уж нет. Бывают неважные дни! Совсем неважные.

– Вы кушаете слишком много картошки! Фасоли! Свинины!

– Да нет же, – возразила Вио, – нет же! У меня даже рези от нее! От фасоли! Нет же! Скажу вам как на духу: слишком туго хожу! Все забито! Вот так! Не знаю где оно там забивается, а потом пойди разберись! Твердое, как камень!

Она выпрямилась, оправила юбки, отряхнулась. Врачиха Амбрез любила остаться и поговорить, но обычно приходила не так уж поздно. Ее график менялся в зависимости от долготы дня.

Обе женщины добрались до кухни. Мадам Вио предложила аперитив – апельсиновую настойку, которую она разбавляла очень холодным красным вином. Старуха налила себе и гостье по полстакана. Напиток слегка отдавал сырой печенью, секрециями желез.

В эту минуту появился Ален Вио. Старуха руг-

нулась на него, показала кулак. Охламон! Вио даже не поздоровался с врачихой Амбрез, а поднялся к себе в комнату, придерживаясь одной рукой за перила, а другой расправляя под свитером пухленький сверток.

Его комната находилась на чердаке крошечной хибары. Старуха не могла туда подняться. Вио скрывал там не поддающуюся описанию, разношерстную добычу – богаче и ярче сокровищ сорочьего гнезда. Впрочем, эта коллекция была ему безразлична.

– Что ты там снова прячешь, вредная мартышка? – крикнула старуха. Она успела заметить выпуклость под свитером.

Неожиданно врачихе Амбрез захотелось взобраться по лестнице и осмотреть это логово. Она спросила разрешения. К ее удивлению, Вио согласился. Бабка многословно одобрила эту «инспекцию» и уселась.

Вио быстро спрятал под матрасом принесенный сверток: Пеллисон в конце концов нашел копилку мадам Арно, и Ален Вио тотчас потребовал свою долю. Эрве будет хранить у себя доли Жоашена и Мари-Антуана. В общем, Вио получил девять тысяч франков сотенными купюрами – девятьсот тысяч франков, как сказал бы Жоашен. Завтра Вио подарит всю сумму Жюльену Рокену.

Он долго, но односложно говорил с врачихой Амбрез. Та обратила внимание прежде всего на мусор, а не на коллекцию ребенка. Ее растрогало то, что его удалось приручить. Она искренне его любила. Вио почти не выдавал своих чувств. Он был смущен, недоверчив, горд. Ощутил внезапный прилив нежности к врачихе, но не подал виду. Они расстались в удивлении.

В тот же вечер на солеварне восточного побережья обнаружили труп папаши Рокена. Его зарезали.

IX

По окончании очень короткого расследования арестовали Симону Рокен. Газеты обнародовали историю Жюльена.

Зарезанный отец, исчезнувший ребенок, бешеная и сумасшедшая (по мнению соседей) мать – начиналась другая эпоха.

Из казармы отозвали двух старших сыновей. Все увидели этих красивых парней, здоровенных и недоверчивых. Они хмурили брови и ни о ком не говорили ничего дурного. Они напоминали засланных шпионов.

Все имущество принадлежало отцу.

Поскольку новое дело поручили комиссару Лоржу, он решил объединить его с теми, что он уже разрабатывал. Комиссар предположил, что Жан Рокен был – как это часто случается – извращенцем, которого убил блатной. Вероятно, как-то вечером этот господин Рокен попытался изнасиловать своего младшего сына Жюльена, из-за чего тот потом сбежал из дома. Ведь нормальные отцы насилуют дочерей, о чем по секрету рассказывают социальные работницы, которые вращаются в этой среде и жалуются, что на тысячу семейных изнасилований (как правило, тысячу инцестов) приходится лишь десять случаев, принимаемых к рассмотрению в судах высшей инстанции. Лишить мужчину родительских прав? Это хуже аборта.

Да, к счастью, размышлял комиссар Лорж, дело Рокена было делом об извращенце. Можно понять несчастную супругу. Стараясь не навредить тури-

стическому бизнесу, мсье Лорж приказал задержать и допросить нескольких ребят из Сен-Реми, прослывших «дырявыми» и продажными. Это давало массу оснований для того, чтобы их побеспокоить, но ни одного повода для обвинения. Досадуя в глубине души, комиссар Лорж был вынужден махнуть рукой на виновных, которых так хотелось заполучить. По крайней мере, он нагнал на них страху: в следующий раз хорошенько подумают, прежде чем кого-то убивать.

Он переключился на Симону Рокен. Бой-баба, тут все понятно. Супружеская измена? Разумеется, это удобное объяснение уже не работало так, как раньше. Действие наркотиков? Экспертиза сельскохозяйственных культур не выявила у Рокенов ни конопли, ни мака. Сумасшедшая? Психиатр описал ее как супругу и мать, «пылко увлеченную» этими двумя обязанностями. Пришлось отпустить.

Жана Рокена никто не затаскивал на солеварню. Судя по очень четким следам, он там гулял. Но сам убийца явно ступал по траве и резервуарам.

Если, конечно, убийство не было совершено каким-то необычным способом. Доклад о вскрытии – сложный, мудреный, чуть ли не озадаченный – очень скоро пролил свет на всё. Всё, за исключением личности убийцы.

Медики были удивлены разнообразием ножевых ударов. Размеры, глубина, расположение, сила удара вызывали в памяти пробковую мишень, изрешеченную разнокалиберными дротиками. Детское преступление.

Можно было заключить, что мсье Рокену, вероятно, назначили на этой солеварне встречу: записка, подлежавшая уничтожению, где говорилось

о соблазнительном свидании. Любовница? Сын? Кто знает – женщина? Сделка? Шантаж? Смысл жизни.

После работы, но перед ужином он пришел сюда. Пешком. Пятнадцать-двадцать минут от дома в его возрасте. Он никого не обнаружил. Неожиданно полетели стрелы (перочинные, кухонные, скаутские ножи…). Он потоптался на месте, повернулся, но ничего не увидел. Наличие воды в легких доказывало, что из-за ударов ножом, нанесенных вблизи или на расстоянии, он потерял сознание, но не умер. Жан Рокен захлебнулся, лежа лицом вниз в резервуаре с морской водой. Затем с него сняли дротики.

Гипотеза о множестве нападающих воодушевила комиссара Лоржа. Но времени подумать не было: из Парижа приехали вести расследование вместо него. Богатеи устали. Они обратились к центральным властям. Все ликовали и ждали череды арестов, как когда-то в деревнях, через которые проводили ссыльных, ожидали прохода каторжников, перекатывая слюну во рту и камни в ладонях, подготавливая ругательства, позволяя себе всевозможные жестокости и крики, которые до этого себе запрещали. Люди из Парижа разыщут и подвергнут пыткам тех, кого жители хотели видеть осужденными. Потом все скопом поедут на другой берег, чтобы присутствовать на процессе. Они заорут во всю глотку, если судьи не захотят подтверждать виновность арестованных. В обществе, основанном на неравенстве, всякий, кого коснулась полиция, становится козлом отпущения. Легавые кого попало не берут: уязвимость для них сама по себе означает виновность. Вы невиновны лишь в том случае, если полицейский

и судья устремляют туманный взор к горизонту, пока вы занимаетесь тем, на что дают вам право ваше богатство, известность, знакомства и возраст. Свобода и закон продаются тому, кто предложит лучшую цену.

Тем не менее по острову топтался уголовный розыск и его отборные парижские части. Это было слишком уж по-деревенски. Несколько местных блатных – ночные кафе, «Сфинкс-клуб», гашиш, сдержанное давление на коммерсантов, оптовые цены на рыбу и мясо, незаметные внушения чересчур добродетельным журналистам, нематериальная поддержка избирательных фондов господствующего класса, простодушное внедрение на заводы и в профсоюзы – блатные, истинные муравьи-труженики действующего строя, как раз-таки ни о чем не беспокоились. Что же касается дела Рокена, эти господа из Парижа решили, что самым простым и справедливым решением, которое в конечном счете лишь совсем немного навредит виновному, но зато утихомирит взбудораженные умы, станет убийство из ревности. Надо было посоветоваться с Симоной Рокен. Убедить ее, что она убила мужа (швырнув в него семейным столовым серебром – слово «семейный» спасает ситуацию – без намерения его убить: он захлебнулся водой, это доказано). И что она совершила эту попытку убийства, закончившуюся трагически, однако абсолютно невинную с точки зрения намерений, из-за того, что Жан Рокен кадрил местную шпану. В самом деле, убийство такого мужа заслуживает оправдательного приговора.

Шпана? Симона Рокен взбесилась. Тогда она рассказала о Фуйу. Легавые, перестав выдумывать, раз уж им наконец выложили факты, горячо

заинтересовались ревностью мадам Рокен. За пацанкой следили всего пару часов. У нее было свидание с папашей Гийяром. Арестовали обоих. Полиция растерялась: Фуйу была в гостях у старого ремесленника не одна. В псевдобретонской столовой, выложенной плитами из стружки под массивный дуб, сидела еще некая Клодин Морайон, тринадцати с половиной лет, ее подружка. «Розовый» балет на дому у маляра: остроумные журналисты отвели душеньку. Немного однообразная палитра, писали они, когда уже наступит «голубой» период? История пришлась на каникулы, надо было ее продать.

Папаша Гийяр покончил с собой в камере ночью после ареста. Марк, его четырнадцатилетний или около того сын, которому грозил детский приют, сбежал и бесследно исчез. Двух бедных девочек поручили совместным заботам медиков и монахинь: все было поправимо.

Жюльен улыбнулся:

– Так ты Гийяр завязал? Больше его не трогаешь?

– Нет, ты чё. Зачем.

Они собирались сменить хазу. Развалившийся дом был слишком опасен. Чересчур много народу внутри. Чересчур много шпиков в округе. А теплое время года позволяло всё. В то утро они поняли, куда уйти. Жюльен засиял от внезапного восторга.

– Птамушта ты этим занимался. Зуб даю! Ты помнишь!

– Ну я завязал, – сказал Гийяр и скорчил постную мину.

– Твой батя помер. Мой тоже, – снова сказал Гийяр.

– Нет, – сказал Жюльен.

– Что – нет?

– Нет. Не могу тебе объяснить. Но это не то же самое.

– Чё? Это то же самое. Нам капец.

Жюльен не обратил на его слова внимания:

– Твой покончил с собой.

– Да. Ну да. Ну и зачем ты это говоришь. Суки.

Марк Гийяр покачал головой с таким видом, будто говорил: слишком тяжело об этом трындеть. Это, это…

– Мой батя, – продолжил Жюльен, звонко и удивленно засмеявшись, отчего даже стал подсюсюкивать. – Это не то же самое!

Он был таким спокойным и доброжелательным, словно хотел обнять всех и крепко, неловко расцеловать в щеки:

– Моего убили!

Он расхохотался.

– Вот. Моего-то убили!

Марк Гийяр покачал головой:

– Давай давай Дракула. Скажи еще что это ты его грохнул. Давай.

Он вздохнул. Какая убогая у этой малышни фантазия. Грудничок, кричащий от голода, поднимает больше крику, чем только что убитый. Задолбала эта малышня, задолбала: считает, у нее еще вся жизнь впереди. Эх, подумал Гийяр, хера им.

Жюльен снова деликатно улыбнулся: он не сердился.

– Нет это не я. Во-первых я не знаю кто. Во-первых легавые тоже. Они говорят что он захлебнулся. Замочил шнобель. Так говорят.

– Ты не ссы Дракула, – буркнул Маркс Гийяр.

Жюльен покраснел, и ему резко захотелось по-

казать Марку свою изуродованную спину. Теперь, когда здесь появилось столько жильцов, приходилось забредать очень далеко, чтобы раздеться, помыться, поплавать. Другие ребята ходили на солнце с голым торсом (хотя из-за гетеросексуальной дрессировки заносчиво стеснялись собственного низа). Жюльен так не мог. Ему пришлось бы рассказать. Истерзанная спина напоминала на ощупь рельефную гравюру с виноградом. Он всегда оставался в рубашке и плавках.

– У меня мамаша в тюряге, – добавил он.

– А моя покойница, – сказал Гийяр.

Эта перепалка была бессмысленной. Марку хотелось горевать – Жюльен был счастлив. Один ушел в подполье поневоле, другой – по собственному желанию.

– По-любому ты помнишь чем занимался! – сказал Жюльен, похлопав Марка по ширинке.

– Да блядь же, блядь, я тебе сказал блядь отвали блядь! – закричал Гийяр. Он уже раз пошарудел членом в пизде у Фуйу. Разве мог он теперь снова впасть в заблуждения, разделять иллюзии мальчиков-колокольчиков?

– Если так уж зудит пойди найди себе шмару! – жалобно сказал он.

Лицо Жюльена тотчас стало ледяным. Он обиделся. Ничего не ответив, сплюнул на землю и ушел.

Он никому не сказал о деньгах, принесенных Аленом Вио. Сумма была невиданная. Он еще никогда не лелеял планов, связанных с деньгами. Ведь они воруют в лучшем случае самое необходимое, но ничем таким не владеют. Теперь это богатство не вдохновляло мечты, а наоборот, их душило. Оно словно говорило: «Жюльен, сделай

что-нибудь со мной. Не больше, но и не меньше». Собственные мечты Жюльен не мог перевести в деньги, а его личные подсчеты были пустяками по сравнению с этими девятью пачками.

В своем нынешнем наряде он не решался показать сотенную бумажку в магазинчике. И только кассирши супермаркетов брали ее холодно, не обращая внимание на предъявителя. Они насмотрелись на такие купюры предостаточно.

Но если бы Жюльен пошел куда-нибудь купить, оплатить товар или целую груду товаров, стоившую дороже одной бумажки, его бы сразу заподозрили, повязали, допросили. Неслыханное богатство Алена Вио можно разве что раздробить: оно равнялось нескольким сотням краж с лотков, и его почти так же трудно потратить, как сложно осуществить все эти кражи. В самом деле, деньги неотделимы от тех, кто обладает правом на них: они устроили всё так, чтобы любой другой, расходуя те же суммы, выглядел самозванцем. Жюльен был беден как никогда.

Остановившись у крупной скалы, он посмотрел на трех новеньких. Все были старше, возможно, за исключением того с милыми большими ушами – Камиля. Они собирались купаться.

С тех пор как эти ребята появились здесь, Жюльен ощущал весь груз прожитого. Он был рабочей лошадкой. «Бывший» задавака и тугодум, которого вы встречаете в камере, куда вас бросают. Его избегали как самого младшего. Побаивались, как сумасшедшего. А теперь его даже подозревали в убийстве собственного отца, что было приятно, но подпитывало ауру подозрительности. Дети не умели разговаривать друг с другом. Да и кто мог их этому научить? Тем не менее каждый надеялся,

размышлял, ходил вокруг да около, прощупывал почву, играл роль одиночки, страдал, раздевался догола, начинал ненавидеть. Каждый сбежал из нездоровой среды, из своей семьи, и все оказались вместе с калеками, заикались, хромали – здесь никогда не родится ни единого слова, никогда не изобретут ни единого жеста. Слишком поздно. Стук костылей, протезов, фантомные боли в ампутированных конечностях, стальные скобы и болты в черепных коробках, вставные зубы, накладные носы, стеклянные глаза: уцелевшие дети притворялись, будто видят, трогают друг друга, беседуют. Это были самые расторопные и боевитые из недобитков. Все показывали друг другу еще не выколотый глаз, пока не отрезанную руку, еще не расквашенный член, граммульку мозгового вещества, которую пока не удалось извлечь и сжечь и которая самостоятельно пыталась всё понять, восстановить, спасти, чуть ли не полюбить, заново придумать весь мир.

Но никто из банды, помимо Жюльена, подобного не испытывал. Он чувствовал пустоту, фальшь, кривлянье, старания, страх, тухлятину: ребята, даже Гийяр, казались ему сделанными из того же теста, что и взрослые, от которых сбежали. Они, разумеется, не были плохими.

Жюльен решил их покинуть. Он уложит вещи и деньги и скажет, что уходит на новую ночку, а сам отправится гораздо дальше.

Он вообще уйдет с этой части острова. Она слишком густонаселенная. Риск повстречаться с другими ребятами, с врагами слишком велик. Жюльен двинется на север. Разбросанные деревни, земледелие, никаких пляжей, портов, полиции – только лес , рельефы, множество навсегда

брошенных хуторов: он станет искателем приключений, который открывает и захватывает неведомые земли. Он принципиально не будет пользоваться своими деньгами. Воровать на природе, в домах, на фермах практичнее и безопаснее, ведь его никто не увидит. А когда покупаешь, наоборот, приходится светиться.

Франсуа Буатар безраздельно властвовал над двумя братьями Гассе. Он безнаказанно их развращал – это был фарс. Они позволили себе отдых дикарями. Имели полное право. Родители простят. Они им написали.

Братья Гассе сомневались, что им охотно даруют прощение, как уверял Франсуа. Эта шалость их восхищала, но вызывала и сильную тревогу. Им не хватало каких-то убедительных доводов. Игра в потерпевших кораблекрушение приносит несчастье без родительского благословения.

Франсуа отметал все эти страхи. Бенуа и Камиль – хлюпики. Пусть хорошенько выпьют, если ссыкотно. Разве они не весело, резво, идеально проводят дни? Разве им здесь не лучше в тысячу раз, чем где угодно? Они еще никогда не были такими большими. Могли полностью обходиться без взрослых. Жрали, что хотели и когда хотели. Они надирались. Ходили полуголыми. Никогда ничего не стыдились. Спали, как короли (они набрали на виллах кучу постельного белья и домашней утвари). Пусть эти сопляки Гассе возвращаются к своей мамке, Франсуа не станет следовать их примеру. Они свободны!

На самом деле Франсуа понес бы большие потери, если бы Бенуа и Камиль вышли из игры. Втроем они составляли маленький костяк из буржуйских детей-лицеистов, значительно отли-

чавшихся от остальных ребят. Даже у тех, кого Франсуа знал уже давно, например, у Гийяра или Рокена, изменились характер и повадки. Ну разумеется: у них крупные неприятности. Они жили вместе лишь в силу необходимости. Их будущее было мрачным и беспросветным. Если бы Франсуа пришлось остаться с ними одному, долго он бы не продержался. Что же касается ребят, которые приходили на хазу погулять, но не ночевали там, Франсуа нечего было им сказать. Это же друзья Гийяра, полушпана в куртках с заклепками, козлы из пригородов. Франсуа их боялся и даже ненавидел. Они игнорировали их шайку богатеньких сынков или насмехались над ней. Они еле сдерживались, чтобы не набить морду всем троим, и отчитывали Гийяра за то, что он вообще их принял; ненависть была взаимной.

Сам Гийяр был загнан в угол. Собственные планы большого налета теперь уже его смущали. Он считал себя подлым и виноватым. Опасность, прежде неопределенная, после ареста и самоубийства отца обрела явственные, пугающие черты. Реальность сделала шаг навстречу. Законы подтверждали свою силу. Что делать? Могло ли большое дело на несколько миллионов улучшить положение? Марк сомневался. Но, даже если разбогатеть, куда идти, где жить, чтобы не вызывать подозрений? Почти на четыре года единственным прибежищем для Гийяра станет сиротский приют – или что-нибудь похуже. В противном случае ему придется все это время скрываться в подполье, жить в одиночку и бомжевать. У него не хватало на это смелости.

Ребята из Рош-Нотр-Дам недавно провернули две очень мощных деляги: за одну ночь и на од-

ной и той же фешенебельной улице Сен-Реми они ограбили сперва аптеку, а потом, заметив почти рядом магазин ножей и оружия, с лихвой затарились и там. Кража лекарств не была их собственной инициативой. Их подбили кореша постарше, давшие список медикаментов и ориентиры. Потом они перепродадут их как наркотики, навар будет нехилый. Шкеты ударили по рукам. Ну а оружие – это ради удовольствия. Карабины, пистолеты, кинжалы. Смак. Они подарили Гийяру красивую волыну калибра 6,35 с патронами. Марк оценил эту любезность. Иметь оружие, носить его в кармане – это вызывало глубокое удовлетворение, словно револьвер был целым миром в миниатюре, с непривычной геометрией, который можно в любую минуту развернуть и туда сбежать. Эту запасную планету, плотную и твердую, Марк мысленно связывал с первой крупной передрягой. Он совершил долгую прогулку, чтобы потренироваться стрелять в тайне от остальных.

Парни из Рош-Нотр-Дам, несмотря на их неотесанность, наряды и пугающие рожи, на их голоса, уже агрессивные и грубые, как у желторотых легашей, были хорошими и смелыми чуваками, думал Гийяр. Жаль, что с ними пока еще не налажены связи.

– Но почему? Почему? Ну ты можешь мне наконец сказать почему? – спросила Лора Буатар у дочери.

Это стало ее рефреном, с тех пор как Франсуа исчез вместе с малышами Гассе. Отношения между семьями вовсе не охладились, а наоборот, упрочились. Об ответственности они поговорят потом, ну а сейчас надо отыскать детей. Найти и понять.

Председатель Гассе оказался меж двух огней. Дело Фуйу было весьма неприятным. Эта абсурдная смерть маленьких людишек. Так просто не замять. А масса происшествий с самой весны приковывает к себе внимание всего острова. Все твердят о какой-то напасти. Светлые дни миновали.

Следствие по делу Фуйу всё прояснит. Председателю нечего бояться таких крайних мер, как повестка в суд и допрос: от этого-то он застрахован. Но злым языкам помешать нельзя. Он даже узнал, что ему приписывают, будто он переспал с подружкой Клер Фуйу, тринадцати лет или около того. Возмутительная клевета. Людская злоба. Как опровергнуть?

Итак, ни полицейских ни судей он не увидит, но отныне его привычки будут известны всем и каждому. Важная составляющая его общественной репутации, карьеры и устремлений загублена.

С другой стороны, бегство обоих сыновей. Их, конечно, увел за собой малыш Глера, сын интеллектуалов. Но это влияние даже кажется председателю Гассе абсурдным. На острове найдется очень немного детей, с кем обходились так же хорошо, кто был так же обеспечен и доволен жизнью. Спокойные, послушные, чуточку скучноватые. Мсье Гассе не мог поверить, что за этой ровной пассивностью и воспитанностью могли скрываться мятежные, испорченные личности, которых распалила бы тройка глупостей, предложенных недалеким парнишкой. Бенуа и Камиль не сбежали. Немыслимо. Их похитили.

Гипотеза похищения (при котором малыш Буатар выступил в роли приманки) наиболее приемлема. Председатель Гассе разрабатывает ее вместе

с женой. В связи с этим он обнаруживает, что мадам Гассе испытывает лишь весьма сдержанный и поверхностный интерес к своим сыновьям. Оставляя ее без внимания, он предполагал, что она хорошая мать, находившая утешение в этой роли. Однако на сей раз мадам Гассе с нею не справляется. Исчезновение ребят ей ужасно неприятно. Она прекрасно понимает, почему ее муж не решается прибегнуть к крайним средствам – растормошить полицию и т.д. В похищение она не верит: за это время уже должно было прийти требование о выкупе. Похищение извращенцами исключено: сразу трое детей, двое из которых, насколько можно судить, вряд ли способны вызвать страстное чувство… Нет, они просто дурачатся: они вернутся. В письме они говорят правду. Мадам Гассе только надеется, что они не совершат слишком много правонарушений и возвратятся пораньше, чтобы она смогла отправиться в запланированное путешествие: она мечтает посетить Индонезию. Там очень красиво вышивают.

Председатель Гассе в конце концов принимает эту прозаичную версию событий. Раз уж его сыновья действительно послушно вернутся со дня на день, он просто нанимает частного сыщика, чтобы тот слегка прочесал остров. Попутно он интересуется строгими, но при этом изысканными коллежами в Швейцарии или в Иль-де-Франсе. Мадам Гассе одобряет этот план сурового интернирования. Но пусть они сначала вернутся!

Лора Буатар занимает совершенно иную позицию. Ее сын не является и, возможно, даже не станет ничьим наследником. Она не допускает и мысли об авторитарном воспитании. Ей претит обращение в полицию или хотя бы в частный

сыск. Но она непременно хочет понять. Переварить. По-писательски восстановить каждый шаг, каждое чувство, каждую секунду внутренней драмы, пережитой сыном и с неизбежностью приведшей к этому побегу. Она еще никогда так много не говорила, тем более дома и бесплатно.

За горой дел, окруживших смерть огородника Рокена, Морис Глера ощутил в себе призвание волхва. Его колонки, начиная с первой, о двух несовершеннолетних девочках, обретают пророческий накал. Он вещает библейским слогом:

«…Ибо эта драма – давайте прямо об этом скажем – ставит перед нами вопрос. Безжалостный вопрос. Вернее, нет – о да, нет и еще раз нет! – она вопрошает нас. И я бы даже осмелился посметь предположить, что тем самым она к нам обращается. Она обращается к каждому из нас всех. Ибо она ужасно – безобразно? ах, помолчите, малодушные, ваше время давным-давно прошло! – ужасно правдива. Не это ли, в сущности, должно вызвать столь поспешное негодование? По совести – ах, не побоюсь этого слова! – следует ответить: «Да». Да. – Да, но… Нет. Больше нет времени. Я должен – мы должны, вы должны – возопить. Ибо поразительная, бессловесная маленькая Ф***…»

Люди ценят поддержку, оказываемую семьям, сдержанность в отношении развратников, приподнятость глубоко возвышенной точки зрения – Глера растет изо дня в день. Эта страстность сельскохозяйственного обозревателя не вызывает усмешки: люди понимают ее в переносном смысле. Глера критикуют либо глупцы, либо те, кто не согласен с идеями, которые отстаивает колумнист. Какие идеи? Было бы бестактно их выискивать. Это, по сути…

– Говорю же тебе, он мальчишка, решил глупо пошутить! – убеждает Амели-Лиан. – Приползет обратно не пойми когда, обложит матом, и делу конец. Молокосос. Противный молокосос.

– Ну, Амели-Лиан, если дело в простом… ребячестве… нет-нет, это невозможно. Он… ты думаешь, он вернется сюда, и мы снова, как ни в чем не… нет-нет. Наверное, он, понимаешь, пережил что-то личное. Что бы это ни было, оно направлено против нас. Против нас! Но почему? Почему?

– Ты ищешь объяснения, как будто он взрослый, – вздыхает Амели-Лиан с раздражением и досадой. – Пытаешься разобраться в его психологии и так далее, смех да и только! Еще хуже, чем папа! Честно, хуже. Если, конечно, такое возможно.

– Не говори так! – возражает Лора Буатар. – По-моему, Морис чудесно держит удар. Чудесно. Ты не понимаешь. Ты называешь Франсуа молокососом, но сама кажешься мне совсем маленькой девочкой, когда пытаешься судить о тех, кто…

– Ладно, понятно, – говорит Амели. – Только если ты перестанешь говорить о Франсуа по той причине, что просто ищешь повода для перепалки, – что ж, старушка, извини, тут я тебя уже не понимаю! Или ты хочешь мне внушить, что лучше сделать, как он? Потому что так я и сделаю в конце концов, если эти сюси-пуси не прекратятся! Потому что если ты хочешь просто насрать на меня сверху, тогда валяй прямо – так будет честнее, а не делай вид, будто тебя заботит твой Франсуа. На которого, между прочим, тебе в высшей степени начхать, и ты это знаешь лучше меня.

После этого выпада Лора Буатар на минуту цепенеет. Сама для себя она полностью отрицает правоту Амели-Лиан: даже не допускает, что слова

девочки могут быть справедливы. Особенно сказанные в таком агрессивном тоне. Но какая резкость! Какая необузданность! Бедная девочка.

– Дорогая, – наконец успокаивающе говорит Лора Буатар, – ты настолько глубоко ошибаешься, что я даже не хочу… Хотя бы пойми, если можешь, насколько ты… И это еще одно доказательство. Еще одно. Ты говоришь о ребячествах, но сама же почувствовала – понимаешь? – почувствовала, какой серьезный протест, какое в сущности значимое событие… а ты увлекаешься, сжигаешь мосты, допускаешь грубость – неприемлемую, дорогая, ведь в самом деле, осыпай меня упреками, какие только приходят тебе в голову – какими угодно, какими угодно, если тебе так легче! – но только, прошу тебя, не упрекай меня в грубости с тобой, с вами. Твоя личность формируется… мучительно, как у всех нас в твоем возрасте… я это понимаю, я знаю, как в этот период может искажаться образ матери и…

– Да нахер! Нахер! Нахер! – внезапно орет Амели-Лиан, вставая и ногой опрокидывая стол с напитками. – Нахер! Пошла нахер со своей фальшью! Пошла нахер со своей психологией! Пошла нахер со своим дебилизмом! Со своим дебилизмом! Нахееер! Вали со всем этим нахер!

Она выбегает из комнаты. У Лоры Буатар вспыхнули щеки, но она не сдвинулась с места. Эти нервные срывы в период взросления, конечно, ужасны. К тому же у Амели Лиан и впрямь нет никакого уважения к ней, Лоре, ломающей себе голову над бегством мальчика. Неблагодарный возраст – допустим, но подобный эгоизм, подобная жестокость… У Амели это не от Мориса и не от нее, это невероятно. От бабки Пинон?

Пятна фруктового сока так трудно выводить с этого шерстяного ковролина. Лора вздыхает. Ее сердце сбивается с ритма.

Жюльен Рокен быстро шагает по тропе над обрывом. Солнце палит, переполняя его силами. Море вдалеке, широкое и закругленное, сверкает ярко как никогда. Его видно целиком. Никаких судов.

В узелке полно всего: что-нибудь украсть не так-то просто, а Жюльен любит комфорт. Он экипировался на диво: особый спальный мешок для яхтсменов – большой, мягкий, непромокаемый, надыбанный ребятами на какой-то вилле. С таким мешком можно заночевать где угодно, стать незаметнее и маневреннее любого зверя. Все необходимые вещи, испытанные, отсортированные и десять раз сложенные, с тех пор как он ушел из дома, отличаются таким же удобством.

Вероятно, благодаря этой удаче изменилось и настроение. Ведь Жюльен так давно мечтал отделиться от остальных. Идеальная возможность. Первый день настоящей свободы. Он идет по нависающему меловому берегу и вдыхает запах Океана, который щиплет в носу и окружает мириадами звезд. Больше не нужно прятаться или где-то останавливаться. С узелком на плече Жюльен чувствует себя королем этого острова. Это уже совсем другой остров.

Летом дела в магазине Тере идут отлично. Милые маленькие девочки обслуживают посетителей. Полуголый Рене таскает грузы, а мсье Тере считает, расставляет, звонит, прикидывает, рекламирует, читает специализированные газеты. Всеми этими работами руководит мадам Тере, ехидно улыбающаяся сезонной клиентуре.

Цифра все равно кругленькая. Оно и к лучшему, осенью не будет никакого дохода. Никак не удается разбогатеть, набрать вес.

Рене целомудрен и несчастен. Он слишком хорошо понимает, кто совершал все те плохие поступки, о которых пишет пресса. Он потерял всякий интерес к протесту. Даже не приходится сдерживать гнев, отвращение, смягчать фразы. Шрам на лице загорел и расширился, как будто пожирнел. Рене кажется, что он придает мужественности. Мальчик отчаянно в этом нуждается. Он считает, что у него совсем крохотный член. Еще он вычитал в карманном медицинском справочнике, что, если трудно залупить головку, это порок развития, который следует оперировать, иначе он незаметно приводит к загниванию. Когда-нибудь из кончика, противно извиваясь, выползут бесцветные блестящие черви. Он не знает, как объяснить родителям, что нужна операция. К тому же в словаре четко и ясно указан ее тип – обрезание. Чем больше заплатишь, тем лучше сделают, а расходы никто возмещать, конечно, не будет (хотя словарь и «практический», авторы не унижаются до разговора о деньгах).

Рене Тере знает и о других своих физических недостатках. Ему сказали, что он бегает так, как будто собирается с разбега упасть на колени. Образ обидный. Еще у него до смешного длинные большие пальцы на обеих ногах, и диспропорция увеличивается. В общем, в зависимости от размера обуви, она либо задевает самолюбие, либо натирает пальцы; этим затруднением, возможно, и объясняется его причудливая поза во время бега, а также растущая скованность в вопросах брака.

Ведь он обязательно женится. После двадцати

пяти. Отпустит густые светло-рыжие «плейбойские» усы табачного оттенка (он еще не знает, что эти усы – лишь излюбленное приложение к мужской щетине). Возьмет в жены очень молодую и красивую девственницу, безразличную к пальцам на ногах и фимозу. Детей у них не будет. Или будут, но, разумеется, при условии, что… и… Лавочником он не станет. Ему нравится щекотать седалищный нерв лягушек и орудовать винтами микроскопа. Ему бы очень пошел белый халат. Доктор Тере. Наклонности начальника.

Он еще не поделился свой мечтой с родителями. Конечно, это станет для них обузой, тяжким крестом. Но в конце концов они увидят по телевизору, как он оперирует в прямом эфире. Это будет красиво, волнительно – они будут вознаграждены. Он очень ласково улыбнется маленькой девочке, перед тем как ей дадут наркоз, и на экране будет особенно хорошо видна эта приветливая и благородная улыбку. Он будет еще молодым.

Рене ждет осени: он сделает упор на точные науки, станет докой. Преподаватели – новые, ведь он переходит в так называемый «большой лицей» – будут поражены тем, что малый лицей прислал к ним такого необыкновенного новичка. Рене всё понимает. Он всегда подлаживается под каждого преподавателя, в зависимости от его характера. Кроме того, он скромен, усерден, деловит, вдумчив: схватывает на лету всё, что говорит учитель. В крайнем случае он будет переспрашивать:

– Мсье… извините (Рене облизывает губы: он сидит в первом ряду), я не всё хорошо расслышал.

На самом деле он не упустил ни единого драгоценного слова, но хочет показать, что любит и достоин любви. Наивысшая утонченность в том,

что он – первый, лучший, поразительный, уникальный – хочет показаться слабым. Какой прекрасной будет осень!

– Милый мой Тере, ну перестань, перестань!.. Поди, устал, мой мальчик?.. Ну-ка, кто хочет повторить для Тере? Господа?..

Преподаватель старый. Другой подхалим, не столь рафинированный, читает по своим записям (химия или биология: перебивать на математике было бы слишком сложно или рискованно). Учитель говорит: «Ну вот. Теперь записал, Тере?»

Тере жадно, но смиренно облизывается. Уважительно, коленопреклоненно (он знает, что слегка развязно, но это так прелестно!) кивает и тут же опускает глаза. Преподаватель понимающе продолжает сухим тоном. И никаких отклонений после урока: все происходит вовремя… Это-то и нравится Рене: всё есть, а тебе ничего за это нет. Уж он-то не пропадет в жизни. Тем не менее он догадался, что подобной ценой достаются лишь подделки: он станет фальшивым отличником, фальшивым врачом, фальшивым мужем, фальшивым человеком. Но по зрелом размышлении Рене склоняется все же к этому: истина слишком уж нечиста. Лишь подражание создает то, чем никогда не бывает образец: эталон, правило, беспощадную власть. Лучше писать грамматические справочники, а не романы, исполнять чужую, а не собственную музыку, поддерживать только мнение более сильного. Что такое истина? Красота? Справедливость? Условности, даже мании. Тогда следует выбрать те, что овеяны духом времени, дыханием богатства. Бесчестность, низость? Просто слова. Прекрасно всё, что успешно: Рене больше никогда не обманется на этот счет. Поэтому он стал очень

внимательным к родителям, которые (хотя еще совсем недавно это задевало его чувства) поднаторели в этом особом искусстве.

Такой вот жаждой успеха и покорностью судьбе отмечен для Тере первый этап взросления. Пройдет еще пара месяцев, и он узнает, что означает слово «уравновешенность», не говоря уж о слове «приспособление».

– Я… довольна тобой, – сухо заявляет мадам Тере в перерыве между обслуживанием клиентов или в углу за дверью. – Довольна! Я за тебя спокойна. Ладно, не хочу ничего тебе говорить. Но ты увидишь… Ты увидишь, Рене, что между взрослым сыном и матерью, если у них ладится, если они друг друга понимают… Ладно, я ничего не скажу. (Она улыбается, хмуря брови.)

Несмотря на ни что, Рене не хватает совсем немного времени, чтобы можно было слушать ее без отвращения. Но это пройдет.

Косвенные упоминания о бывших друзьях или подельниках тоже не дают Рене покоя. Разумеется, он вовсе не упрекает себя в трусости. Но, хотя проступки (а порой и кое-что похуже), о которых пишут газеты, не вызывают зависти, фантазий или надежд, ему все же одиноко. Рене нравилось с корешами – о них-то он и думает без конца. Обманывает самого себя, зря он из-за этого страдает. Он приукрашивает собственные воспоминания. Похожий на старого бойца, хвалится своими подвигами, поскольку никто не сможет проверить, и не боится, что когда-нибудь придется снова идти в бой. Так гораздо красивее. Рене немного потрепала жизнь, но он выбрал свой лагерь. Еще одно большое лето с семейным теплом, молчаливым согласием, невысказанными просьбами, и он за-

будет даже о боевых ранах или начнет мечтать о пластической хирургии.

У Жюльена нет карты, и он не знает, куда идет. Он никогда не забредал так далеко.

Порой, замечая ухабистую тропинку, ведущую с утеса к скалистому берегу, он хочет спуститься, но вспоминает, что может столкнуться по пути с ребятами или с кем-то еще, а ему охота раздеться до пояса, порыбачить, развести костер, отдохнуть.

Жюльен представляет себе пучины с большими рыбинами и старыми ракообразными. Никто не отважится ступить на эти скользкие, крошащиеся скалы, откуда можно упасть в пенистый и шумный водоворот, но зато вода здесь чистая. Это западное побережье: ни клочка суши аж до самой Америки. Течения с контрастными температурами и противоположными направлениями баламутят этот бескрайний простор, а с небес обрушиваются бешеные ветра, хмельные, словно легкие. Жюльен это знает. Он твердо решил когда-нибудь туда добраться. Спешки нет: ему страшно, и, присев на корточки на мыльной скале, с нейлоновой ниткой в руке, он медленно дрожит от шума, движения, цвета воды. Но все равно пойдет. Выждет. Он создан для того, чтобы сносить лишения и запасаться терпением. Его день обязательно наступит.

Жюльен проголодался. Есть хлеб, банка итальянского соуса, консервный и кухонный ножи. Он слышал о перочинных с восемнадцатью лезвиями или инструментами – только пока не знает ни где их воруют, ни что собой представляют эти складные штуковины.

Жюльен видит перед собой купу деревьев, площадку, поросшую дроком и другими травами. Они

скрипят на ветру. Он прячется там. Ест. Щеки нагрелись на солнце, ведь он вышел в неурочный час. Такой приятный убийственный зной. Возможно, Жюльену охота здесь поспать. Даже воды хватает, и в металлической фляге, обернутой в мокрую тряпку, она вкусная. Он не водохлеб. После обеда вдыхает пары ацетона и засыпает с открытыми глазами, глядя на ветки, качающиеся от светлого и резкого бриза, туманную синь внизу. Он вовремя закрутил пробку и, скрестив руки, осторожно ощупывает живот.

Сестра Эвтаназия вовсе не была невежей. К тому же в заведении соблюдали строгий религиозный нейтралитет. Тем не менее практикующие католики могли присутствовать на богослужении. Остальные, конечно, тоже.

Морайон и Фуйу разлучили, что глубоко опечалило сестру Эвтаназию. Так уж распорядились мать-настоятельница, комиссар, врач, психолог, психиатр, представитель семейного объединения, представитель союза потребителей, представитель оппозиционной партии, инвентарная книга и наличие свободных коек. Однако сестра Эвтаназия хорошо понимала, что двум девушкам-подросткам грустновато в этом новом для них месте. Короче говоря, они здесь не в своей тарелке. Чуточку затурканы – кто знает? Тем не менее нельзя было помочь им пройти это, конечно, трудное, но необходимое (как они позже поймут!) испытание вместе. И сестра Эвтаназия бегала из одной кельи в другую, переполняемая утешениями и добрыми фразами, которые произносила наедине с собой в коридорах, охваченная нетерпением из-за долгих переходов.

Впрочем, этих слов вполне хватало для девчо-

нок, непривычных к столь ласковым методам. Они даже напоминали недуг, который приписывают им подобным. Но сестра Эвтаназия, демократка в глубине души, не попалась на эту удочку. Она знала, что малышек тискали и лишали невинности капиталисты-монополисты. Член в зубах и прочие ужасы истории в том же духе. Впору потерять веру в доброго Боженьку. Дети были невиновны. Как им это объяснить, если их держат взаперти и в подчинении?

Фуйу, на самом деле, была довольна. Монашки ей нравились. Ужасно напрягало, что ее посадили в одиночку, но, поскольку она уже приготовилась к тюрьме, эти условия (утонченная, пусть и слегка старомодная инициатива, исходившая лично от супрефекта) ее обнадежили. Сестра Как-то-там была дурой набитой. Койка махонькая, но постель свежая и белоснежная. Окно с решеткой выходило в сад с соснами, самшитом и цветами на жестких стеблях: это напоминало традиционный рай. Если хочешь в туалет, надо просто позвонить. На обед подавали вкусности: сырую краснокочанную капусту, сырую морковь, картошку в растительном масле, филе копченой селедки, а потом вареную краснокочанную капусту, вареную морковь, вареную картошку – всё или почти всё утопало в сливочном масле – и кусок копченой свиной грудки. Вдоволь горчицы, монастырского хлеба и разбавленного красного вина, которого подливали, сколько захочешь. Вдоволь сыра из молока монастырских овец, который продавали владельцам ресторанов за бешеные деньги. Ну и сезонные яблоки. А сегодня вечером всё начнется сначала.

Клер Фуйу маялась от безделья. Хоть бы телевизор или, на худой конец, радио в комнатах. Но

там не было ничего, кроме брошюр, испещренных пометками от руки, профессиональных газет для священников и т.п., почти без иллюстраций, и ни одной пластинки. Клер Фуйу не любила читать, поэтому оставалось только думать.

Однако посещения сестры Эвтаназии ее не развлекали. Фуйу считала, что монашка пытается вывести ее на чистую воду. Знаем мы таких. Делают вид, будто холят тебя и нежат. Личики беленькие, гладенькие, как будто умытые ледяной святой водой. Фуйу ей не доверяла. Какая жалость: так хотелось самой стать монахиней, дружить с монахиней, жить с монахинями. Она завидовала сестре Эвтаназии, но та не предлагала ей стать монашкой. Наверное, считала недостойной. Скорее всего (подумала Клер Фуйу), сестра Эвтаназия и хуя-то никогда не сосала. Даже у взрослого четырнадцатилетнего мальчишки. А еще утешать приходит.

Фуйу часто вспоминала Гийяра-сына. Когда она узнала о смерти отца, первой мыслью было: что станет с Марком?

– От его члена пахло. Вкусно пахло. Он меня тоже полизал.

Ей хотелось рассказать об этом говорливой сестре Эвтаназии. В наше время, когда кюре и кюретки больше не говорят о своих первоклассных кумирах, об эпохе и всем таком, не осталось никакой романтики. Сало и капуста – есть над чем призадуматься. Кстати, разве их Боженька не запрещал есть свинину? Или нет, тот, что был потом. Короче, был один, который ел сало, а остальные – нет. Значит, сестра Эвтаназия поклонялась терпимому Богу, который любил свинину, сбившихся с пути юных девушек и монахинь. Ему не хватало

лишь дара речи.

Однажды Клер пришла в голову сумасбродная мысль черкнуть записку Клодин Морайон. Ей понадобятся… бумага и… а, шариковая ручка, фломастер или… В романах монашка-тюремщица всегда отказывается приносить эти принадлежности, как будто они стоят денег. Сестра Эвтаназия, напротив, тут же достала из кармана записную книжку и карандаш и ласково протянула их Фуйу, которой стало очень досадно.

– Без понятия что писать, – объяснила она монахине.

– Моя милая Клер! Какое дитя, Господи, какое дитя, Дева Мария, что вы говорите? Вашей подруге? О! О, о!

– Особенно если будете смотреть ничего не напишу! – сказала задетая Фуйу.

– Пресвятая Троица, какое недоверие! – пробормотала сестра.

– Ага, я же знаю что тут полно стукачей как же, – сказала Клер Фуйу. Как ни странно, сестра поняла намек. Фуйу расхотелось переписываться с подружкой. По словам сестры Эвтаназии, Клодина чувствовала себя чудесно и ежеминутно высказывала благие мысли о любви и раскаянии; она призывала свою товарку запастись терпением. Возможно, скоро предложит ей сходить к обедне или к вечерне, если сестра наберется еще больше храбрости.

– Известно ли вам, – сказала сестра, – что ваша заступница основала знаменитый орден и что ее черепу поклоняются в восьми приходах Франции? Есть еще (сестра Эвтаназия искренне усмехнулась) одиннадцать других черепов святой Клары в Италии, четыре из которых находятся в одном

только городе Ассизи…

Этот шаловливое, фривольное, неуместное озорство было продиктовано милосердием: сестра Эвтаназия узнала, что юным пансионеркам вновь предстоит пройти гинекологический и психиатрический осмотр.

– Но сколько на самом деле рвения в этих невинных подлогах! – добавила она. – Не следует ли различать за этой видимой ложью глубочайшую правдивость сердца?..

Тут Фуйу подумала, наморщив лоб, что совсем не любит Марка Гийяра. Точнее, не влюблена в него. Противная малявка. Какой толстый писюн.

– …и, в конечном счете, даже веру! – сияя, продолжала сестра Эвтаназия. – Одиннадцать плюс восемь – двадцать девять черепов! За семь веков! Стало быть, ваша святая заступница, дорогая Клер, была…

Не влюблена. Он же еще пацан. Но это ее страшно возбуждало. Так бы съела этого замарашку. Уж она бы с ним порезвилась. Они бы понапридумывали кучу всяких гадостей. Фуйу уже сто раз дрочила на сынка Гийяра. Это было самое сильное ее чувство – зуд. Так и не представился случай кому-нибудь об этом рассказать. Сестра Эвтаназия улыбалась во весь рот над собственными шутками о черепах. Легавые и медики уже ждали. Судьба Фуйу предрешена, причем на много дней вперед. Когда попадаешь в лапы тех, кто вправе быть добреньким за твой счет, больше никогда оттуда не вырвешься. Фуйу придется взывать к любви и пониманию, пока в один прекрасный день она не предпочтет перерезать себе вены, броситься в воду или кого-нибудь задушить. У каждого свой характер.

– …и эти монахини называются клариссинками! – прощебетала сестра Эвтаназия, вытаращив от восторга глаза. Она всегда рассказывала монастырским узницам о жизни их святых заступниц. Это возвышало униженных бедняжек, которых можно только пожалеть. Увы, их становилось все меньше и меньше из-за строгости тюремного и медико-санитарного начальства. Теперь даже приходилось чуть ли не нарушать закон, дабы дети (девочки или – кто бы посмел в это поверить? – мальчики), травмированные мультинациональными капиталистами-монополистами, могли насладиться бесценным утешением – конечно, не благой вестью (еще не время), а просто евангельской добротой.

– Как-как? Клариссинки? – оживившись, переспросила Фуйу. – Постойте, сестра, а разве в «Микки-Маусе» нет коровы, которую зовут Клара… э?

– Кларабелла! Ну да! – восхищенно ответила сестра Эвтаназия. – Как забавно!.. Но это тоже красивое имя, разве нет?.. Кларабелла! Клара и Белла. Наверняка, есть такая американская святая.

– Корова да это поющая корова, – придумала Клер Фуйу и гоготнула от перевозбуждения. Сестра оставила ее в этом эйфорическом состоянии. Ей пора было готовить вторую девчурку.

Гийяр сыт по горло. Это уже третья ходка со старой хазы на новую. Осталось перенести еще кучу вещей. Короче, к вечеру все будет путем.

Новая хаза – не постройка, а пещера с навесом на склоне ущелья, по виду сильно напоминающая известные места доисторического периода. Туда можно добраться по ухабистому спуску, частично грунтовому, частично стертому каменистому.

В самом низу – чистейшая вода, шумящая и всегда холодная, незагрязненная, вкусная. Ущелье сплошь заросло покривившимися деревьями, густыми и уродливыми кустами, которые наводнились птицами.

Несмотря на то, что место дикое, оно гораздо ближе к Сен-Реми.

В пещере никто никогда не бывал. Нет ни какашек, ни бумаги, ни консервных банок. Там несколько прихожих, не считая первого укрытия под навесом, и две комнаты.

Малыши Гассе страдают клаустрофобией. Они не хотят спять в глубине. Их немного пугает даже навес. Всё может обрушиться в любой момент. Франсуа Буатар отчасти разделяет их опасения. Остальным же ребятам плевать.

Всех удивляет отсутствие Жюльена Рокена. Может, он ушел удить куда-то вдоль горной реки (он на этом помешан), или с ним произошел несчастный случай? Вещей Жюльена не видели ни во время переезда, ни в пещере. Не мог же он заблудиться. А если все таки заблудился, где искать, где окликать? Он залез со своими вещами прямо в воду. Они сейчас немного обследуют дно ущелья. Многовато напрягов. Гийяру уже почти охота вернуться в город. Он вспоминает свой дом. Резко захотелось яичницы с ветчиной, у него приступ ностальгии.

Мсье Сеньеле в дурном настроении после неприятного разговора с коллегами. Они говорили не на профессиональные темы, а о морали и воспитании – по поводу июльских событий, подрывавших семейные ценности. Кто-то утверждал, что несовершеннолетние всегда невиновны в принципе и не несут никакой ответственности:

их нужно прощать, что бы они ни совершили. Другой полагал эту точку зрения крайней: необходимо адаптировать наказания к возрасту виновных и характеру правонарушений, карать с умом, искоренять зло, не срубив дерева – молодого деревца, можно сказать, отпрыска. Но мсье Сеньеле не признавал этой ложной терпимости:

– За всё, что мы делаем в жизни, нужно платить. Это ведь несложно? Ты что-то сделал? Ладно. Но теперь будь добр заплатить. Ничего не попишешь, за всё надо платить. Малец – не малец. Ты делаешь то, что хочешь? Прекрасно, дружок, но тогда плати. Нет, иначе было бы слишком удобно. Плати, и вся недолга.

Это разумное мнение, напоминавшее своей логичностью уравновешенные чаши весов Правосудия (одна – для поступков, а другая – для денег), произвело впечатление на слушателей. Тем не менее, коллега-экстремист довольно грубо возразил, его заподозрили в аболиционизме, и разговор перешел от детей к смертной казни. Страсти накалились. Мсье Сеньеле, руководствуясь своим законом дебита и кредита, применял принцип «око за око» и мог лишь пожелать, чтобы убийц настигла такая же смерть, какая погубила их жертв. Ни больше ни меньше. Это вызвало смех: кто-то заикнулся о жертвах изнасилования, и все пожали плечами.

Ситуация особенно обострилась после работы, когда отцы семейства зашли в кафе. К этому времени мсье Сеньеле обычно был уже сильно подшофе, а сегодня его убежденность и голос нуждались в дополнительном подкреплении. Он выпил несколько рюмок почти неразбавленного «рикара» и заявил, что смерть на гильотине была безбо-

лезненной: он требовал настоящей казни. В своем шумном воодушевлении мсье Сеньеле грозил расправой каждому встречному. Кроме того, он поклялся, что, ввиду отвратительной природы преступления, для него не существовало ни друзей ни родителей, а исключительно люди. Он никогда не пойдет на сделку с совестью и первым, да-да, первым, как бы это ни было мучительно (ведь он смеет считать себя верным другом и идеальным отцом, живущим только ради семьи), он первым предаст в руки правосудия своего лучшего друга или своего сына, если узнает об их виновности. Он даже потребует – все слышали? – потребует, чтобы с ними были особенно строгими. Такова основа морали и общества.

Эта прямолинейность никому не пришлась по душе. Мсье Сеньеле захотелось тут же доказать правоту своих принципов. Неужели некому вокруг воздать по заслугам? Найти кого-то и осудить, немедленно наказать прямо у них на глазах – заставить заплатить, прямо здесь и сейчас, заплатить, заплатить, заплатить. Продемонстрировать на примере преимущества ригоризма.

Впрочем, его позиция была железобетонной. Суровой, но неуязвимой. Он был прав. Даже хозяин кафе, несмотря на свою осторожность и уклончивые покачивания головой, вынужден был согласиться:

– Э, да, всё так… Мы всегда платим… За всё надо платить…

Неудержимая жажда справедливости продолжала терзать мсье Сеньеле, словно похоть, неутоленный гнев, и по дороге домой. Во время летних каникул он слишком часто испытывал неудовлетворенность. Чувствовал, что, вторгаясь в жизнь

сыновей, пользуется сомнительными предлогами, притянутыми за уши и орошенными анисовым ликером. Даже супруга в таких случаях отказывалась его поддерживать. Она и без того становилась нервной из-за летней жары и хотела, чтобы хотя бы муж сохранял спокойствие.

Стремясь выискать какие-нибудь проступки, мсье Сеньеле на ходу выдумывал для детей обязанности, задачи, цели. Тем самым он сознательно ставил их в положение, при котором они могли бы оплошать. Приходилось напрягать фантазию, но в конце концов удавалось припереть одного из них к стенке и заставить платить, платить, платить.

Эта манера придумывать законы из потребности в виновных возмущала сыновей. Они ожидали такого поведения от матери, но только не от отца. У мадам Сеньеле случались срывы – стало быть, произвол был ей свойствен. У мсье Сеньеле, напротив, была четкая система – отталкивающая, пугающая, но они к ней почти что привыкли; им удавалось приноравливаться или обходить ее; они прилагали усилия для странной адаптации, которой и добивался мсье Сеньеле; но он не имел права – ни малейшего права! – сочинять новые законы лишь под тем предлогом, что они больше не нарушали предыдущие.

Идеальными (для мсье Сеньеле) годами были те, когда детям давали домашнее задание на каникулы. Раньше он разрабатывал эти задания специально для тех, кто закончил школу с плохими отметками. Так, один раз Доминика оставили на второй год. После долгих препираний в лицее мсье Сеньеле выторговал для сына льготные условия. Доминик мог перейти осенью в следующий класс, если успешно сдаст небольшой экзамен по

тем предметам, в которых успевал слабее всего (на самом деле, почти по всем). Несколько вечеров ушло на составление учебной программы, которая должна была занять все лето, а затем мсье Сеньеле предался радостям преподавания на дому. Доминик занимался днем самостоятельно, а вечером после ужина мсье Сеньеле исполнял почетные обязанности наставника: инспектировал, проверял, критиковал, осуждал, наказывал, злопыхал.

Тем не менее эти удовольствия имели и оборотную сторону: ведь Доминик, почти три месяца играя бредовую роль ученика своего отца, оставался робким, запуганным, пассивным, чуть ли не придурковатым мальчиком, покорным любому авторитету. В присутствии родителей он съеживался и потел, точь-в-точь как дрожит и стонет лабораторная собачонка, замечая аппараты, при помощи которых над ней производят опыты. Казалось, Доминик полностью перестал интересовать мсье Сеньеле: он был пустейшим. Поэтому после того лета его оставили наконец в покое, и его измученные ткани, его рассудок, еще до конца не оправившийся от кошмара, очень медленно, очень болезненно, тайком восстанавливались. К тому же теперь алкоголь настолько размягчил мозг мсье Сеньеле, что он больше не мог инсценировать эту драму или педагогические пытки над одним из своих сыновей. Счастье, у которого нет будущего, – звездный час его родительской роли.

Однако сегодня, благодаря жене, его отцовский талант и мрачное настроение, в которое его поверг разговор с коллегами, непременно найдут себе благодатную почву.

– Робер! – визжит мадам Сеньеле, едва он вхо-

дит в дом. Он обливается потом, изнывает от жажды. Он раздевается и слушает.

– Взгляни на это. Просто взгляни. Я ничего не буду говорить, смотри! – твердит мадам Сеньеле. Она протягивает мужу книгу. Титульная страница вырвана: это старая тоненькая книжонка желтовато-серого цвета. Мсье Сеньеле открывает наугад и бросает взгляд на страницу.

«…и оставим закоренелым извращенцам омерзительную заботу о том, чтобы уснащать свои ночи отвратительным оральным сексом».

– Бертран, – говорит мадам Сеньеле вместо каких-либо комментариев.

– Бертран? – глухим голосом повторяет удивленный мсье Сеньеле. Он кладет книгу на кухонный стол и смотрит на страницу, одновременно разуваясь.

«…Сифилитические шанкры на языке и нёбе, гонорея полости рта, зараженные и зловонные десны, губы и горло, разъедаемые венерическим раком, – такова нередкая участь тех, кто за мзду или в силу порочности предается патологическим любовным фантазиям или, скорее, вымученным пародиям на любовь… Что же касается Мужчины, который в опасном бреду воображения, вызванном безудержной страстью к партнерше…»

– Вижу, – бормочет мсье Сеньеле. Жену наконец прорывает (хотя она слегка умеряет тон – тема уж больно скабрезная):

– Нет ты даешь себе отчет? В пятнадцать лет! В пятнадцать! Нет ты даешь себе отчет? Да он больной этот мальчишка!

Мсье Сеньеле не отвечает. Они с мужем ханжи. Никогда не говорят об «этих проблемах». Он догадывался, что это случится когда-нибудь со стар-

шим. Мсье Сеньеле наливает себе большой бокал ледяного красного вина и выпивает залпом. Затем готовит себе «пикар». Мадам Сеньеле говорит: «Послушай, дай-ка и мне глоточек». Муж галантно подает ей ликер из черешни с киршвассером. Она объясняет, что делала генеральную уборку в комнате Бертрана и Жана-Батиста и нашла это под кроватью Бертрана.

Все было не совсем так: она устроила форменный обыск. Обрадовавшись своей находке или полагая, что ничего страшнее в природе не существует, мадам Сеньеле не стала искать дальше. А теперь она подстрекает мужа провести тотальную инспекцию, как только дети вернутся домой. Никаких проблем: ужин может подождать, потому что они едят его холодным. Мсье Сеньеле соглашается и важно, с чинной медлительностью напивается вплоть до самого прихода сыновей.

Вначале он мягко отводит Бертрана в сторонку. Незачем бить по щекам или кричать. Тут нужен совсем другой подход. Мсье Сеньеле в этом хорошо разбирается. Красный как рак Бертран теребит очки у себя на носу и не произносит ни слова. Объяснив причину досмотра, мсье Сеньеле переходит к действиям.

У него впечатляющий опыт проведения обысков. Можно подумать, ему известны все тайники, где его дети прячут свои секреты, но из великодушия он просто гнушается туда заглядывать и уступает им эти мелкие территории. Разумеется, лишь до тех пор, когда серьезное правонарушение…

Правда же заключается в другом: с той минуты, когда Робер Сеньеле начинает свои поиски, его воображение подпитывается находками, следуя тем же путем, что и воображение сыновей, и

достигая тех же целей.

Мсье Сеньеле начал с вещей Бертрана. Он быстро находит колоду порнографических карт, которая ему представляется значительно более крамольной, нежели медицинская брошюрка. В самом деле, можно допустить в качестве смягчающего обстоятельства, что во время определенных кризисов (которые, впрочем, он совершенно зря скрывает от отца) юноша стремится отыскать сведения, которые… несмотря на то что… Но на этих фотографиях ничего медицинского нет. Они сигнализируют, подразумевают…

Затем два цветных нудистских журнала. Ну отлично. А рядышком – тетрадь, толстая классная тетрадь.

Мсье Сеньеле догадывается, что держит в руках исчерпывающий состав преступления. Он выдерживает торжественную паузу и открывает тетрадь. Охваченный безумием Бертран бросается вперед и вырывает ее из рук отца. Бертран орет и плачет своим хриплым голосом. Увалень на грани нервного срыва. Он уже готов извиняться, умолять, просить прощения, но ни за что не отдаст тетрадь – свой интимный дневник. Мсье Сеньеле, пораженный резкостью этого протеста и сердитым, плаксивым смирением, с которым Бертран пытается уничтожить следы преступления, не знает, что и делать. Мсье Сеньеле не справляется с ситуацией. Словно император или понтифик, он уступает Бертрану право держать свои мысли при себе и даже добавляет с холодной жалостью: «Мой бедный мальчик, если ты думаешь, что там есть хоть одна строчка, в твоем возрасте… бедняга, ладно…» С другой стороны, он высказывает мрачные долговременные угрозы, ведь речь идет

о чудовищном, ошеломляющем, отцеубийственном жесте Бертрана. Возможно, он намеревался оправдаться или, Господи, хотя бы объясниться, но манера, манера – нет. Произошло нечто настолько серьезное, что исключается любая возможность немедленного вердикта. Мсье Сеньеле оставляет за собой право вынести зрелое и продуманное решение на этот счет. Ничего, ничего страшнее не…

Бертран сдается с видом побитой собаки. Он сжимает свою дурацкую тетрадь, испещренную профессиональными и супружескими планами, нередко зашифрованными. Бертран боялся разглашения этих запутанных фантазий, тяжеловесных проектов, податливых секретов, мешанины из общих мест и изречений о том, какими должны быть мужчина, супруга, преподаватель и т.д., в каком стиле следует обставлять… какие звания и дипломы он… и какая крупная международная компания… и если муж и жена действительно не могут… друг друга (он готов был проявить либеральность в этом вопросе) и т.д. Все это убожество у него под мышкой: шестьдесят лет его будущей жизни – при условии, что он добьется успеха и достигнет каждой из поставленных целей. Бертран сгорает от стыда на целое десятилетие вперед. Отец, конечно, ничего не успел прочитать, но это еще хуже: он понял, он знает. Тетрадь – полный эквивалент колоды порнографических карт, и у них одинаковое применение.

Мсье Сеньеле остается в комнате и довольно рассеянно изучает пожитки Жана-Батиста. В целом мальчишки (когда-то все четверо сыновей, а теперь только Филипп и Жан-Батист) подвергались главным образом личному обыску. Отец

знал, что в их возрасте ничего объемистого не прячут: какие-то гроши, украденные у матери, или купленный на них вздор. Всё это можно засунуть в самый маленький кармашек, в малейшую складку трусов. Осмотр выдвижных ящиков, шкафов и коробок никогда не приносит результата. Это была лишь прелюдия, подготовка к основному унижению. Раздевание и ощупывание – разве это унизительно? Мсье Сеньеле так не думает. Ребенок есть ребенок: как только он достигает возраста, когда определенная стыдливость… развитие… мсье Сеньеле отказывается от… Ну а до тех пор ребятишки не должны считать свою одежду и, шире, свою личность сферой, недоступной для взгляда учителя. Замкнуться в собственном теле, в своей неприкосновенности? Как это некрасиво, и какое неоправданное недоверие, какая болезненная, асоциальная скрытность со стороны ребенка, полагает мсье Сеньеле.

Сегодня Жан-Батист избегнул личного обыска благодаря катастрофе. Отец обнаружил столовые приборы, украденные в «Золотом единороге» несколько недель назад. Вилка и ложка из тяжелого, красивого серебра, с эмблемой ресторана: что-то типа козы на задних лапах, а во лбу – длинный рог нарвала. Жан-Батист не хранит дома ничего из краденого – об этих приборах он просто забыл.

Один сын – отцеубийца и онанист, другой – вор: родители Сеньеле оторопели. Выйдя из себя, мать отхлестала Жана-Батиста по щекам, и сразу после ужина отец выпорет его по полной. Ну а приборы он сам отнесет завтра утром в ресторан, объяснится, как сможет, и получит наказание, которое гг. Бавё и сыновьям угодно будет на него наложить.

Несмотря на этот вердикт, моментально всту-

пивший в силу и приговаривавший его к торжественному аутодафе, заплаканный Жан-Батист немного успокоился. Родители приняли за чистую монету его объяснение этого поступка. Он взял приборы шутки ради и хотел сразу же вернуть их обратно, но не сумел.

– …и, разумеется, на две недели остаешься без пляжа, – сдержанно добавляет мсье Сеньеле, потерявший голову от стольких удачных находок и ставший почти безмятежным.

Реймонда Сеньеле не одобряет идею с возвращением приборов. Чересчур театрально. Это станет для него уроком, но в конечном счете скомпрометированы будут родители. Нет у них никакого ребенка-воришки, и точка – поэтому придется стать его сообщником. Она объяснит всё мужу сегодня вечером или завтра утром. Разумеется, не при них.

Теперь родители Сеньеле обыскивают комнату Доминика и Филиппа. Скудная пожива.

Но только не сегодня. Резко закрывая выдвижной ящик, мсье Сеньеле чувствует, как тот во что-то упирается. Он снова открывает, ищет и достает пачки почтовой бумаги половинного формата, старательно исписанные каллиграфическим почерком: стихи Доминика.

Мальчик никак не реагирует. После нелепой сцены, устроенной Бертраном, он даже гордится, что ему нечего скрывать. Отец иронично просматривает лист за листом, не говоря ни слова, а затем возвращает пачки Доминику, который его благодарит. В этот самый момент у них за спиной разражается буря. Мадам Сеньеле свирепо осыпает тумаками Филиппа, вопя, что он больной на голову, больной на голову, больной и т.д. Это вовсе

не телесное наказание, а скорее, истерический припадок, при котором женщина, вместо того чтобы хватать ртом воздух и цепляться за пустоту, остервенело набрасывается на комок человеческой плоти: мадам Сеньеле обхватывает Филиппа, точно паучиха, которая держит в лапках насекомое и заматывает его в кокон. Мальчонке кажется, будто он сидит в бочке, утыканной гвоздями, бритвенными лезвиями и раскаленными добела пластинами, которую столкнули с вершины горы. Разновидность матки. Мадам Сеньеле отпускает на минуту сына и, углядев на полу груду игрушек, топчет, опрокидывает, расплющивает их своими низкими квадратными каблуками, попутно выкрикивая:

– Ну раз ты так обошелся со мной тогда и я так же обойдусь с тобой!

Она повторяет это, срывая себе голос, до тех пор пока не превращает все игрушки в крошево. Потом садится на сына сверху и так яростно вымещает на нем злобу, что даже ломает себе ногти.

Позже все узнают о преступлении малыша. Под ковриком, немного сдвинутым со своего обычного места, он прятал жирное пятно величиной с блин. Мальчик играл сам с собой в торгового представителя: сидя на полу, продавал воск, которым служил старый тюбик жирного линимента – он-то и пропитал паркет. Вот как Филипп «обошелся со своей матерью».

X

На лавке, слева от Жоашена, лежат газеты и журналы, но он боится к ним прикасаться. Медленно разбирает название. Затем украдкой поглядывает на легавых, высовывающих головы из кабинетов, склоняется вправо и шепчет двоюродному брату:

– Написано «Производители русаков». Видел? Эй!

Он тычет пальцем в обложку журнала о скачках. Эрве Пеллисон подавляет смех:

– Не русаков, – говорит он, – а рысаков!

– Что?

– Ты что, хи-хи, не знаешь что такое рысаки Жоашен? На ипподроме?

– Враки всё это! – говорит Ален Вио из правого угла. Обитый деревом закуток, желтая мебель.

– Нет это лошади! – говорит Эрве Пеллисон.

– Лошади? – заинтригованно переспрашивает малыш Леско. – Русаки – это лошади?

– Рысаки! Ры-саки! – разжевывает Пеллисон.

– Если вы сейчас начнете рассказывать про рысаков, – вмешивается мадам Леско, – эти дяди будут очень-очень недовольны! Нужно все рассказать, мм, детка, мм, ребята? Всё-всё-всё!

– Как ни в чем не бывало, – ворчит Эрве Пеллисон.

– Русаки? – говорит Мари-Антуан, расширив от смеха глаза.

– Да уж! – причитает Мариетта Перефикс.

– Как это они что делают лошадей из русских да Эрве? – не унимается Жоашен Леско. Его двою-

родный брат стучит себя по голове и крутит пальцем у виска.

Полицейский в форме, но без фуражки пересекает коридор, где они сидят и ждут. Он несет дела.

– Эй, вы чё-то посеяли! – скороговоркой произносит Ален Вио, тыча пальцем в пол.

Легавый оборачивается, смотрит на пол, хмурит брови:

– Что?.. Где?.. Гм. Что?

– А ладно нет показалось извиняюсь, – быстро отвечает Вио, вдруг почуяв, что назревает подзатыльник. Тем не менее, из уважения к присутствующим дамам, полицейский не комментирует шутку мальчугана. Он просто хлопает дверью, чтобы спустить пар.

Вызывают Эрве Пеллисона. Его допрашивает сам комиссар. Они здесь из-за кражи у мадам Арно. Она подала жалобу. Сосед сказал, что видел, как Пеллисон и остальные ребята шатались вокруг виллы. Расследование должно доказать, что ребятишки могли совершить налет самостоятельно.

Мысль о том, что ее маленький Жоашен, ее маленький Эрве, малыш Перефикс и малыш Вио могли быть убийцами и вообще ворами, вызывает у мадам Леско улыбку. Полиция пошла по ложному следу. Этот сосед, наверняка, брюзгливый и близорукий старикашка – просто наказание божье. Во-первых, откуда он их знает? Просто невероятно – этих людей ты ни разу не видел, они живут не в твоем районе, но при этом знают, как тебя зовут. Даже если ты коммерсант, это не служит оправданием, а этот господин вмешивается не в свои дела.

– Мама? – спрашивает Жоашен, когда Пеллисон уходит.

– Да-да моя лапочка. Хочешь шоколадку? Дети вы хотите шоколада? Только смотрите: у меня нет ничего попить. Так что не надо есть че-ре-счур много, иначе пить захочется! Есть только с лесным орехом!

Она совершает маленький ритуал раздачи, сопровождаемый шушуканьем. Мадам Леско очень нравится Ален Вио, которого она никогда раньше не видела. Она решила пожурить детей за то, что они еще ни разу не пригласили его в кафе, когда сами полдничают и веселятся втроем. На богатенького он не похож, бедняжка. Ни мамы ни папы. Этот кокетливый взгляд так мил – и почему его называют косоглазым? Невинная жестокость, вот негодники. Эрве должен будет. И его родители, которые не смогли освободить утро. Они верят в то, что их сын совершил это. Не решаются говорить открыто, но это чувствуется. От подобной работы становишься таким черствым. По сути, предрасположенность к этому. Если все рабочие. Нет его брат еще в детстве. И нашел себе супругу, которая. Но Эрве – сама нежность. Как он обнимает этих малышей и как терпелив с ними. Производители русаков! Моя детка. Они отвечают ему взаимностью. Какая возмутительная история. Эти кражи эти преступления несчастная полиция с катушек слетела. Невзирая ни на что, беспокоить детей. Позор. Эта мадам Арно с ее миллионами. Моя лапочка ворует миллионы в чужих домах! Да она с ума сошла. Сошла с ума. Это всё наука. Образование. Всё из-за него.

– Да детка? Это лошадки мой дорогой, да.

– Но почему? Мм?.. Мама?

– Просто загляни внутрь, Жоашен, тебя не съедят, если ты посмотришь журнальчик, только не

помни, осторожно. Ведь дяди тебя не съедят! Солнышко мое, котик.

Мадам Леско не настолько в этом уверена. В центральном комиссариате их встретили не очень-то приветливо. Казалось, их тут же казнят на гильотине – и сл ва не дадут сказать. Недаром есть поговорка: любезен, как тюремные ворота. Но, если вдуматься, все государственные учреждения… Отпечаток профессии. Тут, конечно, не сахар, зарабатывают, наверное, меньше. Ночные дежурства? Что они там пишут? Все эти бумаги. Бумаги. Можно подумать, в наше время происходит столько убийств. Характер портится со временем, вот в чем дело.

– Эта лошадка-русак стоит восемьсот миллионов! – сообщает Леско Мари-Антуану Перефиксу, показывая фотографию лошади.

– Что правда? – говорит Мари-Антуан. Его мама смотрит на лошадь невидящим взглядом. Эта история взволновала ее до глубины души.

– Да, так и написано! Восемь тысяч миллионов! – говорит Жоашен.

– А это много? – спрашивает Мари-Антуан.

– Само собой, это же лошадь, – говорит Леско. – Дороговато!

– Пить хочу, – говорит Мари-Антуан, хватая себя за горло.

– Золотко мое! – ворчит мадам Леско. – Ты переел шоколадика! Ох, какой же ты непослушный!

– Я тоже пить хочу, – говорит Жоашен.

– Угу, и я, – говорит Ален Вио.

Дамы совещаются и вздыхают. Мадам Леско решает встать. Какого полицейского спросить? Вид у них далеко не галантный. Даже не обращают внимания, что дама стоит.

Наконец один служащий объясняет мадам Леско, где находится кран с питьевой водой. Дети выстраиваются перед ним в очередь. Вода неприятно теплая, с металлическим привкусом.

– Не пейте слишком много утятки! – советует мадам Леско. – А то потом писять захочется, и опять начнется комедия. Ну-ну-ну. Не пейте слишком много. Водохлебы, водохлебы!..

– Мне писять хочется, – говорит Вио.

– Мне тоже, – говорит Мари-Антуан.

– Мне тоже, – говорит Жоашен, – мне надо в одно место.

– Ну вот! – вздыхает Ивонн Леско, обращаясь к мадам Перефикс. – Ну вот, повезло ж нам обеим с этими ссыклями!

Вскоре им показывают, где находится туалет. Это уборная без сиденья, ужасно грязная и вонючая. Дети опять выстраиваются в очередь. Мадам Леско слышит шум воды. Из-за этого ей тоже немного хочется. Но в мужском туалете, да еще и таком отвратительном…

– Я тоже не буду, ах, я бы не смогла! Да уж! – соглашается Мариетта Перефикс.

Дети снова рассаживаются. Им становится скучно. Они начинают баловаться. Болтают между собой. Они отлично понимают друг дружку. Мадам Леско думает о том, какое это счастье – иметь не одного, а целых трех. Но кто же их ей заделает. Она даже забыла, какой он в точности формы. Надо сказать, не больно-то красивой. Ну, если не считать хоботка у ее детки – миленького-премиленького, такого шаловливого. Но, увы, на всю жизнь он таким не останется. Было бы славно заниматься любовью с беленькими, маленькими, нежными-пренежными хоботками. Говорят у ки-

таянок дырочка точно. Кролики. Крысы. Для размножения. Перестань Ивонна какой у тебя злой язычок. Любовный хоботок.

Что они делают с Эрве. Разве они имеют право вот так допрашивать – с глазу на глаз, без родителей, без… чего? Если б хоть знать законы. Уж эти-то точно ничего не расскажут. Их туалеты какие свиньи. И все одинаковые. Окурки. Плевки. Сальный пот. Зверинец. Что они там с ним сделают?

– Как будто в приемной у врача сидим! – шепчет Мариетта Перефикс, умирая от тоски. Мадам Леско ее успокаивает. Никто, слава Богу, не болен, и никто не виноват.

– Если б хоть муж мог прийти! – вздыхает мадам Перефикс. – Вот кто нарывается на подзатыльник: Мари-Антуан! Перестань ерзать и помолчи! Бестолочь!..

– Ну надо же, надо же им хоть как-то расслабиться, – говорит мадам Леско, пытаясь его утихомирить. – Просто тут место такое.

Вио играет с Мари-Антуаном в брехливую мартышку, а Жоашен задыхается от смеха. Мадам Леско тоже знает эту игру, но никогда не играла в нее с сыном, так как считает, что это не очень правильно.

Ален Вио в своем закутке, под прямым углом к Перефиксу, строит ему рожи:

– Щас я почешу нос. Ты тоже.

Он чешет себе ухо. Мари-Антуан чешет себе ухо.

– Щас я почешу коленку. Ты тоже.

Он чешет себе нос. Мари-Антуан чешет себе нос.

– Щас я почешу глаз. Ты тоже.

Он чешет себе макушку. Мари-Антуан послуш-

но чешет себе макушку.

– Значит, глаз у тебя вот тут? – ухмыляется Ален Вио, хватая его за прядь волос.

– Нет, нет тут! – блаженно смеется Мари-Антуан Перефикс.

– Тогда ты чешешь… болт.

Вио берет в руку носок ботинка. Перефикс, как и раньше, собирается повторить жест. Жоашен и Ален покатываются от смеху. Легавый поворачивает голову. Они его не видят.

– Значит, – удается сказать Вио, – ты трогаешь ступни!

Он вставляет пальцы в уши. Мари-Антуан начинает понимать смысл игры и одновременно касается уха и ступни. Эта нелепая поза привлекает внимание его матери.

– Ну ладно Мари. Ладно. Может хватит, какой же ты дурачок. Это факт. Может хватит? Ты что, собираешься всё-всё перетрогать? Ну-ка. Может хватит, перестань!.. Да уж, пожертвуй чем-то, да уж, и помолчи!.. А вы тоже дурачки.

– Эй ты трогаешь жопу, – шепчет Вио и засовывает указательный палец себе в рот. Он сосет и сосет сладенький пальчик.

Смеющийся Мари-Антуан не реагирует. Он следит за матерью, но мадам Леско отвлекает ее внимание.

Открывается дверь. Появляются комиссар Лорж и Эрве Пеллисон. Эрве рядится рядом с мадам Леско. Комиссар вызывает Жоашена. Нет, без матери. Это займет не больше пяти минут, обычная проверка, не волнуйтесь.

Эрве признается мадам Леско:

– Тетя они там с ума посходили.

Мадам Леско поправляет одежду на Жоашене,

одергивает свитер, одергивает носки, одергивает «молнию» на ширинке, выравнивает пару-тройку волосков. Встает и проводит ребенка до двери кабинета. Боковым зрением она замечает в комнате мсье Лемазье, пресловутого свидетеля. Это седой, маленький, тщедушный, костлявый старичок в мешковатых брюках. Похожий на маньяка. Хоть она женщина и добрая, но с радостью впилась бы в него зубами. Даже не верится, что на свете бывают такие мерзкие стариканы. Пусть этот стукач только попробует зайти к ней в кафе. Она раздавит его, как насекомое с ядовитым жалом.

– Да нет, ничего, тетя, – тихо отвечает Эрве. – Просто этот дедок с приветом. Они должны его посадить. Они ничего не смогут доказать. В дурдом да. Нет ты б видела эту сволочь.

Мадам Леско тоже в этом уверена. Сравнить Жоашена и этого безжалостного, ухмыляющегося гада, этого мсье Лемазье: невинность и озлобленность, красота и уродство, доброта и ненависть ко всему на свете. Мерзкий тип. Дурдом, Эрве Пеллисон прав. Пара увесистых тумаков. Старый пердун. Еще и доволен собой.

– …потому что у него вдобавок довольный вид! – с возмущением и презрением говорит багровый от гнева Эрве.

Жан-Мишель Кра утверждал, что лучше сначала выстрелить. Гийяр предпочитал угрозы. Кра настаивал:

– Та не мы ж еще малые. Даже если с чулками на роже они поймут что мы еще малолетки и встанут на дыбы.

– Тогда можно выстрелить в воздух, – сказал Гийяр.

– Не-а. Они подумают мы зассали.

– Блядь, но если стрелять из-за прилавка, придется целиться вверх. В сердце, в лицо.

Кра и его банда ухмыльнулись:

– Та ладно Марко ты чё бздишь?

Буатар слушал все это издали, стоя вместе с братьями Гассе.

– Сюси-пуси Марк боится грохнуть этих сучар.

– Почему ты считаешь их суками, – сказал Гийяр. – Думаешь, они так уж много зарабатывают?

Ролан Бодьер, громила с резким голосом, крикнул:

– Нет! Ни в жисть! Нет! Да ни в жисть! Нет! Да ни в жисть!

Все по кругу согласились. Они считали, что нет ничего хуже, чем продаваться за гроши буржуям. Разве что за три миллиона… Но кому буржуи их дадут? Нет! Чем больше они от тебя требуют, тем меньше платят. Стань их копией, подтиркой – будешь зарабатывать кучу денег, отзеркаливая их жесты и манеры. Стань их наемным работником – тебе будут платить собачьим кормом за работу, которую даже самый утонченный из них не в состоянии оценить и полюбить. В любом талантливом явлении есть пощечина тем, чей единственный талант заключается в возможности покупать чужой труд. Вот что думали по поводу преступления бакланы из Рош-Нотр-Дам: они планировали убить банковских служащих (ведь хозяева, как ни странно, всегда прячутся), потому что их можно сравнить с чернорабочими правосудия – идиотской, мелочно-корыстолюбивой, эгоистично-добродетельной машины, которую надо со всего размаха зашвырнуть в топку, если хочешь освободиться от этих сучар и их бесчисленных шестерок. Причем стараясь не касаться, ведь они смердят

так же, как их наниматели. Придется годами тереть, драить, скрести, чтобы смыть с себя запах и метку, которую за долю секунды оставляет рука толстосума. Поселковые ребята были наивными сторонниками массовых убийств, помимо того, что и к своим собственным массам относились свысока. Они искренне считали себя меньшинством и, стремясь очистить планету от тиранов, власть имущих, толстяков, возлагали надежды уже не на революцию, а на газовые камеры и атомные бомбы. Эти взгляды возмущали Гийяра. Он тоже высказывал простоватые идеи, но не любил, когда это делали другие. Парни из Рош-Нотр-Дам казались ему опасными анархистами – из тех, что убивают, не учитывая заслуг, которые, возможно, имеют их жертвы; из тех, кого полиция ликвидирует с удовлетворением, о котором потом блаженно трезвонят газеты. Марк боялся взглядов, превращающих тебя в живую мишень (будь то в палача, будь то в жертву). Ребята начнут его презирать и бросят. В конечном счете от Гийяра им никакой пользы.

– Нет, – повторил он, – нельзя стрелять сразу.

– А потом? – сказал Кра. – Хочешь подождать, пока они вызовут легашей?

– Типа. Посмотрим.

– Типа. Думаешь, у них нет системы, чтобы вызвать напрямую а ты ничего не заметил? Дебил ты и пидар.

– Закрой пасть, – сказал Гийяр. Его на секунду охватил приступ злости, которую он все время сдерживал: – И с какого ты назвал меня пидаром? Я тебя, целкин, вроде пока не ебал! Хочешь в попку, да?

– Не ну ни хрена ж себе, – вмешался парень-

амбал с писклявым голоском, – у самого эти твои пидорки за спиной думаешь так непонятно? Кто из нас дает в очко не ну ты скажи.

Он показал подбородком на Буатара и братьев Гассе.

– Ты об этом пожалеешь, – крикнул Марк Гийяр. Он выхватил из кармана револьвер и взвел курок.

Банда из Рош-Нотр-Дам тут же отступила на самый край террасы перед пещерой, откуда можно свалиться в горную речку, бурлившую далеко внизу. Ребят было с полдюжины.

Дальше все произошло очень быстро. Один из ребят достал револьвер и выстрелил в пещеру. Все парни из Рош-Нотр-Дам вскарабкались по склону и, цепляясь за траву и кусты, выбрались на плато. Гийяр тоже выстрелил, но вбок. Посыпались ругань, прерывистые крики, пыль и угрозы. Под конец Марк Гийяр показался полностью и заорал вслед беглецам:

– Суки вы попали в чувака!

– Одним пидорком меньше! – откликнулся Жан-Мишель Кра, который, как настоящий главарь, наблюдал за отступлением.

По правде говоря, никого не убили. Но Камиль Гассе получил пулю в грудь. Он потерял сознание. Никто не знал, что делать.

Его брат Бенуа тут же заговорил буржуйским тоном и с негодованием обрушился на Гийяра, как будто он жаловался директору турагентства на тур, приведший к плачевным последствиям. Еще немного, и он бы начал угрожать адвокатом, судебным иском или обозвал Гийяра рабочим сынком. Со временем он чувствовал, что его высокомерие внушало неприязнь; в пещере их было

больше десяти; даже Франсуа Буатар не присоединился к этим самодовольным протестам; поэтому Бенуа наигранно расплакался, словно кто-то из его среды мог увидеть, оценить и одобрить его публичное выступление. Камиля раздели. Бенуа надул губы. Действительно рана с настоящим круглым отверстием, в которое они заглянули. Послушали, как бьется сердце. Всё в порядке. Но как остановить всю эту кровищу и где найти врача, чтобы не было последствий? Гийяр заткнул дыру тряпкой. Жаль, что пуля не попала в другого Гассе, подумал он. Тогда бы не он, а Камиль превратился в сварливую бабу? Марк сомневался. В Камиле абсолютно не было подобных замашек: «я не потерплю, чтобы» или «как вы смеете». Это и впрямь нечестно. Судьба. Жюльен, наверно, уже погиб. А теперь еще один малой. Под конец они останутся с этими скотами. Всем кранты.

– Я же тебе говорил, тетя! – с удовлетворением повторяет Эрве. – Они не смогли!

– Да уж!.. Но они все равно остались недовольны! – говорит Мариетта Перефикс. – Они бы нас живьем сожрали!

– Я кушать хочу, – говорит Жоашен.

– Да, – говорит Мари-Антуан.

– Милый Ален, поедешь с нами домой, мы вместе покушаем? – предлагает мадам Леско.

– Да нет, – врет Вио, – меня бабка ждет.

– Боже ну да! – вздыхает Ивонна Леско. – Ну тогда мы вызовем тебе такси мой дорогой. Бедная мадам Вио!

– У меня ни гроша! – говорит Ален. Мадам Леско и мадам Перефикс пожимают плечами. – Да брось ты, брось, разве мы пожалеем десять-двадцать франков ради бабушки, которая места себе

не находит?

Ален Вио называет таксисту неверный адрес где-то на севере. Это позволяет сэкономить деньги и подобраться ближе к новой хазе, куда он хочет пройтись. В первом же продуктовом, встретившемся на пути, как раз перед закрытием на обед в полпервого или в час, он покупает тюбик майонеза, пакетик копченого сала и бутылку холодного лимонада. Потом ест и запивает на ходу – ему весело.

– Так нас не посадят в тюрьму? – вздыхает Жоашен.

– Моя крошка, цыпонька! – вздыхает Ивонна Леско, осыпая ребенка поцелуями. От усталости Мари-Антуан разбух, а Жоашен осунулся.

– Ох ничего себе! Вот это да! Да уж! – причитает Мариетта Перефикс, нервно обнимая одутловатого Мари-Антуана.

Эрве Пеллисон вызвался приготовить еду. Дамы пойдут выпить аперитивчика (мадам Перефикс предпочла пару бокалов «кот-дю-Рон»), Жоашен и Мари-Антуан наглотаются арахиса и газировки (Ивонна Леско не осмеливается налить сыну пива на глазах у другой мамаши), а Эрве займется стряпней и, по своему обыкновению, выпьет ледяного натурального молока. Его тетка специально сходила за покупками. Она решила, что, если все обернется плохо, нужно будет подкрепиться, а если после массы страшных и героических усилий все закончится хорошо, тем более надо будет почистить перышки.

Эрве Пеллисон находит в холодильнике всё, что ему сказали. Он потрясен. Натирает, моет, снимает кожуру. У мадам Леско душа нараспашку: едва получив повестку, она растрезвонила всем

завсегдатаям. Объяснила, почему вынуждена закрыться до двух часов – или, возможно, если эти изверги, кто их знает, даже до завтра. Теперь же ей не терпелось похвастаться всем своей победой и доказать глупость и жестокость легавых. Да они готовы убить сотню невиновных, лишь бы задержать одного виновного, в этих своих комиссариатах! (Как все неимущие французы, мадам Леско сохраняет реалистичное убеждение в том, что правосудие – лишь способ обойти закон для легавых, а не судейское ремесло).

– С людьми, которые зарабатывают, как мы – надо сказать, как есть, – они могли бы вести себя поприличнее! – вздыхает мадам Перефикс после нескольких глотков. – Да нет же! Нет же! Все считают себя Господом-Богом и святой ратью! Считают себя! Можно подумать, мы на войне! Снова немцы! Ну так и есть! Мадам Леско! Ну так и есть! Опять они!.. А мы даже не были такими взрослыми, как сейчас! Да уж!..

Ивонна Леско встает и идет посмотреть, как там справляется Эрве. Он умеет работать. Собранный, старательный, чистоплотный, аккуратный, шустрый и уверенный в себе. Возможно, у него призвание. Мадам Леско была бы в восторге. Она мечтает открыть свой ресторан. Кормить, но не грудью – сам дух материнства. Особенно когда Жоашен вырастет. Ох, этого котенка стряпня пока еще не интересует, пока еще! Но он уже хорошо кушает, еще как. Как он у меня выплюнул телячью печень, когда я проворонила один бочок на секунду на сковородке! Привереда! Когда-нибудь будет командовать.

Дамы и дети поняли, что нужно оставить Эрве в покое – за едой он наверняка расскажет о допро-

се. По сути он взял удар на себя. Комиссар задавал младшим запугивающие или каверзные вопросы, на которые они не смогли ничего ответить. Свидетель, этот чертов Лемазье, так и не поклялся, что узнал всех трех малышей (хотя он очень часто видел Эрве, когда тот приходил заниматься к мадам Арно). Тем не менее, по словам комиссара Лоржа, старик провел собственное расследование: связав воедино свои воспоминания о парнишках, бродивших вокруг особнячка мадам Арно, и новость о грабеже, дедок захотел поиграть в сыщика и установил личности друзей Пеллисона, который с невинным видом появлялся повсюду с такими узнаваемыми младшими ребятами. Широко известная шайка Пеллисона. Ну а официальное расследование подтвердило, что это были не простые совпадения.

– Наверно, его жутко измочалили, да уж! – с сочувствием говорит Мариетта Перефикс. Она почувствовала первые испарения от бараньей спинки, утыканной розовым чесноком, которую Пеллисон поставил в духовку.

Вио спускается на заднице по скату, ведущему на хазу. У него осталось полбутылки лимонада, который он держит в руке; тот еще не нагрелся.

Услышав шум, какой-то чувак выходит на террасу перед пещерой – это Том Сермесс, жирная мерзкая сволочь с родаками-дебилами, Вио его не переваривает, что ему здесь надо? С каких это пор он с ними? В школе этому гаду бьют морду, а он вечно лижет жопу. Жиртрест.

– Ты из какого лагеря? – визжит Сермесс голосом невротика кастрата маньяка психопата содомита, что он о себе возомнил…

– А куда ты складываешь свои булки – спереди

или сзади? – презрительно бурчит Ален Вио. Он сжимает в руке бутылку.

– Ладно, проходи, – говорит Тома. Ссыкливый жирдяй.

– А твои родаки там внутри? – спрашивает Вио.

– Эй Сороконожка ты чё того что они тут забыли?

– Сорокожопка педрила слышь если хошь пить зазырь сюда.

Ален Вио оставляет еще прилично лимонада. Толстяк садится на камень, отчего на животе появляется множество поперечных валиков; а потом пьет из горлышка, отчего временно исчезает его двойной подбородок. Лимонад вкусный. Его родители торгуют поводками, ошейниками, хлыстами, ножами. Зато они едят от пуза и пьют как лошади.

– Жюльен тут?

– А Сороконожка ты пришел. Иди глянь.

Вио показывают Камиля Гассе, который все еще лежит без сознания и продолжает терять кровь.

– Твоя работа? – спрашивает Вио у Гийяра.

Марк объясняет, что произошло. Теперь все знают, что у него пистолет, и сердятся за то, что он не сказал.

Вио замечает мал го Сеньеле – Жана-Батиста. Это его удивляет. Жан-Батист рассказывает, почему он здесь. Как много новостей, думает Вио. Лимонада не осталось?

Жан-Батист убежал из дома на прошлой неделе. Филипп серьезно заболел. Мадам Сеньеле пришлось уложить его в постель, а вскоре вызвать врача. Никто не знал, что с ребенком: он отказывался есть, стонал, поднялась температура. Этот паренек – наказание божье, даже на каникулах

покоя нет. Мадам Сеньеле никак не могла оправиться.

Врач так и не сумел поставить точный диагноз. Никаких явных симптомов. Он выписал кучу рецептов, и Филиппа напичкали сильнодействующими препаратами. Мадам Сеньеле доверяла этому доктору, который не позволял себе ни одного лишнего слова: он щадил родственников.

Немного спустя Филиппу стало так плохо, что в восемь вечера родителям пришлось вызвать другого врача, поскольку первый был как раз занят.

По словам этого доктора (какой-то неприятный иностранец, сразу чувствуется, отметила про себя Реймонда Сеньеле), маленького мальчика нужно было срочно госпитализировать и прооперировать. Поначалу задетые столь неслыханным обвинением, мсье и мадам Сеньеле ответили резким отказом. Остолбеневший врач принялся настаивать, посуровел и чуть ли не пригрозил вызвать полицию. Родители Сеньеле (один молча, другая с визгом) были вынуждены подчиниться. Сумасшедший этот врач – точно сумасшедший.

Вскоре Филиппа увезли на скорой. Вслед за ней поехала семейная машина – Бертрана тоже прихватили с собой, на всякий случай. Но что это за коновал такой? И откуда он взялся? А законы это разрешают?..

– Всё просто, – вполголоса повторял мсье Сеньеле, – допустим! Но если он ошибся, я подам на него в суд. Это просто. Он зашел слишком далеко. Слишком далеко. Я его засужу – вот и всё. И он заплатит. Заплатит!

– Ах ну да! Тогда это тогда да! – визжала, запинаясь, жена. – Потому что тут он и впрямь тогда переборщил!.. Да кто… Да кто он вообще такой?

Откуда он взялся? Ах нет тогда это нет! Ах нет!

Филиппу было спокойнее лежать в скорой без родителей. Даже чуть полегчало. Никто не напрягал.

Машина остановилась. Кто-то поднял малыша и понес. Филипп наблюдал за своим перемещением по коридорам, как будто это происходило не с ним. Его положили где-то и полностью раздели. Пощупали и сделали с ним другие шутки. Родители так и не пришли. Возможно, это было запрещено. Ему делали больно, но не нарочно. Потом отнесли куда-то еще и положили на что-то твердое и холодное. Вверху над собой он увидел диск с лампами, очень большой, но не слепящий.

Филиппу приложили что-то ко рту и носу: он вдохнул очень густой воздух с приятным запахом лекарств. Это было последнее его ощущение, поскольку он тут же уснул. Филипп умер во время операции. Мадам Сеньеле сидела в зале ожидания рядом с мужем. Она сжимала в руках все десять пальцев своих перчаток и сумочку. Плохую новость сообщили без каких-либо церемоний. Она скорчила соответствующую мину и прикинулась убитой горем, лишь бы ее освободили от всех обязанностей. Муж позеленел и задрожал; его блуждающий взгляд, казалось, искал рюмку спиртного в голой комнате с серым кафелем. Тем не менее он взял себя в руки, оставил жену утешаться привычными способами и занялся формальностями. Прыщавый Бертран покраснел.

Они были недалеки от мысли, что это врач – убийца. Нельзя оскорблять людей, а потом возвращать мертвым ребенка, который только что был живым: их не обманешь! Больничные шишки будут покрывать коллегу – в этом нет ничего уди-

вительного. И вдобавок еще стребуют с вас чеки. Мадам Сеньеле задыхалась. Звери. Скоты. А как же ее материнские чувства, сволочи.

Филиппа похоронили на следующий день. Было ясно и ветрено. Сельское приморское кладбище Сен-Реми пользовалось большой популярностью у туристов. Летом его заполняли приезжие и зеваки. Они фотографировали старинные могилы, резные каменные кресты, дикие цветы, синий океан с пенными бурунами. Утром, во время похорон, сюда доносился запах свежего хлеба из соседней булочной: этот аромат, разлитый в прохладном воздухе, волновал образованных и романтичных парижан. Островитян же это, скорее, шокировало. Они бы ни за что не прикоснулись к такому хлебу.

Дети Сеньеле пассивно наблюдали за церемонией: в голове – пустота. Невесомый гроб казался нереальным. Нельзя было допустить, что внутри кто-то находится. Все накрахмаленные, с траурными повязками на воскресной одежде, теплой не по сезону, но на ветру еще терпимо. Жан-Батист долго следил за кораблем вдалеке, направлявшимся в Америку. Потом заинтересовался людьми, присутствовавшими на погребении, и заметил Марка Гийяра с группе, стоявшей на некотором расстоянии. Зачем он пришел? Где прочитал объявление?

Гийяр был не один – рядом стояли другой идиот, Кормайон, двое старших и малой, которых Жан-Батист знал похуже. У него вдруг появилось безудержное желание пойти к ним.

Он проследил, чтобы никто не заметил. Подал знак Гийяру, подошел к плачущему Доминику и спросил, не хочет ли он уйти с ними. Доминик, возможно, недопонял и отказался. Жан-Батист не

настаивал: нельзя было разговаривать. Он смылся. Группа ребят тут же ушла с кладбища, обступив Жана-Батиста, чтобы прикрыть его.

Снаружи Кормайон-старший предложил угнать одну из машин, припаркованных у забора. Просто ради прикола – кипеж поднять. Они бросят ее чуть поодаль.

– Нет, – отрубил Гийяр. – Не время дурачиться и рисковать.

– Когда я узнал об этом я был уверен что ты уйдешь, – сказал Гийяр мал му Сеньеле, которого не удивило подобное предчувствие. Он часто говорил о своем желании сбежать – просто не было удобной возможности, решающего случая.

Мадам Сеньеле было обидно, что нет склепа. Они бы опустили гроб в это дело, как полагается, современный крест, камень с выбитой надписью «Семья Сеньеле», они бы произвели лучшее впечатление. Но их застали врасплох. Мсье Сеньеле планировал совершить такого рода покупку, после того как оплатит все векселя за дом. Ну а пока Филиппу хватит места, арендованного на двадцать лет в детском закутке, вполне приятном на вид. Реймонда Сеньеле все же считала такое захоронение диковатым, немного неприличным, позорным. Однако цена и так была очень высокой. Из-за этой истории накрылся их отпуск и полугодовой бюджет. Можно сказать, что Филипп тянул из них жилы до самого конца. Она сто раз повторяла мужу: четверо – многовато.

– А куда делся Жан-Батист? – шепнула она на ухо Бертрану, подсчитав свое потомство.

Симона Рокен решила сознаться. Комиссар Лорж, которому снова отдают это дело, в полном восторге. Разумеется, она приревновала. Но ка-

кой странный способ убийства. Симона Рокен рассказывает. Она спокойно убила мужа у себя дома. Неожиданно напала на него с маленьким ножом для овощей, а потом колола без разбору, потому что он еще долго шевелился. Она сильная: натянула на него обувь, погрузила в машину и отвезла на солеварню. Хорошо, хорошо. Комиссар Лорж примет ее признание, только если она все это докажет. Может, она сочинила целый роман, чтобы просто кого-то отмазать? Во-первых, неужели она в самом деле орудовала в одиночку? Мсье Рокен был высоким, тяжелым, крепким. А этот нож? Кстати, не хочет ли она рассказать, что сделала с младшим сыном Жюльеном, предполагаемым беглецом? Где труп? Ну-ка, постарайтесь. Не может же ребенок вот так просто взять и исчезнуть, раствориться в воздухе.

– Нет не было никаких напрягов, – утверждает Жоашен Леско. По его словам, утро в комиссариате было весьма увлекательным. Он даже не испугался.

– Нет! – говорит он. – Мама!.. Мы жрали как кони! Да! С Аленом! Он сам так сказал!

Это выражение непомерно развеселило Мари-Антуана Перефикса, хотя Эрве и исправил:

– Не жрали, а ржали, Жоашен.

Он немного нервный, но мясо очень хорошо приготовилось. Ему не хотелось бы рассказывать о допросе, который его так потряс. Особенно страшным был этот старый господин, этот Лемазье. Мамы согласны с Пеллисоном. Они еще не оправились от того, что кто-то посмел обвинить их детей. Мадам Леско заявляет, что, если бы даже мальчонка обокрал ее прямо у нее на глазах, пусть ее лучше обдерут как липку, чем вмешивать в это

дело полицию. Какая бесчеловечность.

– Ты бы разрешила нас обокрасть? – спрашивает Жоашен: у него разыгралась фантазия. – Всё кафе?.. – Он смеется от удовольствия. Мать его целует.

– Не надо перебарщивать в некотором смысле, да уж, мадам Леско! – отвечает Мариетта Перефикс. – А то это одно и то же! Не надо!

– Но я же совсем не говорю чтобы вы меня обокрали чтобы меня обокрали! Ну я вполне могу договориться с пареньком, не обращаясь к этим господам!

– А кто обокрал твою маму? – удивленно спрашивает Мари-Антуан: он смотрит вокруг и не видит никакой пропажи.

– Послушай деточка, не надо так много этой горчицы, она очень-очень острая! – говорит Ивонна Леско. – Возьми другой из красной банки! Я говорю вам о том, что я, например, этот сосед, этот Лемазье. Мне кажется, будто я видела, как дети бродили вокруг того самого дома, где был совершена…

– Мари-Антуан да не пей же ты так много!

– Ну да, мерзкий тип, – говорит Эрве.

– Ну да, – подтверждает мадам Леско, – если бы я действительно была уверена, предположим, я бы позвонила в дверь этой мадам Арно, объяснила ей, что это очень серьезно, мол, я боюсь, что дети…

– Ну да! Это факт! – соглашается Мариетта Перефикс. – Нужно же все-таки быть людьми! Ведь мы же не звери!

– А что я вам говорила! – подытожила мадам Леско. – Скотина!

– А кто тогда украл деньги у той тети? – вдруг

спрашивает Мари-Антуан. Он пьет воду, слегка подкрашенную вином. Эрве пинает его под столом. Еще не хватало, чтобы этот кретин сейчас всех выдал. Эрве твердо решил больше не воровать с малышней. Только с Вио, если обязательно нужен напарник. Или, возможно, вообще завязать. Его чуть не спалили. Мамаши едят с огромным аппетитом.

– Они вернут деньги, и дело с концом, – говорит мадам Леско.

– Во-во, хорошенько выпороть, чтобы надолго запомнили, и всё! – подхватывает мадам Перефикс. – Какой дикарь, смотрите-ка.

– Но ты же сказала что всё полностью-преполностью закончилось, тетя? – спрашивает Эрве.

– Да что ты, милый, вовсе нет, – говорит мадам Леско. – Он продолжает свое расследование. Представляете? Свое расследование!

– Значит, они снова туда пойдут? – говорит Жоашен.

– К мадам Арно? – рассеянно говорит Мари-Антуан.

– Котеночек мой, – взволнованно отвечает мадам Леско, – ты еще в этом сомневаешься? Вы знаете мадам что этот господин Лорж сказал мне о следственном эксперименте?

– Следственный эксперимент! – восклицает Мариетта Перефикс. – Вот это да! Мадам! Тут вы меня оглоушили. Оглоушили! Я оглоушена мадам Леско!

– Совершенно верно! Представьте, что он хотел бы закинуть наших деток через окно в подвал и посмотреть, чт получится!

– Боже мой! Посмотреть, чт получится! Да уж! – визжит мадам Перефикс. – Решетка, вы хотите

сказать?

– Решетка. Ну да. В подвале той дамы.

– Какой ужас!

– Деньги были не в подвале, – замечает Мари-Антуан. – Ай! Перестань Эрве! Ай!.. Это он, мам! Ай.

Мадам Леско, к счастью, подумала, что ребенок просто задал вопрос. Подождав, пока Мариетта влепит затрещину, она отвечает:

– Она мне не сказала куда их кладет дорогой, я не знаю. Но разве миллионы хранят у себя дома мадам?

– Миллионы, какой ужас! – причитает мадам Перефикс.

– Да а если вдруг выяснится что это он этот старикан все заграбастал, – высказывает предположение Эрве Пеллисон, внезапно оживившись. Тетка многозначительно кивает.

– Как знать, как знать, – комментирует мадам Перефикс. Сама бы она до этого не додумалась. Она очень рада, что виновного не отпускают. Это разряжает обстановку за едой.

Ален Вио предлагает Гийяру сообщить врачихе Амбрез. Он клянется, что ей можно доверять. Марк не решается. Если бы только рискнуть перенести Камиля. Однако это нереально. Тяжелораненый может умереть. Поднимая его наверх, они здорово его растрясут. Но в то же время рассказать всё врачихе…

Ребята совещаются и сходятся на единственном разумном решении. Они уйдут с хазы и снова переберутся на другое место. Оставят здесь только Камиля. Дежурить рядом с ним будет его брат Бенуа. Им хватит питья, еды и денег. Вио известит врачиху Амбрез. Расскажет ей по минимуму.

Приведет в пещеру. Потом они проследят за ней, чтобы узнать, что она будет делать, и избежать неприятностей.

У Бенуа есть выбор: он может потом присоединиться к остальным или, наоборот, пойти с Камилем, а значит, вернуться к родителям. Но они могут учинить ему допрос с пристрастием. Пусть хотя бы поклянется, что никого не выдаст.

Бенуа Гассе говорит, что поневоле придется назвать Франсуа Буатара, раз уж они сбежали втроем. Франсуа отвечает, что ему пофиг. К тому же, если Гассе выходят из игры, он тоже не прочь воспользоваться случаем. Или, может, нет. Он еще подумает.

Они срочно начинают перебираться. Отступают к предыдущей хазе, чтобы сложить там пока самое необходимое. Остальное сбросят в воду.

Камиль в критическом состоянии. Они боятся, что он умрет.

Как только пещеру очистили, Вио уходит. Он не сильно парится. Если даже мальчик умрет, это его не колышет. И это не его банда. Никто ничего не знает о Жюльене Рокене, а Алена Вио не интересует здесь ни один другой чувак.

Сначала он заходит к бабке: он не знает точного адреса врачихи Амбрез. Врачи в такое время вообще дома?

– Ну и зачем тебе сдался этот доктор? – визжит мадам Вио. – Ты хоть поел бы для начала, паршивец!

– Ага, – говорит Вио. – А что у тебя есть перекусить?

– Есть тунец, я сварила тунца. Но он уже весь засох, ты не захочешь это есть. Засранец смотри у меня паскудник.

– Я гляну.

Он подходит к плите, заглядывает в чугунок, нюхает.

– Ну и вонь протухла твоя рыбеха! – говорит он.

– Сам ты протух, подлец, ух доберусь я до тебя!

– Стерблядь ты жрешь стерблядь! – кричит Вио, поднимаясь к себе на чердак. Этот привычный обмен любезностями между бабкой и внуком нисколько их обоих не смущает.

– Ну и зачем тебе понадобился ее адрес, врачихин? – продолжает мадам Вио. – Ты что заболел? Так еще рановато по времени года.

– Угу, заболел, – смеется Ален Вио. – У меня жопа болит! Зуб режется! Огроменный зубище!

Он скатывается по лестнице и убегает. В конце концов адрес можно легко выведать на почте. Некогда читать самому, но он спросит.

Врачиха Амбрез дома. Вио объясняет. Он рассказывает немного лишнего, потому что не знает, как быть с этими револьверными выстрелами. Полина Амбрез умело скрывает собственные эмоции. Она говорит, что раненому требуется срочная помощь – понадобятся кровь, сыворотка. Необходимо сообщить в больницу. Ален Вио подождет здесь и отведет их.

Ребенок упирается. Он клянется, что не дружит с теми. Он не хочет быть замешанным в эту историю. Он тут ни при чем. Он не виноват, если какой-то придурок из банды поручил ему это вонючее задание. Значит, он должен расплачиваться за других?

Мадам Амбрез успокаивает. Она обещает его оправдать. Она понимает, чувствует, что он не виноват, что у него ничего общего с этими несчаст-

ными запутавшимися детьми. Но непременно нужно спасти раненого малыша. Каждая минута на счету. Люди из больницы не могут забавы ради искать нужную пещеру вдоль ущелья: Вио должен их отвести.

Мальчик ей не верит. Он не подумал и теперь чувствует себя загнанным в угол. Врачиха уже позвонила в больницу.

– О нет о нет! – говорит Мариетта Перефикс. – Вы очень любезны! Но ему нужно прикорнуть после еды! О да о да! И я не знаю буду ли открывать после обеда. Из-за этой дамы с этими ее деньгами мы тоже терпим убытки. Мы не считаем но это же всё равно идет в счет! Касса не наполняется сама собой, пока мы ночью спим! И он тоже ему тоже нужно о да!

Мамаши расцеловывают друг друга. Они слегка захмелели от еды и вина. Вернувшись в кухню, мадам Леско наливает себе еще кофе. Ее цыпленочек не хочет вздремнуть? Ну да, разумеется. Ах, очень мило, что Эрве его уложил. Он должен воспользоваться этим и тоже прилечь. Она и сама, несмотря на кофе, пожалуй… Из-за всех этих треволнений желудок плохо работает. Да и мороженое у Горена жирноватое. Нежное, легкое, это да, но что есть, то есть. Переешь, а потом все эти сливки бурлят в животе.

Эрве говорит, что отдохнет вместе с Жоашеном, у которого в комнате стоит большое кресло.

Уже несколько дней Эрве Пеллисон не ласкал украдкой двоюродного братика. Он чувствует себя защищенным благодаря общему проступку и общему риску. Поэтому в последний раз он уже открыто спровоцировал Жоашена. Поцеловал в губы и даже засунул язык в рот. Они сняли штаны,

ну и всё, что из этого следует. Жоашен оказался очень падким до этих забав. Он представил, как они приспособят задницы. И рассмеялся, рассмеялся. Он хочет заниматься этим каждый день, и они разденутся догола. Закрыв ставни в комнате, Эрве осторожно пододвигает кресло к двери.

– Зачем ты это делаешь? – спрашивает Жоашен, лежащий одетым на своей кровати. Эрве укладывается рядом и раскрывает свои планы.

Очень трудно заниматься этими вещами бесшумно. Жоашен не в силах сдержаться.

– Вот шалун! Не надо смеяться, надо баиньки! – выговаривает мадам Леско из своей комнаты. – Пососи большой пальчик, и баиньки! Потом пойдете купаться! Эй, Жоашен?

– Слыхал? – шепчет Эрве, облизывая мальчугану животик. Жоашен задыхается от смеха и опускает его голову ниже. Кожа слегка отдает стиральным порошком – запах исходит от нательного белья. Наверное, мадам Леско плохо его прополоскала или пользуется слишком пахучей маркой – видимо, из-за пластмассовых подарочков в упаковке, которых требует Жоашен. Вечно ему не хватает игрушек.

– Положи меня вот так! – говорит Жоашен: он любит, когда Эрве кладет его на себя и вставляет хуй между ляжками, а потом они целуются, ерзают, дурачатся – нос к носу, зубы к зубам.

– Рано еще, подожди! – шепчет двоюродный братик, обсасывая перед и щекоча зад. Жоашен блаженно вздыхает и берет его большой палец. Изредка он останавливается, отпускает и хихикает, а щеки заливает румянец, если Пеллисон щекочет слишком сильно.

«Скорая» реанимации перевезла Камиля Гассе

в больницу. Вероятно, его спасут. Врачиха Амбрез сдержала слово: по возвращении она незаметно выпустила Вио, которого прихватила с собой в машину. Нет, она не знает его имени и где он живет, он позвонил ей наугад, и она не может сказать ничего такого, что помогло бы его опознать. К тому же это малолетка, наверняка он не имеет отношения к делу.

Полиция, извещенная медиками из больницы, прошерстила каждый сантиметр пещеры. Улов богатый: ребята оставили гораздо больше компрометирующих улик, чем предполагали. Уже можно провести массу сопоставлений. Полиция изучает опись краж и грабежей, совершенных, начиная с весны. Трудно поверить, что пресловутая банда братьев Гассе провернула столько дел. Подобная история способна развратить умы. Заковыристая ситуация. Остается надеяться, что замешано не слишком много семей и что виновных задержат.

Председатель Гассе получил от супрефекта разрешение первым допросить своего сына Бенуа, причем без свидетелей.

Он проводит этот разговор с глазу на глаз – чинно и по всем правилам. Вначале Бенуа без утайки рассказывает о своем с Камилем приключении. О посещениях вилл с Франсуа-Жераром, попойках, мелком воровстве, бегстве и т.д. Он ошеломлен, его мучит совесть, за полдня он повзрослел на два-три года. Отец слушает, прощает, сглаживает, оставляет без внимания, понимает, допускает, терпеливо ждет.

А затем переходит к главному – Бенуа должен рассказать всё, что знает о бандитах: имена, деяния, планы, тайники. Бенуа Гассе, естественно, подчеркивает свою верность слову: он поклялся

хранить молчание и никого не выдавать. Его могут пытать, посадить в тюрьму – он будет молчать.

Председателю Гассе это знакомо. У него большой опыт борьбы с совестью – чужой и своей собственной. Он не берет сына приступом. Ведь для Бенуа нет ничего зазорного в том, чтобы назвать убийц своего брата – ребят из соперничающей банды? Уж им-то он не давал слова?

Бенуа очень быстро сдается. У него смутные представления. Он немного лжет самому себе: когда полиция схватит тех из Рош-Нотр-Дам, она не сможет напасть на след остальных. Если, конечно, банда Кра во всем не признается: но в этом Бенуа уже не виноват, и нужно иметь мозги набекрень, чтобы его в этом упрекнуть. Как бы он мог скрыть личности парней, чуть не убивших его родного брата? Это слишком серьезно, и его действия оправданы. Он девственно чист и уже готов яростно наброситься на всякого, у кого хватит наглости в этом сомневаться.

Отец мягко его подбадривает. Бенуа сделал смелый шаг, но этого недостаточно. Отдает ли он себе отчет в том, что, солидаризовавшись с этими юными правонарушителями, совершил серьезнейший проступок? Разве этим противоестественным союзом он не поставил под угрозу жизнь брата и свою собственную, репутацию своей семьи, а тем самым и жизнь своего отца – Анри Гассе? Правонарушения, в которых он участвовал, – это пустяки, они, скорее, нелепы, нежели преступны. Но связь с… этими… Неужели он станет утверждать, что действительно влился в их группу и они не чувствовали существенной разницы? Разве Бенуа решится заявить, что испытывал к ним хотя бы малейшую симпатию, малейшие дру-

жеские чувства и что их выказывали ему самому – пусть даже в малой степени?

Председатель Гассе до самого вечера пытается сломить сопротивление ребенка. Его надежное оружие – родственные и классовые чувства. Он интуитивно уловил, что в глубине души сын ненавидел сообщников, гнушался мелкими людишками, предпочитал самого себя – всё, как его учили. Он не станет слишком долго упорствовать в так называемой «верности слову», которая на самом деле привела его к предательству тех, для кого он по-настоящему что-то значит: своих родителей и своей среды. С ангельским терпением и гибкостью мсье Гассе добивается своей цели: Бенуа выдает всех ребят. Он прощен, никто и никогда его не потревожит.

На следующий день несколько полицейских отрядов приступом берут укромные места, указанные Бенуа, разделив весь район на участки. Супрефект умолял не поднимать лишнего шума, но у легавых свои традиции. Тем не менее обошлось без жертв: если не считать нескольких бранчивых хулиганов, которых слегка потрепали, никто не пожалел о допущенных промахах. Пресса во главе с Морисом Глера поздравила силы правопорядка. Перепуганные семьи серьезно возьмутся за своих ребятишек, чтобы те тоже не превратились в бандитов. Каникулы продолжаются, дисциплина на высоте, все счастливы и ходят по струнке.

Жюльен приподнял угол сетки, отставшей от столба, и проскользнул под ней. Прячась за душистыми кустиками, он осмотрел сад. Впереди на террасе ужинали люди при мигающем свете двух-трех электрических фонарей. Двери и окна дома открыты. Легкий шум волн почти заглушал

беседу.

Отличное время для кражи, отметил про себя Жюльен. В этой части острова, на северо-западе, имения были мелкобуржуазными, отдыхающие вели самонадеянную и предсказуемую жизнь. В одиночку Жюльен мог заходить по своему желанию, куда хотел. Он опасался только детей и собак.

Он быстро определил, где находится кухня. Проанализировал жесты людей и догадался, на каком они этапе ужина. Из-за палящего августовского зноя ели здесь поздно вечером – поэтому дом долго оставались открытыми, и проникнуть туда под носом у жильцов становилось проще простого.

Мальчик дополз до окна, которое, вероятно, было окном кухни. Прислушался к ближним голосам. Люди жрали, пили – Жюльен был в безопасности. Он влез в окно и бесшумно спрыгнул в кухню. Развернул свою сумочку, которую можно было по окончании кражи повесить на спину, чтобы освободить руки.

Вид у Жюльена был ухоженный. Он даже недавно сходил в парикмахерскую: в туристический сезон весь остров заполоняют незнакомые дети, никто ничего не спрашивает. Жюльен пользуется этим еще и для того, чтобы сделать немаловажные запасы. Он устроил себе берлогу на дикой оконечности побережья, где обнаружил развалины заброшенного старинного маяка. Шпионил за ним днями и ночами; сто раз обошел все окрестности; место было надежное; колодец – превосходный.

Он аккуратно набрал жратвы. Эти люди были гурманами! Открыл холодильник. И любителями выпить! Жюльен запасался провизией, навострив

уши.

Как раз перед тем как смыться, он заметил на буфете пузырек: ловко стянул его и улыбнулся. Это был эфир. Он вылез в окно, прокрался сквозь сад, снова перелез через ограду и вышел на песчаную дорогу. Ночь была теплая и тихая: укрытие искать незачем. Он нырнул в каменистые заросли.

ПРИРОДА

Я постоянно замечаю из моего высокого окна сухощавую старую женщину, словно заключенную в четырех стенах своего двора, где ее никто не может увидеть – только я с седьмого этажа. Она никогда оттуда не выходит. Являет ли она собой в моих глазах Китай, Европу, Францию или саму Природу? У нее есть белая курица, черный кот, герань, корыто для стирки, стол, стул, муж, работа, отдых. По утрам она, в простой домашней одежде, стирает белье, а по вечерам, нарядившись как на праздник, два часа отдыхает, сложив руки и глядя перед собой. Можно подумать, что она в раю – столь умиротворенной она выглядит. Ей достаточно сделать два шага, чтобы оказаться на оживленном бульваре, среди ярких вечерних огней, но она предпочитает уединение. Здесь, по крайней мере, ей не нужно ни с кем себя сравнивать, и она забывает о своем возрасте. Она не более худа, чем другие, дела у нее идут не хуже. Курица спит; кот сидит у двери конюшни, повернувшись спиной к остальному миру; мужчина стоит у выходящей на бульвар калитки, повернувшись спиной к жене. Она возвышается на садовом стуле за столом, как королева, слева у ее ног цве-

тет герань, справа стоит корыто, огромное, как бездна Паскаля. Когда муж возвращается за стол, он привычным жестом закидывает ногу на ногу и опирается локтем о колено. Оба не говорят друг другу ни слова. Медленно сгущаются сумерки, и раскрытая газета превращается все в более яркое белое пятно. Еще через какое-то время Природа отправляется спать. Человек следует за ней.

СПЯЩИЙ

Человек спит прямо на парапете набережной, обхватив себя руками за плечи. Ноги и голова свисают вниз. Тело настолько скрючено, что видна полоска обнаженной кожи между коричневым вязаным жилетом и синим поясом брюк. Во сне он слабыми непроизвольными движениями будто стремится как можно больше увеличить расстояние между головой и ногами, и наружу всё заметнее выступает голый живот – словно открытая рана. Соединенные руки вытягиваются, как лебединая шея, сияя белизной; в лунках ногтей – следы засохшего гипса. В каждой складочке этих рук во сто крат больше интеллекта и духовности, чем в ужасном, отталкивающем лице, которое затерялось где-то под ними, словно рухнуло в бездну.

СЛАВА

Женщина в ветхой одежде, худая и бледная, с искривленными ногами, скошенными внутрь ступнями, впалой грудью, выпирающим животом, сгорбленной спиной и острым как игла носом бредет в середине дня по рю Ванно. Под мышкой она несет, бережно прижимая его к тощему телу, деревянный шест, на конце которого покачивается огромный погребальный венок, заботливо укутанный в три слоя – ваты, капка и вощеной бумаги, в то время как сама женщина одета чуть ли не в рубище. Какая печальная у нее участь – разносчица погребальных венков, и какая болезненная фантазия, заставившая выбрать такой странный и смешной способ доставки! О святой Сульпиций! она шатается, она вот-вот упадет под этим бременем чужой славы, всем своим видом словно говоря, что стремится лишь к одному: поскорее умереть самой и оказаться в общей могиле, куда ее отнесут, как погребальный венок – символ завершения всех земных скорбей.

ЛОШАДЬ И МЕЛКИЕ ПТИЧКИ

Каждый день в один и тот же час ломовой извозчик останавливает свою лошадь возле ресторана на авеню де Версаль и задает ей меру овса в мешке, который подвешивает к ее морде, обмотав завязки вокруг ноздрей. Привлеченные звоном бубенцов на упряжи, со всех сторон слетаются воробьи и другие мелкие птички. Они давно поджидали эту лошадь, которая сейчас смотрит на них поверх мешка с овсом и, кажется, улыбается им. Птички вспархивают с земли к самой ее голове; два огромных глаза, каждый размером с любую из них, казалось бы, должны внушать им страх – но нет; очевидно, в глубине этих глаз они видят одну лишь доброту этого благородного животного, чей рот и крупные зубы к тому же скрыты от них мешком. Единственное, чего они боятся, – так это ее огромных железных подков, которыми она, неосторожно переступая ногами, может их расплющить; но, словно специально для того, чтобы не причинить им вреда (или из опасения отпугнуть эту весело щебечущую ватагу), лошадь стоит неподвижно, хотя и страдает от укусов слепней. Некоторые птички, будто догадываясь о ее дружеском расположении, цепляются коготками за

холщовую ткань мешка и клюют овес уже прямиком из него; другие пытаются уцепиться за повод; кто-то суетливо машет крыльями возле остроконечного лошадиного уха, которое слегка подрагивает, отгоняя его. Когда они становятся чересчур назойливыми, в ее негромком миролюбивом ржании, кажется, звучит некоторый упрек; но потом она, словно забавляясь, нарочно приподнимает голову и встряхивает ею, чтобы просыпать побольше овса из мешка на землю, щедро делясь с птичками своим счастьем.

ПЬЯНЧУЖКА

Возле дверей бара на рю Дофин стоит на коленях старуха, почти касаясь массивным лбом стекла, о которое она иногда ударяется, не замечая его. Левой рукой она пытается вытащить что-то из пустоты, принимая ее за свою сумку.

ПЛЕННИК

Какое достоинство, какую вдохновенную бледность увидел я на лице человека, который шел вчера в сопровождении двух полицейских по Кэ-де-л'Орлож! Его скованные за спиной руки выглядели как две искупительные жертвы, которые он принес, чтобы избавить себя от унижения. За всё то время, что я мог за ним наблюдать, он поднял глаза не более двух раз, пройдя около сотни шагов. Как ему удавалось выглядеть так, словно он один? Что он совершил? Я перебрал одно за другим все злодеяния и преступления; ни одно не подходило к его лицу – худому, утонченному, аскетическому, на котором не было ни тени заносчивости и в то же время читалось природное превосходство, делающее его недосягаемым для всех, даже для двух его отвратительных ангелов-хранителей, которые рядом с ним казались большими детьми – словно это он вел их за собой.

Меня всегда неудержимо влекло к преступникам – я им сочувствовал и одновременно ими восхищался, в глубине души будто сознавая, что лишь в оковах можно наконец-то стать по-настоящему «свободным»; и не потому ли я желал для себя их оков и их стражи, что в моих глазах это сближа-

ло их с Христом? Такое сходство присуще любому преступнику, даже тому, кто полностью заслуживает казни.

Каждый день у себя в номере отеля Фёдор потягивается, скучает, ничего не ест на завтрак, обедает фруктами и шоколадом. К четырем часам он одевается со всей тщательностью. Элегантность его костюма безупречна – всё на своих местах, ни одна деталь не забыта. В шесть вечера он наконец выходит из отеля и прибывает на бульвар с наступлением темноты. Кажется, что взгляды всей публики обращаются к нему, когда он выходит из-за угла; его шарф из переливчатого шелка поверх отороченного бархатом пальто оттеняет бледное, томное лицо. Внезапно он делает резкий пируэт – это выглядит так, словно он едва не упал, но в последний момент удержался на ногах, – а потом, преувеличенно жестикулируя, поправляет манжеты, приглаживает волосы и отряхивает пальто с помощью фетровых перчаток. Именно здесь, на бульваре, он у себя дома. Пройдя каких-нибудь двадцать шагов, он буквально преображается; здесь его привычный мир вечерних сумерек и сияющих вывесок. Он ужинает без особого аппетита с незнакомцем, которого «презирает за его деньги», и возвращается только на рассвете – еще более бледным, более томным, более изможден-

ным, более горделивым, чем вчера, и без гроша в кармане. Смерть станет для него первым пробуждением.

БУКЕТ

Бедно одетая женщина улыбается, глядя на букет, который только что подобрала с мусорной кучи. Она испытывает робкую надежду его продать, и ей доставляет удовольствие представлять себе всё то, что она купит себе на обед, который полностью зависит от этих полусгнивших цветов. Сидя на бульварной скамейке со своей красной зловонной мечтой в грязных руках, она находит в себе силы не просить подаяния и обманывать голод.

РАЗГОВОР В АВТОБУСЕ

У мужчины огромные руки, слишком большие для него – будто накладные. В этих руках – вся его сущность, сам он выглядит как приложение к ним. Он говорит. Говорит не столько ради того, о чем идет речь, не столько ради того, чтобы быть услышанным, сколько для того, чтобы говорить. В основном он говорит руками и складками возле рта – по крайней мере, это всё, что улавливает его жена, сидящая напротив, которая вынуждена на него смотреть, но уже давно привыкла пропускать его слова мимо ушей. Они оба ничего не потеряли бы, даже будь он немым, а она – глухой. Она, со своей стороны, не отвечает ему словами – лишь складки возле ее рта изгибаются в такт движениям складок возле его рта, а жестам его рук она отвечает кивками головы, пожатием плеч и покачиванием искусственных веточек на своей шляпе, напоминающих усики гигантского насекомого. Если бы ее муж вдруг перестал говорить, она бы растерялась, как если бы складки возле ее рта, ее голова, плечи и усики на шляпе внезапно остались бы без дела; и точно так же он иногда говорит словно в пустоту, отвечая на вопрос, которого ему не задавали.

МАЛЕНЬКИЕ РИТУАЛЫ

Каждый день в двенадцать часов благообразный человек лет пятидесяти завтракает стоя на небольшой улочке, которую видно у меня из окна. Завтрак он приносит с собой, держа в руках – скорее всего, это хлеб с сыром, завернутые в бумагу. Завидев прохожего, он всякий раз опускает глаза. Он никогда не запивает еду – точно кролик.

Полчаса спустя появляется старая тряпичница с пунцово-красным лицом и серебристыми волосами. Она занимает место под тем же самым газовым фонарем, чтобы в свою очередь позавтракать – но, в отличие от предшественника, она садится и почти ничего не ест, только пьет. Она приносит с собой два литра вина, красного и белого, и выпивает их одним махом. Едва завидев прохожего, она осыпает его оскорблениями, пока он не скроется из вида – пусть даже за всё это время он ни разу не посмотрит в ее сторону.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Толпа детей из Порт-Ройяль де Гренель штурмует будку общественной уборной. Самая большая радость – забраться на гребень крыши, наполовину провалившейся, и усесться на него верхом. Иногда они взбираются туда по трое-четверо одновременно, потом кто-то сваливается, за ним другой – или прямо в дыру, или рядом с ней. Однако все вылезают как ни в чем не бывало, отряхивают куртки, кто-то проводит сухой рукой по мокрым волосам – и снова карабкаются вверх, чтобы занять ненадежное место под солнцем.

ГАЛСТУК ПЕСОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

С утра до вечера этот человек перекапывает кучу песка, и с утра до вечера концы его галстука болтаются у него перед глазами, задевая черенок лопаты. Они явно мешают – то заслоняют вид в самый неподходящий момент, то наматываются на руку. По сто раз на дню этот галстук отвлекает его от работы, но даже изнемогая от жары и усталости, которая еще усиливается необходимостью каждый раз поправлять бесполезную тряпку, человек даже не помышляет о том, чтобы от нее избавиться. Неужели он настолько рассеян или настолько недалек? Или эту удавку специально выдали ему, чтобы помучить? Нет, но благодаря ей он не думает ни о своей работе, ни о своей усталости, ни о своем отдыхе, полностью поглощенный этой единственной вещью, которая освобождает его от необходимости воспринимать всё остальное.

ВИРСАВИЯ

С наступлением сумерек женщина распахивает решетчатые ставни на окнах своего дома, весь день оберегавшие его от жары, и, подтягиваясь на руках, взбирается на крышу, чтобы подышать свежим воздухом. Там она сидит в задумчивости, рассеянно наблюдая за ребенком, в одиночестве играющим на лужайке в десяти метрах внизу.

Прямо напротив нее лежит на боку мужчина, положив голову на мостик своей барки. Одна его обнаженная рука прижата к груди, другая вытянута вдоль тела. Кисть этой руки, будто изваянная из белого мрамора, великолепна. Она необычайно огромна – даже издалека можно разглядеть во всех подробностях ее пальцы, лежащие на колене, словно на пьедестале.

СБОРЩИЦА УГЛЯ

Маленькая старушка ждет появления угольных фургонов, стоя в семь часов зимнего утра у перехода в Пасси. Когда они проезжают, она следует за ними до моста Гренель. Как только из какой-нибудь фуры падает на землю уголек, она наклоняется и подбирает его. Если он рассыпается в черный порошок, она жалеет о том, что его не подобрать, а если не рассыпается, – о том, что за ним надо наклоняться, а это так мучительно. Приподняв голову, она видит подходящий кусок угля, упавший чуть подальше, и торопится к нему. Волосы падают ей на глаза, она едва волочит ноги, чтобы не потерять слишком разношенные туфли, подвязанные к щиколоткам ремешками – они тоже мешают идти быстрее. По мере того как она движется следом за повозками, ее силы постепенно убывают, а мешок становится всё тяжелее; но ее походка не становится от этого тяжеловесной – напротив, кажется, что она идет на цыпочках и, словно пьяная танцовщица, поминутно теряет и вновь обретает равновесие и задор. Ее движения даже не лишены изящества – будто она и впрямь танцует под аккомпанемент колокольчиков на упряжи ломовых лошадей. Мешок, наполовину

полный, теперь волочится по земле и еще сильнее мешает ей; она вынуждена приподнять его левой рукой, и ее локоть образует острый угол, который ранит небо всякий раз, когда правая рука устремляется к черной земле.

Через какое-то время я перестаю различать в тумане повозку – теперь она выглядит огромным размытым прямоугольником, вслед за которым движется нечто вроде многоконечной звезды, кружащейся на ветру – как будто ее заставляет вращаться какая-то секретная пружина. Но вскоре повозка исчезает окончательно, и я вижу лишь маленькую старушку, неподвижно лежащую, раскинув руки, на своем мешке, который, разорвавшись, рассыпал уголь на все четыре стороны.

БЕЛЫЙ КРОЛИК

Из окна я вижу позолоченную клетку с птицами нашей консьержки. Белый кролик, которого отпускает свободно гулять во дворе его хозяин, сосед с первого этажа, с утра до вечера смотрит на них восхищенными глазами и слушает их пение, замерев неподвижно, словно в экстазе, и вытянув перед собой передние лапки в точности параллельно друг другу. Возможно, ему кажется, что он охраняет этих птиц; но получается так, что он и в самом деле их охраняет – стоит кому-то из окрестных кошек приблизиться к их сияющей обители, столь прозрачной, столь совершенной, – и белый кролик, словно серафим у небесных врат, бросается на защиту своих богов. Он пищит, верещит, изрыгает пламя. Поначалу кошки нападали на него, но, удивленные отвагой столь явно безобидного существа, со временем отступились, словно в знак уважения к такой самоотверженности.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Маленькая больная девочка сидит на пороге дома, облаченная в свадебный редингот своего отца. Ее младший брат одной рукой держит ее за руку, а в другой сжимает нитку красного воздушного шара, трепещущего высоко в небе и словно уносящего их обоих в неведомый мир, далекий от нас и от них самих.

ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ ДАРАМ

Возле самого Божьего Лика – умное личико маленькой девочки, которая, напустив на себя нарочито бессмысленный вид, монотонно шепчет привычные размеренные слова – ее губы смыкаются и размыкаются, будто створки капкана, голова наклонена, словно под бременем благоговения, глаза плотно закрыты, как духовные сферы – от профанов.

Священник, идя по проходу, поочередно благословляет детей, поднося к голове каждого дароносицу. У одного такой вид, будто он предпочел бы, чтобы его ударили, лишь бы не касались ею.

Распорядитель церемонии – высокий и стройный молодой человек. Свои руки, очень красивые, он складывает поверх пояса всякий раз, когда что-то шепчет на ухо прелатам, а те время от времени жеманным движением двух пальцев поправляют ему прядь волос, свесившуюся на прозрачно-бледный лоб, по которому пробегают тени и отблески свечей.

Справа от меня – отец семейства, кажущийся вполне заурядным до того момента, как все опу-

скаются на колени, ожидая благословения. Торжественным и в то же время привычным жестом он берет в обе руки длинные косы своей дочери, свесившиеся вниз точно так же, как пряди волос распорядителя, и раскладывает их на полу в виде цветочного узора. Девочка даже не оборачивается: должно быть, уже привыкла к мании своего отца. Последний, судя по виду, погружается в глубокое мистическое созерцание.

Молодой господин слева от меня то и дело простирается на полу, уперевшись лбом в свой зонтик, а затем осеняет себя крестом. До окончания церемонии он успевает проделать это не менее сотни раз. Крестясь, он каждый раз смотрит в мою сторону рыбьими глазами. Его руки имеют цвет лосося, а подмышка – его запах. Кажется, и сам Господь Бог не смог бы взглянуть на него без омерзения, несмотря на всё его показное благочестие, – настолько он уродлив. Кажется, что подошвы его ног, касающиеся его лежащей на полу жемчужно-серой шляпы, не имеют никакого отношения к голове.

СОБАКА УГОЛЬЩИКА

Собака угольщика будто пересчитывает мешки, касаясь их носом, а потом следует за своим хозяином, взвалившим их на себя, почти вплотную, пытаясь разделить с ним тяжесть груза. Она не умеет говорить, но по ее торопливым движениям можно догадаться, с какой готовностью она взяла бы всю эту ношу на себя, чтобы хозяин мог отдохнуть, и как сожалеет, что не в силах этого сделать. Между двумя подергиваниями за ошейник хозяин обычно гладит ее, а если он забывает это сделать, собака тычется мордой в его холодные руки, чтобы согреть их своим дыханием, или слизывает пот с его лба. Для этих двоих, кажется, не существует больше никого в целом мире, за исключением их лошади и угля. Они одновременно трогаются с места, одновременно останавливаются; можно было бы сказать, что они – одно существо, но из них двоих угольщик сильнее устает, а собака сильнее любит.

КОШКА И РЫБЫ

На первом этаже дома в предместье, в окне обители бедняков, среди горшков с геранью, в обрамлении штор из камчатного полотна, неизменно сидит белая кошка. Чуть подрагивая розовыми ноздрями, она завороженно созерцает огромный стеклянный шар аквариума с красными рыбками, висящий у нее над головой. Он держится на потертой веревке, зацепленной за ржавый гвоздь, вбитый в трухлявую доску. Знает ли она об этом? Кажется, она в любую минуту ждет крушения этой небесной сферы, чтобы наконец-то сожрать недосягаемых для нее божеств.

БАЛКОН

Бабушка в красной шали сидит на балконе справа, с книгой в руке. Мать в белой блузке стоит слева и гладит белье. Дети, играющие во дворе, очень хотят привлечь внимание той или другой, но обе поглощены своими занятиями. Дети уже почти готовы заплакать или сделать что-то дурное, лишь бы только на них посмотрели.

ЖУРАВЛЬ

Мужчина орудует огромным журавлем, набирая воду из реки, пока его жена что-то стирает в тазу, одновременно присматривая за играющим ребенком. Каждый из троих разместился едва ли на квадратном метре узкого моста. Малейшая оплошность грозит гибелью. Однако мужчина вращает лебедку, женщина стирает, ребенок продолжает играть, и все трое при этом вплотную близки друг к другу и к смерти, – отчего улыбаются еще безмятежнее.

ЛОШАДЬ И ВОЗЧИК

Чтобы подбодрить свою лошадь перед тяжелым подъемом под палящим солнцем, возчик поглаживает ее губы кожаной бахромой своего кнута, целует ее в морду и шепчет ей что-то на ухо. Лошадь, одновременно растроганная и смущенная этой ласковой фамильярностью, выглядит так, словно с трудом сдерживает слезы и собирается отказаться от незаслуженных почестей – пытаясь уклониться, она выпрямляет ноги, чтобы стать выше, и едва ли не становится на кончики копыт, как на цыпочки. Ее ноздри раздуваются, она запрокидывает голову и шумно дышит – но вот, побежденная, медленно склоняет голову на плечо хозяина. На ее морде читается замешательство, которое внезапно сменяется покровительственной насмешкой. «Вот дурак!» – словно думает она, в то время как ее добродушие, взяв верх над усталостью, заставляет ее ускорить шаг.

КОРОЛЕВСКИЙ ТРОН

Сегодня вечером я некоторое время следовал за необычной процессией, состоявшей из трех пьяных: один восседал на стуле, похожем на королевский трон, а двое других его несли, после чего он уступал место кому-то из них, и всё повторялось. Примерно через каждые десять шагов кто-то падал, и всякий раз не тот, кто прежде; но как только один полностью лишался сил, у двух других оказывалось их достаточно, чтобы его поднять.

ПРОХОЖИЕ

Человек идет небрежной походкой, обеими руками держа за спиной сложенный зонт. Он выдал замуж всех своих дочерей и теперь, уже не беспокоясь за их будущее, улыбается какой-то своей мысли, которая будто идет, пятясь задом, впереди него.

*

Женщина идет столь широкими и размеренными шагами, иногда чуть откидывая назад голову и верхнюю часть туловища, как это делают всадники, что кажется, будто ее ноги, слишком длинные для нее, ей не принадлежат – можно подумать, что она едет верхом на иноходце, скрытом у нее под пальто.

*

Отчего так триумфально шествует эта женщина в слишком короткой юбке и старых ботиках, давно вышедших из моды? Пальто с расклешенными рукавами она носит уже не менее десятка лет. Кружевной шарф, обрамляющий лоб, выгля-

дит потрепанным, но голова горделиво вскинута, а на лице читаются ревнивое обожание, властность и нескрываемое торжество над небытием – я хочу сказать, над собственным сыном, которого она держит за руку и которому явно предназначила жить лишь ею и для нее.

*

У нее маленький зонтик, который она держит, словно парашют, в левой руке; ее туфли, слишком узкие, не дают ступать свободно – такое ощущение, что при каждом ее шаге дорога ускользает у нее из-под ног, не желая нести на себе ее приземистое, грузное тело; и одновременно солнце бьет ей в лицо, отчего она вынуждена двигаться почти вслепую, как потерявший управление корабль. Он поддерживает ее под локоть, словно пытаясь удержать в границах благоразумия. Он хрупкий, бледный, долговязый, нескладный, у него нет никакой защиты от солнца и окружающего мира, и он вынужден быть вдвойне осторожным – ради себя и своей спутницы; в свободной руке у него тросточка, с которой он управляется, как гребец с единственным веслом.

Прогулка вдвоем: обоюдное нетерпение, уравновешенное взаимной предупредительностью.

*

Он идет передо мной, хотя вернее было бы сказать – танцует; можно подумать, что при каждом шаге, в то время, как его подошвы, словно

соревнуясь, всё больше отрываются от земли, он колеблется, спорит сам с собой – но в конце концов всё же не решается взлететь.

*

Лицо этой женщины парит в небе, а тело, будто подвешенное к этому светилу, покачивается туда-сюда, вовсе не касаясь земли.

ШЕСТВИЕ

Пелагея шествует по бульвару, возвращаясь от вечерни. Ее шляпа словно парит над ней, как шелковый навес, укрывающий массивный узел блестящих волос. О, гордость бедняков! – ее перчатки тянутся чуть ли не до подмышек, красноречиво свидетельствуя о том, что на рукава не хватило ткани. Позвякивают массивные украшения. Блеск фальшивых рубинов, которыми усыпан ее крест, способен ослепить только ее саму. Куда она идет? Ее шаги не слишком быстры, не слишком медленны. Никакой сюрприз, никакое разочарование не ждут ее в конце пути; она живет лишь настоящим, довольная своим платьем и той скромной долей восхищения, которая ей достается на пути от одной двери к другой, как всякий раз воскресным вечером. Она никого не замечает, а зрителям остается лишь воображать себе процессию, за которой или во главе которой она шествует. Но скажите же мне, куда идет эта женщина среди всех тех, которыми она была и которыми она будет?

НАСМЕШНИЦА

Насмешница сидит на террасе кафе на площади Сен-Мишель вместе со своим братом. Обоим около пятидесяти. Они позавтракали у общих друзей, а потом зашли сюда, чтобы немного поболтать прежде чем расстаться. Будучи портнихой, она не интересуется ничем, кроме моды, и когда мимо проходит пара, вид которой говорит о бедности, чужеродности, скованности, величии и трагедии, – то, если только одежда этих людей не сшита мастерицей своего дела, она насмехается над ними, не замечая в них ни величия, ни трагедии и ничуть не задумываясь о том, что по своему положению в обществе она гораздо ближе к тем, над кем она смеется, нежели к тем, кем она восхищается, так что ей стоило бы, оставаясь последовательной, смеяться в первую очередь над собой. Она смеется, не сознавая, что этот смех направлен ею на себя.

РАЗНОСЧИЦА ХЛЕБА

Разносчица хлеба, согбенная почти до земли, прямо на ходу, посреди улицы, опирается подбородком на руку, а локтем – на пустоту. Всё ее тело так устало – и голова еще сильнее, чем даже руки.

ПЛЕТЕЛЬЩИЦА СТУЛЬЕВ

Плетельщица стульев с бульвара Гарибальди выбрала свое ремесло, чтобы, по ее словам, жить без багажа. «Несколько стеблей камыша, деревянная рама, колышки – со всем этим я могу разместиться где угодно и заработать на еду и жилье», – говорит она.

МОЙЩИК ПОСУДЫ

Что за тайный опыт, свидетельствующий о королевском, если не божественном происхождении, или, может быть, возникший в результате одного-единственного счастливого воспоминания, озаряет это столь заурядное лицо улыбкой, которую, кажется, не сможет стереть даже смерть? Оно словно осенено благодатью. На нем печать жизненных невзгод и несомненного достоинства, помогающего их переносить; первое вызывает сострадание, второе – почтение. Этот морщинистый лоб цвета старой слоновой кости мог быть у китайского водоноса или каноника из Нотр-Дам, но его обладатель – всего лишь мойщик посуды.

ЧАСОВЫЕ

Когда идешь каждое утро привычной дорогой, неизменно видишь перед собой, всегда на одном и том же месте, в одно и то же время, тех же самых людей – все появляются в свой черед, словно заводные фигурки на башенных часах.

КАНЦЕЛЯРИСТ

Длинные бакенбарды, трость с серебряным набалдашником, темно-фиолетовый приталенный сюртук с длинными фалдами – кажется, этот человек был молод еще во времена Оффенбаха. Он появляется на рю Ренуар, неся в руке небольшой изящный сверток, перевязанный розовой ленточкой, вроде тех, в которые упаковывают пасхальные яйца, – бывший профессиональный фат, на склоне лет вынужденный податься в конторские служащие. Готов поспорить, что под кокетливой оберткой нет ничего, кроме хлеба и шоколада, которыми он позавтракает между двенадцатью и часом пополудни в уборной какого-нибудь притона.

СТАРАЯ ДЕВА

На улице Благовещенья я встречаюсь взглядом со старой девой, идущей от мессы и насыщенной недавними впечатлениями – ее глаза словно умоляют вас не поддаваться ее греховному желанию быть изнасилованной.

СТАРЬЕВЩИК

Перед домом Бальзака улица сужается, и сначала я вижу лишь две руки в белых перчатках, толкающие тележку, затем – благородное лицо отставного военного; это старьевщик, о котором все обитатели Пасси говорят, что он сбежал пятьдесят лет назад из Сен-Сира, – очевидно, ради более высокой чести копаться в их барахле.

СТАРЬЕВЩИЦА

В самом укромном уголке на рю Бертон сидит на ступеньке перед зеленой садовой калиткой старая женщина, буквально утопающая в своей длинной густой шевелюре, белой как снег, которую она постоянно моет или расчесывает, словно прилежная рабыня, ублажающая госпожу. Однажды я выразил восхищение ее волосами и заботой о них. «Ах, так значит, всё еще можно разглядеть, даже под грузом моих семидесяти лет и под этим рубищем, что я кокетка? – растроганно произнесла она, показывая мне свой железный гребень и флакон нашатырного спирта. – Значит, вам приятно, месье, видеть мои волосы такими ухоженными? Спасибо! – И она расплакалась. – Вот уже сколько лет я думала, что до этого нет дела никому, кроме меня!»

*

Удобно устроившись на кучерских сиденьях, закутавшись в несколько покрывал, они разъезжают по Парижу в своих повозках: у одного за спиной – целый пальмовый лес, у другого – целый Олимп гипсовых богов. Они никуда не торопятся, не подгоняют своих послушных лошадей. Их спокойствие и умиротворенность передаются и мне.

*

Каждый день в один и тот же час я встречал на переходе в Пасси женщину с брезгливо-унылой гримасой на лице и постоянно адресовал ей точно такую же гримасу. Постепенно выражение ее лица изменилось – она не хотела уподобляться мне.

*

Странный человек обогнал меня на авеню де Версаль – в огромных башмаках и слишком длинных брюках, хотя, казалось бы, на таких ногах ни одни брюки не должны выглядеть слишком длин-

ными. Борода у него торчала во все стороны, напоминая пучки сырой соломы, которые еще увеличивались, пробиваясь под толстые стекла громадных очков. Чтобы получше разглядеть этого оригинала, я поспешно обогнал его и сел на скамейку, дожидаясь, когда он пройдет мимо. О! ну и вид! Поля его шляпы напоминали слоновьи уши, а сюртук мотался свободно, как морщинистая шкура носорога. Невозможно было не зарыдать от умиления и одновременно не расхохотаться – хотя я видел, что все вокруг осуждают это беспричинное бессердечие. Но вот над моим плечом склонился ангел и прошептал:

– Это ведь ты, ты сам только что прошел мимо самого себя.

*

Я вышел из дома, еще не осознавая, что чем-то взволнован, но взгляды сторонящихся меня прохожих открыли мне мое собственное смятение. Как только я вышел за пределы своего одиночества, всё на моем пути стало напоминать волшебную сказку.

Двухколесная повозка, ехавшая по набережной, словно плыла над мостовой, не касаясь ее. Из трех седоков один, разморенный жарким полднем, с блуждающим взглядом, полуоткрытым ртом и широко расставленными руками и ногами, держал вожжи; другой, опиравшийся на локоть, как античный раб, что-то считал на пальцах; третий, с мясистыми влажными губами, стоял, выпрямившись во весь рост, и ошибся бы тот, кто принял его за простого грузчика: его заломленный

назад берет выглядел как золотая корона на голове монарха в священный день восшествия на престол. Вся эта группа была так высоко вознесена над ступенькой повозки, а сама ступенька – над землей, что казалось, будто они не просто перевозят груду песка, а совершают, специально для меня, восхождение в небеса.

*

На авеню Версаль каждый день в одно и то же время, с точностью до секунды, появляется человек, ведущий под узцы черную лошадь. Он выгуливает ее, наблюдая за скольжением солнечного луча с грустной улыбкой умирающего. Переплетения корней под ногами человека и лошади, кажется, не доставляют им никаких неудобств – только я отбиваю об эти корни свои собственные ноги.

*

Человек, сидящий в автобусе, выглядит как приверженец ордена Страстей Христовых. Две лошади, белая и серая, больше похожие на ангелов, чем сами ангелы, припадают с двух сторон к ногам Христа, воздавая ему почести. С его раскинутых рук, прибитых к кресту, свисают гроздья человеческих лиц. Все собаки мира собрались под алтарем. Кровь Вирсавии стекает на крест.

14 июля
НАБЕРЕЖНАЯ ТУРЕЛЬ

ЛИХОРАДКА

Чтобы выставить ноги на воздух и при этом не шокировать публику, нищий укрывается под мостом и отыскивает самый темный уголок, где обнажает их. Время от времени его лицо начинает пылать, как в лихорадке. Спрашиваешь себя, о чем он думает. Но он лишь тайком расчесывает свое тело до крови.

АПОФЕОЗ

Все они больше всего хотели бы выставить наружу свой живот – то ли оттого, что ему жарче, чем всему остальному телу, то ли оттого, что для них это апофеоз удовольствия – но поскольку они не могут невозбранно реализовать свою бесстыдную мечту, они притворяются, что спят, – и вот мало-помалу рубашка задирается вверх, брюки сползают вниз, и обнаженный живот предстает миру во всей красе.

ИОАНН-КРЕСТИТЕЛЬ

Этот тип думает, что никто его не видит, потому что он сидит на огромной груде известняка и может ублажать себя вволю, будто он тут совсем один – тогда как любой из толпы прохожих, чуть перегнувшись через парапет, может полюбоваться его «игрой в Иоанна-Крестителя».

БЕДНЕЙШИЙ ИЗ БЕДНЯКОВ

Всё имущество беднейшего из бедняков состоит из брюк, рубашки, носового платка и бутылки. Он осторожно споласкивает бутылку, стирает рубашку и платок. Брюки – это уже часть его тела. Он никогда не снимает их и не стирает. Когда всё высохнет, рубашка снова заправляется в брюки, платок кладется в один карман, бутылка – в другой.

КОРОЛЕВА КАРНАВАЛА

Из небольшого холщового мешочка – всего таких висит у нее на поясе штук десять – она достает скрученные витки золотой мишуры и обвивает одним из них голову, другим – руку, третьим – обе щиколотки, словно возлагая на себя атрибуты королевской власти.

Королева карнавала провела несколько часов в своей молодости и продолжает оставаться там, разлегшись вечером на берегу реки – со своими вшами, своими язвами, своими фальшивыми драгоценностями и разноцветными обрывками бархата и тафты. Умея нравиться даже во сне, она почти неуловимым движением заставляет свое платье слегка соскользнуть вниз, открывая похотливым взорам обнаженное плечо.

СЛОВНО ИЗНУТРИ

Цыганка дремлет, наклонив голову вперед, ее пустая сумка свисает между колен. Ее корсаж усеян булавками, сверкающими на солнце, и все ее хозяйственные и туалетные принадлежности – две щетки, раскрытый нож, закрытый котелок – разложены перед нею в столь идеальном порядке, что он кажется не внешним, а внутренним, создавая вокруг нее умиротворяющую, почти домашнюю атмосферу. Дремота одолевает ее за десертом, между уже съеденной грушей, чьи ленты срезанной кожуры желтеют на земле, и сыром, который она машинально продолжает нарезать. Ее огромные руки словно охраняют ее сон, как бдительные часовые, вооруженные пиками длинных ногтей – кажется, они одни не спят. Ее плоть оранжевого цвета. Бедность позолотила ее кожу. Порой она слегка встряхивается всем телом, будто желая приободрить себя, чтобы избавиться от страха внезапной смерти.

КВАРТЕТ

Ближе всех к воде лежит старый супруг, рядом – два любовника его жены. Нынешний фаворит расположился несколько наособицу – это юный араб, почти подросток. Он спит; два других без особых церемоний собираются распить бутылку, только что принесенную женщиной под юбкой. «Разбуди его!» – командует жена своему старикашке, но тут сосед начинает протестовать: «Кто спит, тот сыт, да и пьян!» – «В самом деле, зачем его тревожить?» – шепчет она и, склонившись над возлюбленным, слегка приподнимает ему голову и осторожно вливает красное вино тонкой струйкой между его полуоткрытых губ. Какая признательность вспыхивает в распахнувшихся черных глазах юного араба от этой нежданной милости! По его обнаженной груди растекаются красные струйки, сбегая до самого пупка. Такое потворство вызывает всё большее раздражение у двух других, презрительно наблюдающих за этой сценой. Наконец они поднимаются, чтобы получить свою долю, но оказывается, что бутылка пуста. «А ты-то что?» – восклицает раздосадованный таким оборотом муж, обращаясь к жене, но, не дожидаясь ее ответа, третий набрасывается на араба и

одним ударом кулака почти оглушает его. Потом все четверо постепенно засыпают, и каждый бормочет что-то сквозь зубы, злясь каждый на свое. «Почему, – кажется, спрашивает юный араб у Судьбы, – именно на меня, несчастного, обрушивается этот град побоев и ласк?» Зато обманутый муж торжествует: оба его соперника, изводя друг друга, словно бы взяли на себя миссию отомстить за него – как будто муж, чья жена завела любовника, может мечтать только об одном: чтобы она ушла от этого любовника к другому.

ПРЕИСПОДНЯЯ

Однажды вечером, проходя по улице Кортамбер, я заметил в небольшом садике перед домом бутылку шампанского в ведерке со льдом, а внутри дома, при свете лампы с матерчатым красным абажуром, – две белые руки, неподвижно лежащие на скатерти. Каждый вечер я снова проходил этой дорогой, и ни руки, ни бутылка шампанского так и не сдвинулись с места. Лампа была такой тусклой, а абажур – таким узким, что в круг света попадали только мертвенно-бледные кисти рук, и казалось, что никто и никогда не возьмет на себя заботу о том, чтобы воссоединить эту бутылку шампанского с ее невидимым владельцем, чьи руки были отсечены кровавым лезвием света.

ПОТРЕВОЖЕННАЯ ТАЙНА

В тупике, где обычно не встретишь ни одного прохожего, возле чахлого садика, на скамейке, окруженной зарослями букса, сидят мужчина и женщина. При моем приближении женщина отворачивает голову, чтобы скрыть лицо, и я вижу лишь внутреннюю поверхность ее освещенных солнцем рук, широко расставленных, словно в изумлении, и вытянутых вдоль бедер. Мужчина, напротив, пытается повернуться ко мне, и вид у него такой, словно он извиняется, что не может уделить мне достаточно внимания.

ОРКЕСТР

На эстраде, загроможденной музыкальными инструментами, два человека ищут друг друга всё то время, что они не вместе, как будто каждый из них – половина другого. В барабанщике самая выдающаяся часть тела – его зад, у окариниста – лицо. Зад одного – словно естественное продолжение лица другого, отчего они постоянно озабочены тем, чтобы, воссоединившись, стать частями единого целого, у которого одна тень, состоящая из двух частей; но вместо этого они – две навсегда разделенные части, и при этом – оркестр.

КОТ-ПРИЗРАК

На одной из маленьких улочек Монмартра кошачье сборище держит совет, как вдруг откуда-то выныривает серый кот – тощий, почти просвечивающий насквозь, словно призрак, передвигающийся почти без движения, будто плывя на облаке над самой землей. Кажется, что он сделан из бумаги, присыпанной кристаллами борной кислоты. Он похож на одурманенного или одержимого, и при виде его собратья сначала разбегаются, а затем вновь собираются на крыше, где он уже не сможет их побеспокоить.

Впрочем, ему никто не нужен – у него есть Голод, верный спутник, который всегда следует за ним, заставляя его бодрствовать среди волшебных, мерцающих видений, – Голод, его отрава, его наркотик, самый лучший, самый надежный и самый дешевый из всех разновидностей дурмана, который легче всего приобрести.

КРОВАВЫЙ ДОЖДЬ

Было пять часов вечера; множество женщин в светлых платьях спешили туда-сюда у вокзала Монпарнас, – как вдруг в воздухе что-то громко прошелестело, будто взмахнули громадной кистью, сырой и влажной, и в следующий миг каждый из прохожих обнаружил на своем костюме или платье красные капли, похожие на брызги крови. Все в недоумении оборачивались по сторонам, смотрели вверх. Кто-то придумал объяснение, впрочем, не встретившее особого доверия, – что художник, занятый реставрацией фриза над центральным входом, перед окончанием работы решил стряхнуть со своей кисти остатки сурика. Однако всем хотелось, чтобы это оказалась кровь, – и полицейские сбились с ног, но так и не смогли отыскать дорогу к небесным вратам.

ЩЕЛЧОК

Младший брат, накопив карманных денег, купил себе фотоаппарат и в ближайшее воскресенье повел своих мать и сестру фотографироваться в Булонский лес. Для последних эта церемония превратилась в настоящую публичную казнь. Все трое, но особенно мать и сестра, были невероятно уродливы и унылы – настолько, что привлекли к себе всеобщее внимание. Вокруг них собралась толпа, постепенно становящаяся всё плотнее – зрители напирали в ожидании заветного щелчка. Стыд обеих жертв за своей уродливый и унылый вид перед объективом еще усугублялся тем, что всё происходило на публике – но в конце концов они смирились со своим бесчестьем, позволив фотоаппарату навек запечатлеть их уродство, уныние и эту минуту незабываемого позора.

БЛУЖДАНИЯ СОБАКИ

На рю де Дам я увидел, как несчастную слепую собаку сбил с пути ее собственный хвост. Пока она шла обычным шагом, всё было хорошо: она точно выверяла каждое свое движение и сразу возвращалась на прежний курс, стоило лишь ей немного от него отклониться. Но когда она пустилась бежать галопом, задняя часть ее тела, которую при каждом скачке слегка заносило вправо, постепенно увлекла ее вбок, заставив врезаться в стену. Тогда она снова перешла на шаг, и вид у нее был такой, словно она погрузилась в глубокое раздумье. Дойдя до кромки тротуара, она медленно двинулась вдоль него. Но ее по-прежнему обуревало желание пуститься бегом, и, поддавшись ему, она вновь налетела на то же самое препятствие. Девять раз подряд она повторяла свои маневры с одинаковым результатом, и только на десятый, передвигаясь короткими – шаг вправо, шаг влево – зигзагами, смогла рассчитать свою траекторию с такой точностью, что избежала удара о стену, – не избежав, однако, насмешек наблюдавших за ней прохожих, среди которых я был единственным исключением. Я отправился своей дорогой, лишь убедившись, что она нашла свою.

ЧЕТА

Мужчина утонченной наружности восхищается женщиной с лицом волчицы и волосами архангела. Ногти ее грязны, одежда порвана. Зашить дыры можно было бы парой стежков, но она не хочет с этим возиться. О, небрежность нежности! О, нежность небрежности – может быть, единственная нежность, на которую способна эта женщина. Она жестоко страдает от неизбывной зубной боли, и ее грязноватая левая рука постоянно прижата к щеке, тогда как правой она ласкает живот своего любовника. Ее жемчужное ожерелье фальшивое, но меха – настоящие. Ее наглость – неподдельная, в отличие от любви. Любовь мужчины – искренняя. Самое удивительное, что он, при всей своей утонченности, больше любит в этой женщине ее плебейские руки, чем божественные волосы, и, по-видимому, искренне восхищается ее бесцеремонностью, поскольку ему самому это качество абсолютно чуждо. Для него оно – нечто неведомое, таинственное, и вот именно эту неизвестность, эту тайну он любит, если предположить, что любовь к кому-то – зачастую лишь тайный способ ненавидеть самого себя, не зная о том, и постоянно доказывать себе это, ничего не говоря.

ЖЮСТ И ЭДОКСИ

Жюст и Эдокси со всей тщательностью оделись для прогулки. Они довольны собой до того момента, как выходят за дверь – но, стоит им оказаться на улице, как они замечают, что на них косятся. В них есть какое-то неуловимое «слишком», и они не могут понять, что именно; они пытаются разглядеть себя в витринах магазинов, потом смотрят друг на друга – что же отличает их от всех остальных? Они не красивее и не уродливее других, одеты не лучше и не хуже – но в них есть что-то излишнее, чего окружающие не могут принять, толком даже не зная, что это. Они сами это чувствуют и смущаются от этого. Есть такие семьи, в которых абсолютно все рождаются с этим непонятным «излишком», отчего никто из посторонних не чувствует себя свободно, общаясь с ними, и сами они ощущают себя в своей тарелке, лишь когда остаются одни. Это непонятное «лишнее», что есть в них, – душа.

САМАЯ КРАСИВАЯ СТАТУЯ ПАРИЖА

Старая женщина, прямая как палка, с абсолютно непроницаемым выражением лица сидит неподвижно, поставив ноги точно на середину квадратного красного коврика размером лишь чуть побольше них – опасаясь, как бы они не замерзли на каменных плитах бульвара Гренель, – и присматривает за пятью или шестью утюгами, выставленными перед ней в ряд. Она продает их – примерно по одному в два дня.

За весь день, с момента своего прихода утром и ухода вечером, она не совершает ни малейшего движения.

Она восседает прямо посреди широкого тротуара, как самая красивая статуя Парижа.

Если кто-то подходит к ней, собираясь купить утюг, она отвечает только «да» или «нет» и, получив свою скромную лепту, не благодарит.

Но по блеску ее глаз из-под полуопущенных век можно догадаться, что она страшно довольна: она и взялась за эту торговлю только ради того, чтобы окружить себя одиночеством, которое составляет ее единственную гордость.

СКВОРЕЦ

Почтенная пожилая чета расположилась в омнибусе непринужденно, как у себя дома; никакая публика не может нарушить столь полной интимности и внести разлад в столь идеальное согласие. Они уже давно и навсегда стали единым целым (теперь они в этом уверены – быть может, потому, что каждый отказался от себя ради другого?), и любая толпа лишь прочнее укрепит их союз, еще надежнее отгородив их от остального мира. Ничто для них больше не существует, и сами они существуют не столько один ради другого, сколько оба для двоих – каждый перестал отделять себя от другого до такой степени, что даже перестал его замечать. Каждый словно забыл сначала о присутствии, а потом и о самом существовании другого. Мужчина, погруженный в полудрему, улыбается жене так, как мог бы улыбаться своему отражению в зеркале – и в самом деле, между ними уже начинает прослеживаться некое сходство, прообраз будущей неразличимости, что и теперь заметно в их жестах и выражении лиц. Женщина фамильярно кладет свою книгу на колени мужа, как на свои собственные, – и по этой манере всецело располагать друг другом можно догадаться,

что они уже давно толком не разделяют ни своих тел, ни своих душ. Муж иногда путает руки жены со своими, и эта порожденная любовью привычка стирает как по волшебству все прежние различия, все былые тайны. После десяти лет брака медовый месяц вновь восходит над людьми, у которых остались в конечном счете лишь их здоровье, аппетит, сон, гнев, гордыня, самолюбие, любовь. Любовь? Но кого же они любят? Скворца, обезьянку, бассет-хаунда, сиамского кота или горлицу, которые ждут их дома.

КОРСЕТ

Воскресным вечером, около пяти, в тупике Малакофф какой-то человек вытащил из сарайчика, в котором хранился инвентарь дорожных рабочих, розовый шелковый корсет, медленно расшнуровал его и, вытащив шнурок из петель, сунул его в карман и удалился.

Сначала мы подумали, что это один из тех скряг, которые никогда не выбрасывают даже обрывки веревок. Но нет.

Чуть позже этот человек вернулся, бледный, словно после совершенного преступления, и, вороватым жестом вынув из кармана шнурок, снова вдел его в петли корсета.

С тех пор это повторялось множество раз – человек расшнуровывал и снова зашнуровывал корсет, и мы устали от своего любопытства раньше, чем этот маньяк – от своей мании.

ЛЕБЕДЬ

Лебедь упал в сточный колодец и не мог оттуда выбраться, поскольку теснота мешала ему расправить крылья – он лишь тщетно бился ими о стены весь день. Множество людей с факелами собрались вокруг узилища мученика, иногда бросая ему что-нибудь съестное. В конце концов, отчаявшись или смирившись, он полностью отказался от еды и приготовился умереть – скорее от тоски, чем от голода и холода. Он уже без всякого гнева смотрел на стены своей темницы, которой, возможно, предстояло стать его могилой, и оставался неподвижным.

Лишь на рассвете второго дня, когда одна старая дева-англичанка пообещала двести франков тому, кто его спасет, нашлась лестница, достаточно длинная, чтобы добраться до дня колодца, и какой-то человек, до такой степени заинтересованный в деньгах или до такой степени несчастный, чтобы согласиться на это добровольно, – раздевшись донага, спустился в гнилую воду и на своих плечах вытащил на солнечный свет полумертвую птицу.

Молитва лебедя, должно быть, звучала так: «Я не создан для этой клоаки, я не могу жить в сточной воде! У меня за спиной крылья, о которых я

сейчас могу только догадываться, – искалеченные, отяжелевшие, трепещущие, горделивые, бесполезные. Они не слишком слабы, чтобы поднять меня в воздух. Напротив, именно их размах меня стеснил, и мой собственный вес не дал мне подняться из бездны, в которую я рухнул. Господи, тебе ведь так легко заменить эти крылья, что Ты мне даровал ради своей славы. Просто вспомни, Господи, что я лебедь!»

ИБИС

Какая-то внутренняя дрожь, словно предвестник близящегося вдохновения, нарушает его обычно спокойную походку. Он делает шаг вперед, назад, поворачивается, возвращается на прежнее место, небрежно подбирает клювом с земли белое перышко и проходит с ним три шага, более размашистых, чем предыдущие, потом бросает его и замедляет шаги, высоко поднимая лапы согласно внутреннему ритму, о котором догадываешься, наблюдая со стороны, – затем вдруг резко взлетает в воздух или наклоняется к земле, чтобы поднять какой-нибудь мелкий предмет, с таким видом, будто отыскал важную потерю, и, едва подобрав, снова бросает. Он поднимает и опускает голову, подмигивает то одним, то другим глазом, оборачивается, потом внимательно смотрит на кончик своего клюва, на котором ветер шевелит едва заметный пушок. Его крылья то распахиваются, как веер, то покачиваются, как розовая балетная пачка, и он кружится, откровенно любуясь собой, выписывая затейливые, одновременно нелепые и торжественные фигуры. Его движения, паузы, малейшие жесты подчинены некоему тайному распорядку: они как будто заранее продуманы,

расписаны, классифицированы, пронумерованы, порой дублированы – словно их специально разработал неизвестный хореограф и сопровождает невидимый оркестр.

ГРИФЫ

Они медлительны – любое их движение, их шаги, их сумрачный полет торжественны, почти церемониальны. Их траурные крылья, подобные облачениям священнослужителей, имеющих дело со смертью, придают им некое зловещее величие. Кажется, что при ходьбе крылья служат им опорами, словно костыли – упираясь ими в землю, в которой увязают их когти, грифы неторопливо приподнимают свои массивные тела и одновременно плотнее заворачиваются в темные мантии, чтобы скрыть уродливые лапы.

Тамбурин с тремя бубенцами, браслеты, ожерелья, длинные висячие серьги и собственный смех – вот весь оркестр веселой пьянчужки, вращающей колесо ярмарочной детской карусели на площади Инвалидов.

Маленькие разряженные щеголи едут в каретах, запряженных зайцами, а маленькая королева в горностаевой мантии – в ореховой скорлупке, которую везет кошка. Рыжеволосый смельчак, одетый в зеленое, едет верхом на слоне. Юный Ганимед, которому не терпится взмыть в небо, понукает орла. Труднее всего тем, кому пришлось ехать на верблюдах, – они судорожно стискивают онемевшими от страха ручонками жесткие розовые ленты упряжи, которые их ранят. И вот один из этих наездников выскальзывает из седла и едва не падает – но, не растерявшись, успевает просунуть ногу в широкое кожаное стремя, потом снова усаживается в седло и горделиво выпрямляется, словно воскресший Мазепа.

ПЕРЧАТКИ

Сидящий в автобусе жалкий и невзрачный ребенок одет для первого причастия. На руках у него светлые перчатки, и это заставляет выглядеть еще более нелепыми и уродливыми его шляпу, пальто и каждое его движение.

Рядом с ним сидит его деспотического вида мамаша, которая, судя по всему, догадывается, что думают окружающие, и внезапно с раздражением произносит, обращаясь к сыну:

– Ты что, в этих перчатках и спать собираешься? – хотя очевидно, что именно она заставляет его их надевать при каждом выходе из дома и не разрешает снимать до самого возвращения.

Ребенок медленно стягивает одну перчатку и оставляет другую, но теперь выглядит еще более нелепо – с двумя белыми перчатками и одной обнаженной грязной рукой.

БАШНЯ СЕН-ЖАК

Девочка лет десяти сидит в автобусе на коленях своей бабушки и внимательно смотри на всё, что та показывает ей из окна.

– Вот смотри, это башня Сен-Жак.

– А когда она упадет? – спрашивает внучка.

– Откуда же мне знать?

– Жалко. А то можно было бы пойти посмотреть.

В ТЮИЛЬРИ

На искусственном пруду в Тюильри дети отправляют в плавание свои кораблики с белыми парусами, а другие на эспланаде запускают воздушных змеев.

Мимо проходит почтенного возраста женщина в трауре, одна, со скрещенными на груди руками.

Один из детей внимательно смотрит на нее, потом с серьезным видом спрашивает:

– А почему эта дама ни во что не играет?

– О, конечно, играет, мой дорогой! – отвечает мать. – У нее есть и свои кораблики, и воздушные змеи. Просто ты еще слишком мал, чтобы их увидеть.

ПРИНОШЕНИЕ ДАРОВ

Ребенок, желая разделить свой хлеб с ангелами на фронтоне церкви Возрождения, тщетно протягивает им отломанный мякиш, словно дароприношение.

– Глупый, ты разве не видишь, что это просто камни? – говорит его безбожница-мать.

НА ПОВОДКЕ

Под проливным дождем проходит странная процессия. Разведенный отец получил свои законные несколько часов, чтобы увидеться с дочерью, и повел ее на прогулку в обществе бабушки и тети. Бабушка богата, но, что поделать, первый ее любимец – домашний песик, поэтому сейчас главный в этой компании – он. В сущности, все четверо выгуливают именно его.

Когда бабушка делает шаг вперед, песик не хочет следовать за ней, поэтому все останавливаются и ждут, а когда бабушка, в свою очередь утомившись, отказывается идти дальше, песик рвется вперед, и все удерживают его за поводок.

Наконец бабушка говорит: «Чем дальше мы идем, тем больше сбиваемся с пути». А кто-то из прохожих восклицает: «Вы только посмотрите на эту собаку, которая ведет целое семейство на поводке!»

МЕРКУРИЙ

Только что в автобусе напротив меня сел юный итальянский старьевщик, под чьей рваной рубашкой скрывается тело античной статуи.

Я прошу позволения увидеть его без покрова, и он небрежно-изящным жестом приподнимает рубашку, открывая мне торс Меркурия (тогда как я ожидал увидеть скорее Аполлона). Затем, словно в подтверждение моих мыслей, с легкой насмешкой произносит:

– Месье любит предметы искусства.

Я говорю вполголоса, скорее себе, чем ему:

– Как мало нам нужно для того, чтобы стать богами.

ДВЕ ГОЛЫЕ НОГИ

Со своей кровати я вижу в окно только небо и верхнюю часть крыла своего дома. И вот прошлой ночью, около двух часов, когда я работал, полусидя в постели, я случайно поднял глаза и увидел напротив, на высоте шестого этажа, две болтающиеся голые ноги. Я продолжал писать. Они почти без усилий поднялись выше, и в следующий миг я увидел их на перилах балкона седьмого этажа, в то время как руки ухватились за фриз крыши. Теперь у меня не оставалось сомнений, что человек вскарабкался по водосточной трубе. Вглядевшись, я увидел, что на нем вовсе нет одежды. Один прыжок – и он окажется здесь, прямо посреди моей комнаты. Я замер. Может быть, такой вид и образ действий в столь поздний час объяснялись тем, что направлялся он не ко мне, а к своей любовнице, живущей по соседству. Но нет – он прошел вдоль карниза мимо раскрытого окна, не задерживаясь. Чтобы лучше его видеть, я погасил свет. И вдруг он бросился в пустоту – но уже в следующий миг, живой и невредимый, оказался в том же самом окне, из которого недавно выбрался. Кто же это был? Акробат, совершавший столь экзотическую ночную прогулку ради собственного удовольствия?

Грабитель? Убежденный нудист? Лунатик?

На следующее утро консьержка развеяла мои подозрения.

– О нет, это наш авиатор, – с некоторой гордостью произнесла она. – По ночам он выбирается подышать свежим воздухом.

КУКЛА

Кукла грязна и потрепана, но столь огромна и облачена в столь роскошные, хотя и засаленные одеяния, что маленькая девочка из бедной семьи просто влюбилась в «эту диковину», слишком красивую для нее, – как будто под слоем грязи она различает некое сверхъестественное существо, которое лишь она призвана увидеть, которое позволяет лишь ей, единственной из себе подобных, прикоснуться к своей мечте.

Однако ее мать, вернувшись вечером с работы, первым же делом вырывает из рук дочери эту райскую добычу и швыряет в помойную яму. Для ребенка этот поступок – загадка. «Но, мама, – восклицает она, – ведь если бы эта кукла была новая и чистая, ее никто не бросил бы на улице, а если бы ее не бросили, я бы ни за что на свете ее не нашла и не смогла бы с ней играть! Так зачем же сердиться на то, что она грязная? Теперь мне даже хочется, чтобы она была еще грязнее – тогда никто на нее не позарится, и я каждый день буду приходить к помойной яме, чтобы ее навестить».

ДРИДРИ

Сегодня утром на Тронной ярмарке я узнал сорванца из Шаминадура[4] – он катался на деревянной лошадке. Вечером я снова его встретил – он был одет в красное, словно церемонимейстер этого феерического мира, играющего и поющего. Он расставлял зажженные фонарики на прилавках со стеклянными фигурками животных, отчего те сияли и переливались, и раздавал эти фигурки подвыпившим клеркам, в зависимости от того, нравились ему или нет их физиономии: одному свинью, другому пони, третьему лебедя, четвертому льва. Настоящий Бог этого ярмарочного Судного дня! Даже сам Дридри не мог бы держаться лучше.

---

4 Так Марсель Жуандо называл свой родной город Герет. Дридри – персонаж цикла книг о Шаминадуре.

ПОЦЕЛУЙ

Мужчина и женщина медленно бредут по улице Руа-де-Сесиль. Оба несут мешки: один набит картошкой, другой – каштанами. Женщине на вид лет сорок, мужчине – тридцать. Мешок с каштанами, который несет женщина, меньше и легче, но она и слабее мужчины; к тому же, хотя пьяны оба, она – явно больше. Да и походка у нее такова, что увеличивает риск падения: она идет, задрав голову, ступая только на пятки и не сгибая коленей. И вот в какой-то момент, натолкнувшись на мелкое, даже не различимое препятствие, она спотыкается и падает. Мешок соскальзывает с ее плеча, каштаны рассыпаются, часть из них скатывается в водосточный желоб. Другой на месте ее спутника рассердился бы, но он улыбается. Женщина хохочет во все горло. Оба начинают подбирать каштаны. Затем мужчина вновь взваливает на плечи свой мешок с картошкой, но теперь добавляет к нему и мешок с каштанами. Женщина слишком пьяна, чтобы протестовать. Они продолжают свой путь, не говоря ни слова, она по-прежнему идет, задрав голову и не отрывая пяток от земли, разве что чуть быстрее – даже быстрее мужчины, которого она обгоняет. Через несколько шагов он оклика-

ет ее и говорит: «Каскетка съехала мне на глаза». Его спутница неловко оборачивается, подходит к нему, протягивает руки и, вернув головной убор на место, не отстраняется – на какое-то время она замирает на месте, с неожиданно серьезным видом вглядываясь в его лицо, и вдруг с почти материнской нежностью, к которой примешивается бесконечная благодарность, она изящно и слегка иронично поводит плечом, а затем целует мужчину в обе щеки на глазах всего света, – после чего снова отворачивается и идет вперед, прежней ковыляющей походкой, не сопроводив свой восхитительный поступок ни единым комментарием.

*

Бродяга примеряет пару желтых ботинок, вышедших из моды, но на вид совсем новых. Увы, они ему малы, и он оставляет их на парапете ограждения железной дороги. Подходит другой бродяга, без труда надевает их и удаляется, как во сне, на ногах богача. Его собственные башмаки, которые он оставил там же, находит третий бродяга, надевает их вместо своих, а свои оставляет – и вот так получается, что на невысоком парапете железной дороги, напротив моего окна, всегда стоит пара ботинок, и всякий раз они другие.

*

После похорон дальние родственники и знакомые покойных веселы как никогда – покинув скорбящую семью, они частично избавляются от траурных облачений и, расточившись по террасам бульварных кафе, стремятся поскорее забыть о том жестоком душевном смятении, которое им недавно пришлось испытать, – поэтому думают лишь о том, чтобы найти хоть что-то комическое в похоронных процессиях и чужих смертях.

*

4 августа, очень жарко. Рядом со мной завтракает какой-то человек, но, судя по всему, он не голоден. Он стремится лишь к одному – утолить жажду. С самого начала завтрака он думает только об этом и не соблюдает никаких ритуалов, относящихся к еде. Каждый раз, когда к нему приближается официант и он заказывает что-то, он обязательно упоминает о кофе. «Процедить?» – спрашивает официант. – «Да, конечно! И приготовьте его прямо сейчас, чтобы я выпил его холодным. Добавьте немного льда». – «В клубнику?» – «Нет, в кофе. И еще я хочу, чтобы его налили в бокал. Нет, не в этот – в большой бокал на ножке». С одержимостью садиста он готовит будущую мизансцену, добиваясь, чтобы она была идеальна. «Вы положили сахар?» Можно подумать, он вовсе не собирается пить этот кофе, предпочитая умереть от жажды – но это должна быть самая сладкая смерть.

*

Ребенок из воинской части обедает в ресторане со своим отцом, унтер-офицером, который учит его, как вести себя за столом, – хотя сын и без того уже держится на удивление хорошо для своего возраста.

Он сидит с суровым видом, не говоря ни слова, за исключением тех случаев, когда заказывает очередное, каждый раз слишком тяжелое блюдо: свинину с тушеной капустой, мясное рагу с бобами, мясо по-бургундски, паштет из гусиной печени – и какое же презрение к своему «унтеру»-отцу

читается на детском лице этого будущего генерала!

*

Двое вьетнамцев, которые выглядят одинаково молодо, хотя это отец и сын, идут рука об руку по бульвару Гренель, слегка покачиваясь, будто пританцовывая, и широко улыбаясь. Отцу, вероятно, лет сорок пять, сыну – двадцать пять. Такое добродушие в нашей части континента – настоящее чудо!

*

В течение часа, проведенного в церкви Сен-Франсуа-де-Саль, я видел только изображение дерева на расписном потолке и два пустых кресла меж двух горящих свечей у алтаря.

Жених и невеста, которых ждали, не пришли.

Но это дерево, олива, чарует меня до сих пор.

Когда зажегся свет, и я заметил, оторвавшись от созерцания скромного Рождества, что жених и невеста решили избежать своей участи – какое это было счастье для них и какое разочарование для меня!

*

Во время мессы мне видна с балкона только рука господина ректора, странствующая среди зажженных свечей и живых лилий – кажется, будто в небе среди звезд каким-то чудесным образом оказалась рука громадного колосса, которую он только что вынул из кармана.

*

Могильщики у церкви Сент-Огюстен развлекаются, срывая куски погребальных тканей, развешенных над папертью, – не подозревая о том, что каждое из этих длинных тяжелых полотнищ может в любой момент обрушиться на них, окутать и задушить.

*

Над площадью Сен-Фердинан летит бабочка – так высоко, что ее не видно в лучах солнца, но по мостовой скользит ее тень, которую какая-то бледная тощая женщина, движимая то ли странной галлюцинацией, то ли закоренелой привычкой к пакостям, пытается догнать, чтобы раздавить.

*

Спасаясь от кредиторов, я бросился в поисках убежища к Венере Милосской. Перед ней стояла лишь одна женщина, англичанка, пытавшаяся скопировать ее позу, чуть согнув левую ногу в колене и опираясь на мысок. Ее муж без особого восторга сравнивал их, жалуясь лишь на то, что у Венеры нет рук.

*

На Кэ-о-Флёр, в тени кроны чахлого дерева, которой едва хватает, чтобы укрыть разве что их ноги, трое пьянчуг, даже не давая себе труда полностью проснуться, непрерывно отхлебывают вино из бутылки, чтобы утолить жажду, – но солнце, от которого они полагают себя защищенными, тут же распаляет ее вновь.

*

Ортопед, живущий на рю де л'Эшоде, выставил у себя на окне и на балконе гипсовые руки, ноги и торсы. По вечерам льющийся из окон слабый свет делает их похожими на добычу людоеда, развешанную вокруг его логова.

*

У этих двух скромно одетых женщин всего два франка – и вот с одной монетой на двоих они всё утро перебегают от одного рыночного прилавка к другому, словно собираясь скупить всё, – прежде чем вернуться домой с хлебом.

*

В Сен-Жермен-де-Пре есть скульптура из бело-

го мрамора, изображающая положение во гроб. Сама по себе она ничем не примечательна, но кто-то положил на грудь Христа бумажную красную розу – и вот перед нами шедевр.

*

На бульваре де ла Виллет безногий калека растягивает аккордеон, зацепив его за уцелевший обрубок одной руки и монотонно наигрывая весь вечер бесконечную мелодию из трех пронзительных повторяющихся нот двумя единственными пальцами другой.

*

Луна, как золотая маска, поднимается над Марсовым полем. Один арлекин и два пьеро выходят из тесно растущих зарослей миндальных деревьев, двери окрестных домов то и дело распахиваются, исторгая наружу других, не менее фантастических персонажей. Бедняки спрашивают себя, каким безумным вихрем закружило весь город. Сегодня вечером танцуют в Опере. Что до меня, я ухожу подальше от света, чтобы в тени сжимать в объятиях чью-то наготу.

*

Десять тысяч эгоизмов движутся по бульвару Клиши. Меня охватывает страх при виде стольких неповторимых, одиноких, слепых светил, вращающихся, не сознавая того, вокруг Бога. Под этим гримом, под слоем пудры и рыжим париком не та-

ится ли преисподняя? И что за вечность пылает за стеклами роговых очков этого маленького, обглоданного жизнью человечка в слишком широком зеленом пальто?

ПАНТЕН

В среду, 7 ноября, я был на кладбище Пантен. Когда мы с Вероникой возвращались, уже совсем стемнело; и вот в ворота въехал задрапированный белым катафалк, за которым никто не шел. Нам пришла мысль последовать за ним. Это оказалось нелегко – он катился довольно быстро. Однако, едва мы сделали шагов пятьдесят вдоль безлюдной центральной аллеи, какая-то женщина внезапно появилась у нас за спиной и пошла в том же направлении – медленно, будто едва волоча ноги, в полном одиночестве. Очевидно, она хотела нагнать повозку, но это ей не удалось. Услышав ее рыдания, мы замедлили шаги и пропустили ее вперед. Мы были слишком растеряны, чтобы осмелиться к ней подойти, но решили по крайней мере проводить ее. Наконец, прочитав на наших лицах немой вопрос, она рассказала нам, что вместе со своей десятилетней дочерью заболела и попала в больницу, где малышка через некоторое время умерла. У нее самой даже не было времени, чтобы рассказать о случившемся своим хозяевам – единственным близким людям на всем свете, поэтому она пришла на похороны совсем одна. Все ее родственники давно умерли. Но больше всего ее

угнетало то, что она была одета в чужие вещи – ее собственные ей должны были вернуть только при выписке из больницы, а сегодня она тайно отлучилась лишь благодаря сообщничеству медсестер, которые одолжили ей чужое платье, «чтобы малышку хоть кто-то проводил в последний путь». Мы подхватили ее под руки с двух сторон, а потом все втроем шли еще добрых три четверти часа среди надгробий в почти полной темноте. Смогла бы эта бедная женщина, обутая в слишком большие для нее сабо, без нашей помощи отыскать могилу, которую мы заметили еще издалека, в свете фонарей похожую на маленькую бездну? Уже на подходе к ней нам пришлось сначала подняться на дощатый настил, а потом пересечь водосточную канаву по хлипким деревянным мосткам. И вот наконец мы увидели позолоченный белый гробик, похожий на конфетную коробку, который могильщики передавали друг другу, шепотом повторяя его номер – сто девяносто семь, – пока наконец он не скрылся в темной глубине. Три цифры, вырезанные на деревянном кресте, теперь должны были осенять могилу вплоть до Страшного суда.

Бедная мать в последний раз обращалась с нежными словами к тому, что отныне было спрятано, запечатано внутри: «Радость моя, сокровище мое, ты была такой красивой, а теперь я тебя больше не увижу!» Когда она говорила «моя дочь», в ее голосе все еще звучала материнская гордость – но почти сразу же она впадала в еще более глубокое отчаяние. Мы вместе с ней прочитали заупокойную молитву, после чего увели ее. Ко всем ее горестям прибавилась еще одна забота – медсестра и сиделка напоследок дали ей поручение: «Когда будете возвращаться с похорон, зайдите к Потэну

и на рынок в Отель-де-Виль, купите нам шоколада
и шпилек для волос».

*

Было очень рано, и я сам не заметил, как случайно оказался на молу, тянущемся от перехода в Пасси до моста Гренель. Чтобы укрыться от поднявшегося солнца, я попытался спрятаться в нише виадука, но поскольку именно там обычно укрывались несчастные отчаявшиеся самоубийцы, прежде чем броситься в воду, я вскоре заметил, как отовсюду начинают собираться люди и наблюдать за мной. Мало-помалу, сам не знаю как, я настолько проникся состоянием человека, которому захотелось свести счеты с жизнью, что присутствие наблюдателей оказалось для меня очень полезно – оно уберегло меня от поступка, идея которого даже не пришла бы мне в голову, если бы не они.

*

Утром и вечером я медленно иду вдоль сплошного искушения умереть – вдоль Сены.

*

Человек стоит на мосту Альма, скрестив руки на груди. Ни в нем самом, ни в его позе нет ничего странного, но сама его неподвижность настолько чужда его молодости и элегантности, что в этот воскресный вечер все прохожие, поравнявшись с ним, невольно замедляют шаг, – словно поддавшись тем же чарам, которые заставили его замереть.

*

Ничего удивительного, что наступает ночь – с самого полудня работающие на набережной штукатуры собирают на себя весь солнечный свет.

*

Между двумя солнечными кругами, один из которых сияет в небе, а другой – в воде, не видно никакой разницы; грань, отделяющая одну стихию от другой, становится заметной, лишь когда пролетающая над зеркальной гладью чайка на миг касается своего отражения, возможно, скорее ради этой мимолетной ласки, чем ради утоления жажды.

*

Сена струится медленно, как шелковая лента вдоль лица.

*

В небольшом, разбитом на отдельные участки скверике возле Нотр-Дам сидит женщина, похожая на царицу Александру. Рукава ее платья напоминают китайские пагоды, жесты полны сурового величия. Но вот она приглашает прохожего – которым мог бы оказаться я – занять место рядом с ней, между Голодом и Жаждой, образы которых, очевидно, будут распалять их воображение в этом Саду Скуки.

*

Белая лошадь угольщика, с ногами, мощными, как дорические колонны, идеально размещенными на четырех сторонах ее тела, везет на спине всю площадь Согласия, а под брюхом у нее в лунном свете проносятся птицы и скользят лодки, нагруженные лилиями.

*

Я сижу на берегу Сены с видом человека-который-больше-не-стремится-придерживаться-условностей. Эта свобода – единственная, которой я для себя хотел, – живет во мне от начала времен. Но порой она ускользает из моего сердца, и тогда освобождает меня даже в глазах других, расслабляя мое лицо, мои руки, мои мысли.

ЭЖЕН КОММЮН

На платформе вокзала Орсе семейство Пенсангрен доверило моему попечению на время поездки, которая должна была продлиться всю ночь на 14 июля, монахиню из Сен-Венсан-де-Поль, юную девушку и мальчика.

Ребенок был так красив, что, взглянув на него, трудно было не вскрикнуть от изумления – и оно становилось еще сильнее при известии о том, что он найденыш. Утонченные черты его лица, изысканность жестов – всё наводило на мысль о потомке княжеского рода.

– О будущем Князе Церкви, – вполголоса добавила монахиня, отвечая скорее себе, чем мне.

Не менее удивительным было и его имя, которое он унаследовал от приемного отца – Эжен Коммюн. Казалось, невозможно отыскать человека, которому оно подходило бы меньше[5].

Впрочем, и от понтифика в нем было немного. При виде трех церквей, мимо которых мы проехали, он всякий раз крестился, и я подумал, что это уже чересчур, – но увидев четвертую, он показал ей нос.

---

5 Одно из значений слова commun – «обыкновенный, заурядный».

Взгляды всех пассажиров нашего купе были прикованы к нему, но он был достаточно умен, чтобы не показывать, что это замечает, – чувствовалось, что если ему и небезразлична атмосфера, которую он вокруг себя создает, он не снисходит до того, чтобы открыто этим гордиться, – и таким образом, становясь еще более достойным восхищения, получает от него вдвое больше удовольствия. Я наблюдал за ним, когда он восторгался Орлеанским собором и Луарой, освещенными множеством огней по случаю праздника. Его низко расположенные уши напоминали два совершенных по форме цветка, идеально гармонирующих друг с другом, овальное лицо отличалось безупречной правильностью черт и той непостижимой красотой, чей отблеск придает нечто таинственное даже уродству других.

Было очевидно, что Бог неизменно пребывает с ним. Он был невинен – но в нем не было ни робости, ни дикости; он был сдержан ровно в той же мере, что и вежлив; он был весь – ясность и весь – загадка. Меня не покидало ощущение, что я, оставаясь в своем нынешнем возрасте, путешествую вместе с собой-ребенком – который, однако, был ребенком больше по наружности, чем по глубине души. Сам я в детстве никогда не чувствовал той уверенности в общении с другими, которую дает красота, ни твердости, которую дает такая уверенность. Меня уже начинал одолевать страх потерять свою веру, которая была моим единственным достоянием, и время от времени я вынужден был воссоздавать заново свои достоинства, о которых поспешно вспоминал, даже не заботясь о том, насколько они соответствуют действительности.

В какой-то момент он разговорился с одним из новых приятелей, подростком лет четырнадцати, севшим в поезд позже нас, – речь зашла об одном монашеском ордене в Динане.

– И вот, в этом ордене такой порядок, – рассказывал он, – что каждый вступающий в него сковывает себе ноги тяжелой цепью, от которой настоятель освобождает его только после смерти.

Насколько же ясно одно только упоминание этой детали свидетельствовало о том, что это говорит ребенок!

Когда они вместе с нашей спутницей, юной девушкой, ушли играть в коридор, монахиня сказала мне:

– Ах, если бы вы знали, месье, каково это – воспитывать вот такое юное создание до пятнадцати или двадцати лет, а потом однажды отпустить его в мир. (Она говорила о девушке, своей подопечной.) Когда, в каком состоянии он вернет вам его обратно? И особенно это касается наших воспитанниц – они из бедных семей, им всем приходится поступать в услужение. Ах, месье, когда они возвращаются и рассказывают мне о своих бедах – если смогут остаться несломленными, – я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не встать перед ними на колени. Может быть, так и следовало бы поступить – преклонить колени перед ними.

«Но ведь именно это было бы по-христиански, – подумал я, – опуститься на колени перед теми, кто согрешил. Они ведь несчастнее нас. Христос так и поступал».

ПОГУБИТЬ СЕБЯ ИЛИ ЛГАТЬ

В трамвае, идущем по маршруту Отей – Сен-Сюльпис, девушка лет семнадцати, по виду – монастырская послушница или готовящаяся ею стать, сопровождает монахиню, которой постоянно улыбается, чтобы все видели, в какой она хорошей компании (что для нее редкий случай), но та, напротив, демонстративно на нее не смотрит, не хочет ее знать, не хочет знать никого – ей больше нравится делать вид, что она путешествует одна, «как дама».

Судя по всему, малышка только что выписалась из больницы, куда ее привело легкомысленное поведение, и теперь пытается вымолить улыбку милосердия у своей неприступной покровительницы, которая уже позаботилась о ней, набросив ей на плечи нелепое черное пальто, слишком широкое для нее и заставляющее ее страдать сильнее, чем она страдала бы от холода.

Монахиня, закутанная в три слоя тряпья, обладает холодным безличным достоинством всех людей в униформе, к которому добавляется самоуверенность, присущая ей от природы, чем-то сходная с той, по которой сразу распознаешь в общественном транспорте мелкую рантье, держа-

тельницу акций транспортной компании.

Когда она вынимает из рукава часослов, в обложке из той же шерстяной ткани, что и ее собственное облачение, ее послушная тень считает себя обязанной тоже достать что-нибудь из кармана, и вынимает четки, которые неуверенно перебирает, не зная, что говорить. Смущение бедняжки еще усиливается, заставляя ее для вида достать из сумки газету – это религиозная газета, чье благочестие, отражаясь на профаническом лице, придает ему выражение, близкое к отчаянию. Кажется, что эта девушка больше никогда не сможет видеть, слышать, трогать ничего, что не «божественно». Она этим одержима. Газету она держит вверх ногами. Она говорит себе, что это неважно, что ей всё равно, как читать, потому что в любом случае она испытывает благоговение, и всё равно, как жить, потому что, источая лицемерие, словно обильный пот, она живет лишь милосердием других – и это лицемерие, вкупе с милосердием, взаимно отягощая друг друга, отравляют ей жизнь.

Однако через несколько минут, повинуясь какому-то смутному, но неумолимому побуждению, которому она не в силах противостоять, – может быть, для того, чтобы выглядеть не так смешно со своими бесполезными четками и перевернутой вверх ногами газетой (которую достаточно было бы просто повернуть как положено), или, напротив, для того, чтобы в ее сумке не осталось больше ни одного средства, которое она не использовала бы себе во вред, – она тоже достает часослов, но у нее он без обложки, без закладки, и она открывает его наугад, на первой попавшейся странице, где ни одна строчка не начинается с нового абзаца. Но какая ей разница? Ее потерянный

взгляд блуждает между строк, и она всё больше убеждается в том, что она никчемное создание, которое не может ни улыбаться, когда захочет, ни перебирать четки или склоняться над книгой без притворства. Тогда она начинает разглядывать пассажиров поверх страниц, и поскольку прямо перед ней стоит какой-то отвратительный тип в дешевой одежде из «Бон Марше», она думает о том, как сегодня же вечером ускользнет из монастыря, чтобы во второй раз отдаться кому попало, а после, конечно, будет страдать или даже умрет от отвращения – но, по крайней мере, ей не придется лгать.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ БРОДЯГА

Этим утром на рю де Севр я был удивлен видом одной пары, которую составляли старая монахиня из Сен-Венсан-де-Поль и человек из тех, кого уже давно не встретить в Париже, – бродяга с большой дороги, бродяга былых времен, сентиментальный бродяга того образца, что уже вышел из моды, с лицом монаха и его же вкрадчивыми жестами. На нем были коротковатые штаны, не доходившие до щиколоток; его ноги, обмотанные длинными полосками ткани, были втиснуты в деревянные башмаки. Но самой примечательной деталью был огромный короб на кожаных ремнях, который он нес за спиной, почти скрытый синей гусарской пелериной, наброшенной поверх него, что придавало этому славному человеку вид бескрылой птицы. Он был лыс, но вряд ли старше тридцати. В нем чувствовался какой-то изъян, более серьезный, чем несчастья, пришедшие извне. Однако даже сопля, застывшая, как сосулька, на его усах, не создавала впечатления нечистоплотности (хотя и вызывала отвращение), – скорее, наводила на мысль о том, что у него нет носового платка, отсутствие которого является самым первым признаком нищеты.

В нем можно было за десять шагов распознать притворщика, но при более внимательном взгляде вы постепенно замечали проблески искренности, пробивающиеся через все ужимки, и это не могло вас не тронуть.

Я последовал за ним, когда он попрощался с монахиней, напоследок благословив ее двумя сложенными воздетыми пальцами, словно странствующий проповедник, в обмен на несколько звонких монет, которые она ему отсчитала. Он уже готовился взять в оборот появившегося священника («Специализируется на духовных лицах?» – подумал я) – однако тот с первого взгляда его раскусил и безжалостно прогнал. Тогда я подошел к нему. «Приветствую, мой друг. Вы что-то ищете? Чем я могу вам помочь?» – «О, месье, благодарю за вашу доброту, – отвечал он, – всё очень просто: я в нужде, я, что называется, «в несчастье». – Но, произнося эти слова, он улыбался, словно сам с трудом мог заставить себя в них поверить – как если бы соглашался признать себя несчастным только для того, чтобы со мной не спорить и меня не огорчать. – Если я в основном обращаюсь к служителям церкви, то это только потому, что само их предназначение обязывает их помогать таким, как я. Они сделали мне столько плохого и столько хорошего…» С этими словами он провел рукой по лицу, словно хотел таким образом заново вспомнить его, за неимением зеркала. «Видите, как померкло мое доброе солнце – вот что делает меня особенно несчастным. – И тут он зарыдал. – Ах, месье, когда-то давно я так тщательно ухаживал за собой, я был даже кокетлив. Видела бы меня сейчас моя бедная мать!.. Во сколько мне обойдутся стрижка и бритье в таком большом городе, как

этот? Я так мечтаю побриться, чтобы мое солнце прояснилось. Ведь лицо, месье – это солнце тела, и если оно не светит, то всё тело пребывает в упадке. Сестра дала мне славных двадцать су, но готов поспорить, что этого будет недостаточно. Конечно, у меня в башмаке есть бритва, но не могу же я расположиться прямо посреди улицы и бриться перед витринным стеклом. Меня сочтут слишком большим оригиналом…» – «И куда же вы направляетесь?» – «В Кламар, месье». – «А что вы собираетесь там делать?» – «Наняться садовником к добрым Школьным братьям,[6] моим знакомым. Это сезонная работа. Я останусь у них до лета, а потом пойду дальше. Видите ли, когда-то я был послушником у святых отцов в Брюсселе. С тех пор я привык к монахам. Я знаю все их повадки, и с ними мне сподручнее, чем с другими. Вы скажете, месье, что мне бы лучше было сохранить рясу, чем носить вот эту пелерину. Да, конечно, но однажды мне захотелось жениться и завести детей. Все мои несчастья и начались с этого брака».

Не знаю, почему, но в этих «несчастьях» мне явственно послышались «преступления».

Его лицо было прямо передо мной, и я внимательно его разглядывал: на удивление морщинистое лицо для еще не старого человека, словно пересеченное следами множества болезней и пороков. За его плечом как будто реяла тень жандарма, не отступавшая от него ни днем ни ночью, и в конце концов я решил, что, скорее всего, он недавно вышел из тюрьмы. Едва лишь я собрался, предварительно извинившись за свою нескромность, продолжить свои расспросы, как он меня

6 Школьные братья, или Братья христианских школ – монашеская конгрегация, основанная в 1684 году.

перебил: «Напротив, месье, мне даже льстит ваш интерес, и я сразу понял, стоило мне вас увидеть, что какую-то часть нашего пути, пусть даже совсем короткую, мы пройдем бок о бок – раз уж судьба свела нас этим утром на рю де Севр. Разве что вы хорошо одеты, а я очень плохо. Скажите, а вы случайно не были послушником в монастыре? Где, если не секрет, в каком именно? Что до меня – теперь уж ничего не поделаешь, я больше не могу оставаться на одном месте. Стоит задержаться где-то на день-другой – и вот уже тянет идти дальше. Я бретонец, это ведь заметно? Мне бы стоило отправиться в море. Зря я этого не сделал. Хотя теперь почти то же самое. Земля, как вода, бежит под моими ногами. Ах, видели бы вы мои ноги, месье – у вас бы сердце кровью облилось. Они тоже в крови, все в крови. Невозможно увидеть их и не заплакать. Я обматываю их тряпками, ремнями, как могу – бедные ноги Иисуса! – и запихиваю в эти башмаки, чтобы больше не видеть. Когда я иду, то уже не чувствую боли. Чем быстрее я иду, тем меньше они болят, а чем больше начинают болеть, тем быстрее я иду. Я не чувствую себя несчастным в этот момент, потому что вы говорите со мной, потому что у меня довольно большой кусок хлеба в кармане и к тому же двадцать су, полученных от благочестивой сестры. Но когда вы меня оставите, мне будет тяжело, и придется идти дальше… Это Париж, здесь красиво, здесь есть «Бон Марше», но лучше я туда не пойду. Если я туда пойду, меня оттуда выгонят. А если я зайду к брадобрею?.. Увы, месье, для нищих брадобреев нет». Закончив свою речь, он фамильярным жестом положил обе руки – округлые, изящные, чуть бледные, чертовски церковные – на мою. Я

деликатно убрал их – не из отвращения и не из страха чересчур поддаться жалости, скорее, из почтения, которое постепенно росло во мне, каким бы неправдоподобным это ни казалось, – по мере того, как на грязном, изможденном, почти подобострастном лице этого человека я всё явственнее различал не клеймо позора, а отблеск света.

Я дал ему немного денег и пошел своей дорогой. Пройдя всего несколько шагов, я обернулся – но этот человек каким-то непостижимым образом уже исчез. Поблизости не было ни парикмахерской, ни бокового проулка, куда он мог бы свернуть, – только рю де Севр, абсолютно прямая. Наконец я его обнаружил – но он был уже далеко, поскольку шел очень быстро, так быстро, что я едва мог его различить. Но вот он, в свою очередь, обернулся и. увидев меня, воздел правую руку – прощальным и одновременно благословляющим жестом.

«ОДЕНЬСЯ, ДОЧЬ МОЯ»

У нее величавый вид, присущий женщинам, которые когда-то были красивы, богаты, могущественны, а потом утратили и свое состояние, и свой рассудок, сохранив лишь горделивую манеру держаться и отчасти силу духа. Их былая элегантность остается с ними, сопровождая их, как почетный эскорт. Она сама выкраивает себе шелковые блузки из своих девичьих платьев, лет тридцать провисевших у нее в шкафу. На ее чулках зияют такие дыры, что ноги выглядят почти голыми; только на одной из ее туфель сохранилась бриллиантовая пряжка. На шляпе еще осталось несколько перьев райской птички, но поля изъедены крысами. Кольца и браслеты немалой цены украшают ее грязные руки.

*

Она заказывает кофе и бриошь, усевшись на террасе бара «Отель-де-Виль», почти напротив меня, и вскоре перед ней на столе остается лишь сифон для газированной воды. И вот я вижу, как она берет монету и отправляет в рот – в тот самый

момент, как появляется третий по счету продавец «Энтрансижан». Она окликает его, покупает газету, и вскоре я замечаю, как вместо того, чтобы читать, она украдкой разрывает страницы в мелкие клочья и ест.

Затем она наливает себе в чашку немного сельтерской воды. Вокруг нее постепенно собираются зрители, и официант явно нервничает. Пытаясь сохранить самообладание, она подбирает кончиками пальцев, испачканных типографской краской, оставшиеся на столешнице крупицы сахара и подносит их к губам. Наконец появляется сам хозяин заведения и выпроваживает ее вон.

То ли от того, что взгляд у меня слишком пристальный и жгучий для обычного посетителя кафе, сидящего на террасе, то ли оттого, что я чувствую себя очень близким к этой безумице, нанесенное ей оскорбление ранит и меня. Из моих глаз струятся слезы – как будто меня самого выгнали на улицу.

*

«Оденься, дочь моя, – говорит она сама себе, чтобы побудить себя к рассудительности. – Надень свою самую красивую шляпу, шелковую накидку и кольца и иди подышать свежим воздухом – как все. Когда вот так сидишь целый день взаперти, одолевают странные мысли. Сходи прогуляйся, и всё пройдет. Тебе больше не придет в голову есть монеты или обрывки газет». И вот она проходит мимо кафе «Отель-де-Виль», так удачно расположенного, на террасе которого несколько гуляк расположились свободно, как у себя дома,

и вволю угощаются всевозможными напитками. Атмосфера всеобщей расслабленности покоряет ее, и она говорит себе, еще более мягко: «Ну, дочь моя, почему бы и тебе не посидеть, как все, на этой террасе и не пропустить стаканчик? Ты ведь никогда не умела жить в свое удовольствие! Дай себе немножко порадоваться, немножко отдохнуть! Будь добрее к себе, и всё пройдет». Однако, едва усевшись, она тут же начинает чувствовать себя чужой, чужеродной, отличающейся от всех остальных посетителей, которые ее окружают, «иной», прибывшей из иного мира. Все на нее смотрят – но что же в ней такого необычного? Она пытается выдать сама себе это ощущение за иллюзию, даже обвиняет себя в предвзятости, в том, что это она сама хочет отделить себя от других, обособиться, – но одновременно всё вокруг и внутри нее отталкивает ее от остальных, заставляя рухнуть в свою маленькую бездну, в свою отверженность. Изолированная от всех на этой террасе, точно так же, как в своей лачуге, она уже подносит монету ко рту, как вдруг появляется разносчик «Энтрансижан». «Дочь моя, – говорит она себе, – купи газету, как все, и пока ты будешь ее читать, ты, по крайней мере, избавишься от забот об этой монете, с которой ты совершенно не знаешь, что делать, и поэтому в конце концов засовываешь ее в рот. Так приятно, должно быть, при ярком свете почитать хронику происшествий и объявления о спектаклях, о которых у тебя появилось печальное обыкновение забывать». Она подзывает разносчика, расплачивается, берет в руки газету, раскрывает ее; тут же осознает, как ей сложно перелистывать страницы и разбирать буквы – она смотрит на них, не читая, смотрит лишь

потому, что убеждает себя: так надо, и притворяется, что читает, точно так же как притворяется, что живет. Какое-то время ей хорошо. Но потом она понимает, что у нее ничего не получается – несмотря на все старания, ей уже не быть как все, это невозможно; всё, что бы она ни сделала сегодня вечером, оборачивается против нее – и то, что она вышла из дома, и то, что она расположилась на этой террасе, и то, что она подозвала разносчика газет, – всё это было одно гигантской уловкой, которую она предприняла, чтобы в кои-то веки не поддаться своей мании – и вот, в конце концов, она машинально, отчаянно, безнадежно, уступая неодолимой логике, предписывающей сделать именно это, – начинает потихоньку отрывать клочки газеты и поедать!

*

Вот так и ты, Марсель. Когда ты сидишь на террасе кафе, сжимая в губах сигарету, ты хочешь быть как все, но ты напрасно стараешься: ты так и остаешься чужим – здесь, там, повсюду, будь ты наг или облачен в пурпур, который сияет вокруг тебя вопреки тебе и возвещает о твоем появлении, которое уже само по себе означает скандал. В любом другом месте ты будешь таким же инородным телом, как здесь, в кафе «Отель-де-Виль». Увы – или слава Богу – в тебе есть нечто неисправимое по отношению к этому миру, или же в этом мире есть нечто неисправимое по отношению к тебе. О, странное лицо, отражение странной души! Подобно тому, как слепые не могут видеть, а глухие – слышать, ты не можешь

получать удовольствие от тех же вещей, что все остальные люди, и даже если бы тебе удалось обмануть других, ты не обманешь самого себя, не обманешь свое безумие.

«Как хорошо было бы выпить что-нибудь, сидя на террасе кафе, как все», – говоришь ты себе и садишься за столик, – но вот твой взгляд становится чересчур жгучим, ты поднимаешься и уже через минуту, не в силах совладать со своей манией, убегаешь, чтобы напиться из сточной канавы.

ПРОГУЛЯТЬСЯ СО СВОЕЙ ДУШЕЧКОЙ

На площади Сен-Сюльпис женщина буржуазно-провинциального вида, в нитяных перчатках без пальцев, с золотой цепочкой на шее и лорнеткой в руке, в темно-синем костюме и вышедшей из моды шляпке суетится вокруг генерала в штатском. Выглядит она лет на сорок. Он – статный, усатый, невозмутимый, чуть нахмуривший брови, чтобы придать своему взгляду суровости – которая на самом деле ему чужда, о чем свидетельствует слабовольный рот, – с орденской ленточкой в петлице. Ему под шестьдесят. Опираясь на трость, он стоит на автобусной остановке и делает вид, что «эта женщина» не имеет к нему никакого отношения, – хотя на самом деле она не имеет отношения ни к кому и ни к чему другому, кроме него. Она в равной мере может быть его женой, сестрой или дочерью. Он наблюдает за ней издалека, словно втайне ее оберегает. Последние три дня он боролся с ней, чтобы помешать ей выйти из дома, но в этот вечер, после четырех, она тайком принарядилась, пряча от него то один, то другой аксессуар, и, воспользовавшись визитом бакалейщика, ускользнула. И вот теперь она на улице, и он волей-неволей должен за ней следовать, дер-

жась на расстоянии, как чужой. Как он мог некогда пленитьcя этим монстром? Сначала она быстро удаляется, и вот уже почти исчезает, но внезапно ее одолевает боязнь самой себя, вернее, боязнь того, что сейчас она одинока и свободна, хотя, казалось бы, именно об этом она и мечтала, – и вот, вопреки себе, она как будто против воли возвращается, словно невидимая нить привязывает ее к этому человеку. Однако, по мере того как она приближается, она всё громче его бранит и явно намеревается его ударить. Приблизившись, она действительно пинает его по ноге мыском туфли и подносит к его лицу сжатый кулак. Вероятнее всего, разразился бы грандиозный скандал, если бы он не отвел глаза, делая вид, что не происходит ничего необычного, а потом, когда она почти бегом бросилась прочь, не пошел бы за ней, оставаясь на расстоянии, но не упуская ее из вида. Когда она оборачивается и видит, что он следует за ней, это приводит ее в ярость – и, возможно, потому, что у нее не остается другого способа от него ускользнуть, она переходит от жестокости к непристойности. Только стыд, думает она, заставит его ослабить хватку. И вот, укрывшись в нише ближайшего подъезда, чтобы не сразу собрать вокруг себя толпу или привлечь внимание полиции, она начинает каждые несколько секунд задирать юбку до самых глаз. Увидев это, генерал застывает на месте, превратившись в статую генерала. Но этого ей недостаточно – выйдя на всеобщее обозрение, она приближается к нему, просовывает обе руки себе между ног, а в следующий миг жестом вакханки приподнимает нависающий живот и вскидывает его до самых грудей. Дело происходит в пять часов вечера. Генерал бледнеет. Как да-

леко она зайдет? Он начинает дрожать. Подходит полицейский. Но каким-то чудом именно крайняя степень собственного бесстыдства ее успокаивает. Мало-помалу, словно одумавшись, она приходит в себя. Больше того, она изображает величайшее смирение. Или это ирония? Затем притворщица сворачивает на рю дю Вье-Коломбьер и делает вид, что разглядывает безделушки в витринах и театральные афиши. Теперь она выглядит как благочестивая прихожанка, возвращающаяся из церкви Сен-Сюльпис от вечерни. Генерал облегченно вздыхает и, я готов поспорить, убеждает себя в том, что просто вышел прогуляться со своей душечкой.

ВЗГЛЯДЫ

Напротив меня садится девушка, чье лицо обрамляют две золотистые косы. Ее скромная манера держаться выглядит настолько естественной, что между нами совершенно непринужденно завязывается немой разговор: ее руки отвечают моему взгляду, ее взгляд – моим рукам. Ее мать думает: «Он находит ее красивой» – и, я уверен, она этим гордится. Но после того, как она изучает меня в лорнет с головы до ног, чтобы выяснить, какому именно типу мужчин нравится ее дочь, – я вижу по ее гримасе, что она уже не так горда.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ КАБРИОЛЕТ

Едва лишь я успеваю занять место в автобусе, как идущий следом жандарм садится напротив меня. Чтобы избавиться от его пристального взгляда, я улыбаюсь, но тщетно – я уже попался… Он внимательно разглядывает мое лицо, мои руки, изучает мои повадки, и поскольку мы сидим в самой середине автобуса, взгляды всех пассажиров обращаются к нам. Я не осмеливаюсь пересесть. Если я это сделаю, жандарм последует за мной, и тогда уже для всех станет очевидно, в каком статусе я отныне пребываю, лишенный возможности передвигаться без моего ужасного ангела-хранителя. В ответ на любое, едва заметное мое движение он угрожающим жестом пригвождает меня к месту. Я уже ощущаю наручники на своих запястьях. Я слегка расставляю руки, чтобы убедиться, что они больше не свободны, но в то же время не допустить, чтобы цепь зазвенела. Жандарм начинает дремать. Но как только я спрашиваю себя, почему бы, воспользовавшись этим, не попытаться убежать, как замечаю, что один глаз у него приоткрыт. Я отказываюсь от своего намерения. Глаз закрывается. Желание бежать одолевает меня снова, с такой силой, что я пинаю моего

тюремщика по ноге, чтобы заставить его присматривать за мной. К положению заключенного привыкаешь с такой легкостью, что это не может не повергать в отчаяние. И вдруг на остановке у площади Клиши жандарм поднимается с места и, не удостоив меня даже взглядом, идет к выходу. В глазах всех своих попутчиков я вижу немые извинения. Моя одежда словно по волшебству расправляется, лицо разглаживается, на нем снова появляется добропорядочное выражение. Руки, не в силах справиться с неожиданной свободой, чуть приподнимаются и бессильно замирают на коленях, как птицы, которые слишком долго бились о прутья клетки. Я выхожу у дома номер 61 по рю Коленкур, и никто не пытается меня остановить. Чего ради? Никто больше не проявляет ко мне ни малейшего интереса, и весь вечер и всю ночь я брожу, не разбирая дороги, по-прежнему отягощенный моим преступлением – не известным, но реальным, опасным, – по этому огромному городу, отдавшись на милость своих жертв.

ТЕНЬ

Я прогуливался недалеко от «Отель-де-Виль» после семи часов. В какой-то момент за мной по пятам увязалась старуха с девочкой лет десяти. Мне стало не по себе, и я, ускорив шаги, почти бегом направился к Сен-Жерве («к святому Жерару де Нервалю», – как сказал я позже Веронике, когда пришел к ней). Справа от церкви я углубился в переулок, узкий и темный, в глубине которого, к моему ужасу, меня ждали всё те же старуха с девочкой, стоявшие, как святая Анна и Дева Мария на картине «Введение Марии во храм», среди горшков с геранью. Я поспешил обратно, и, поднимаясь по лестнице, восходящей из глубин Преисподней[7], постепенно оказался посреди площади напротив Порш-Ройяль, от которого меня теперь отделяли всего десять или двенадцать ступенек.

И вдруг я услышал рыдания. Никого не видя вокруг, я привстал на цыпочки, потом поднялся еще на пару ступенек. Наконец я увидел человека, распростертого на земле в углублении дверной арки – казалось, он хочет вытянуться еще сильнее, попытаться сделать свое тело плоским,

---

7 Обыгрывается название рю д'Анфер, букв. «Адская улица».

вжаться в землю, полностью слиться с ней, чтобы его вообще невозможно было различить. Было ли это ненадежное пристанище его единственным счастьем, единственным безопасным местом, которое у него оставалось? Казалось, он пытается спрятать голову под телом, а лицо – под головой. Его губы, словно искривленные судорогой, были плотно сжаты, один глаз был неподвижно устремлен на деревянную балку, другой – на каменную стену. Я поднялся на еще одну ступеньку. Услышал ли он мои шаги? Во всяком случае, он приподнялся, не оборачиваясь, и его лицо оказалось прямо напротив моей тени, которая надвигалась на него с другой стороны, поднимаясь всё выше вдоль дверной створки, словно по волшебству. По мере того как я сам поднимался и приближался, моя тень всё росла, и этот человек, кажется, следил за ней глазами и даже чуть-чуть отодвигался, как будто затем, чтобы уступить ей место. Наконец, когда она воздвиглась прямо над ним, он уставился на нее, оцепенев от ужаса. Чьих теней он опасался больше всего? Когда он распознал мою – я хочу сказать, когда он убедился, что моя не является ни одной из них, напротив, это тень человека, которого он смог чем-то растрогать или заинтересовать, – он счел необходимым повернуться, чтобы разглядеть меня. Точнее, сам я не имел для него особой важности или ценности – ему достаточно было моей тени. Она по-прежнему его беспокоила. Он снова съежился, и я понял, что даже свое собственное тело он вряд ли ощущает сейчас настолько хорошо, как мое, чувствуя, что я собираюсь сделать к нему еще один шаг. Тогда я сделал вид, что просто любуюсь архитектурой церкви, даже не замечая его, а потом, не поворачиваясь,

медленно сделал несколько шагов назад и снова начал спускаться по лестнице. И вот, когда голова моей тени, скользившей вниз по дверной створке, оказалась на уровне его рук, я увидел, как он протянул их к ней – то ли собираясь задушить ее, то ли обнять. Потом он снова скорчился на земле.

На вершине этого эшафота, у подножия небесных врат, возле самых моих ног, в самом невероятном, абсолютном одиночестве, он рыдал, и это рыдание, которое весь мир слышал, но не замечал, весь вечер отдавалось у меня в ушах, словно звон погребального колокола. Мне представлялось, что этот человек совершил убийство – и, словно отлученный от мира живых, колебался между тюрьмой и смертью. Наказывая себя сам, уже пребывая в собственном аду, он вдруг увидел зловещую тень, выросшую перед ним на двери, – и содрогнулся. Была ли его первая мысль о полицейском, собирающемся его арестовать, или о последнем визите своей жертвы, одну только тень которой он забыл уничтожить?

ДОЧЬ НЕБА И АДА

Она похожа на летучую мышь и одновременно на ангела – раздушенная и распутная, в шелковых туфельках, с пустым сердцем, но в густом парике из натуральных волос, с челкой и длинными завитыми локонами, и в шляпе с обвисшими полями, украшенной воспоминаниями – лепесток флер-д'оранжа, перламутровая пряжка, бархатные и бумажные цветы, вуаль шириной с парус. И эта отметина на щеке, пылающая, как стигмат – язва или укус? память о грехопадении или еще один рот – уста Зла, которыми оно вещает помимо нее? Ах, зачем я так долго насмехался над тобой? Но я исправлюсь, я сам придумаю себе наказание, ангел мой. Когда я говорю «Бог», ты отвечаешь «Иисус». Бог? такие как она не знают, кто это, вот Иисус – другое дело. «Кто не против Меня, тот со Мной» – так она исказила себе на пользу Святое Писание.

«По вечерам я живу на сцене театра, а остальное время кочую из отеля в отель, чтобы унять свою лихорадку. Всё свое ношу с собой – сменную рубашку». В этой рубашке мне видится благословенный антиминс, расшитый розами и незабудками. Когда я спросил тебя о возрасте, ты отве-

тила: «Без одежды я выгляжу на пятнадцать лет». Ты бесспорно достойна восхищения, и наш союз отныне крепок. За твою красоту я готов тебя удочерить. Или жениться на тебе. Ты волнуешь сильнее, чем сама Красота. Ты – христианская Венера, тощая, болезненная, прогнившая, с маленькими округлыми грудями, никогда не мытыми, в пятнах экземы, и ножками-спичками, одетая в лохмотья, сквозь которые твое сердце просвечивает, как бриллиант, чей вид заставил бы онеметь любого алхимика.

Сколько загадок ты помогла мне разрешить, когда на мой вопрос «Любила ли ты когда-нибудь?» – ответила «Нет. Я никогда не влюблялась до беспамятства». В этот момент ты предстала мне настолько великой, что в сравнении с тобой мост, по которому ты шла, показался жалкими деревянными мостками, да и само небо – газовым шарфом за четыре су.

БОГ-ОТЕЦ

В этот вечер я спустился под Новый мост, чтобы увидеть человека, в точности похожего на Бога-Отца: та же борода, тот же силуэт. Мне сказали, что он сумасшедший. Или, может быть, он просто насмехался надо мной? Почти голый под наброшенным на плечи зеленым одеялом, он объявил мне: «Здесь у меня пункт беспроводной связи. Только что я говорил со всеми пятью частями света. В меня кидают камни с моста, но эти камни никогда до меня не долетают – вон на том платане сидят ангелы с ракетками и отбивают их. У меня есть склады с барахлом по всему миру. Каракулевые шубы, которые я купил в России, сгнили, я знаю, но это ничего. Их просто надо починить – заменить на них все шерстинки, одну за другой, вот и все дела. В моих погребах на рю дю Бак так сыро. И еще у меня на Сене стоят три баржи с грузом фруктов и овощей. Банан совсем как яйцо. Берешь яйцо и счищаешь скорлупу. Берешь банан и снимаешь кожуру. Один в один. А мои дыни! Мой дорогой сынок обычно ходит за покупками. Но сейчас он в Риме, возле Папы. Там как в театре Шатле (и он указал рукой на театр). Я всё время за ними наблюдаю. Хотя вы, месье, наверно, и пред-

ставить себе не можете, как это».

Пока Бог говорил, я изучал его обитель, лишенную стен, крыши, окон и дверей, где все вещи были аккуратно разложены под открытым небом вокруг единственного дерева: тряпки, коробки, зонт, перетянутый веревкой, котелки, шумовки и дуршлаги, нанизанные на стальную струну, которая крепилась к переносной печке – но это был не набор кухонной утвари, как мог бы подумать непосвященный, а тот самый пункт беспроводной связи со всем миром.

Под мостом была гардеробная. В петлице одного пиджака я заметил «Крест пилигрима». «Зачем он вам? – полюбопытствовал я. – Вы религиозны?» – «Нет, месье. Вот взгляните, на этом пальто – трехцветная кокарда. А на этом – красный бессмертник. Это потому, что я приверженец всех религий. Поскольку я общаюсь с Петром, Павлом и Иаковом, мне приходится каждый раз переменять одежду. У меня всего десять костюмов, а надо бы сто. Я точно знаю, какой костюм мне бы следовало надеть для встречи с вами. А вот вы не знали, что бы вам надеть для встречи со мной. Однако, предвидя ваш визит, я предпочел остаться голым. Это просто другой способ вам понравиться. Так что не думайте, будто я обманут вашими комплиментами. Это вы обмануты моими, или мы оба друг друга одурачили, если вы дьявол. Думаю, я уйду отсюда сегодня же вечером, и вам нелегко будет в следующий раз вот так запросто повидаться с Богом-Отцом».

1956

Однажды вечером, после десяти, я прогуливался в садах Трокадеро и за поворотом одной из аллей увидел женщину, окруженную многочисленными кошками всех цветов. Я приблизился и спросил, откуда взялось это сборище.

– Ах, месье, – отвечала она, – эти бедные создания дни и ночи напролет стремятся попасть сюда, где для них настоящий рай, преодолевая заграждения и капканы, вынося пинки и побои, порой страдая от голода и отчаяния, когда их здешняя охота на птиц в рощах или на рыб в фонтанах оказывается неудачной. Вот посмотрите на эту рыжую, она совсем старенькая… Каждый день она, укрывшись в тени, подолгу сидит на берегу ручья, который орошает один из цветников, и пытается подцепить какую-нибудь мелкую рыбешку, когда та проплывает мимо… Но это ей так редко удается, что она умерла бы от истощения, если бы я о ней не позаботилась.

А вот здешние садовники их ненавидят и ведут с ними настоящую войну, которая еще сильнее изнуряет, чем голод… Но я уже больше десяти лет о них забочусь и регулярно приношу им еды. Иногда я говорю себе, что уже слишком слаба, мне семьдесят лет… Но ведь они меня ждут! Как не прийти?.. Когда я болею, вместо меня прихо-

дит старшая сестра, которая еще дряхлее меня… Двадцать су на молоко и остатки с нашего стола, а еще те, что приносят нам соседи, – этого хватает, чтобы наши подопечные не голодали. Вдоль этой аллеи всегда расставлены корзинки, плошки, консервные банки – как на настоящем пиру!

А в прошлом году окрестные мальчишки устроили, нечего сказать, «шалость»! Они меня чуть не убили, месье! Стоило мне войти в аллею, они принялись швырять камни в моих подопечных, которых я могла заслонить только собой. В конце концов мне удалось договориться с полицией, чтобы нас охраняли – но знаете, что сделали эти гадеыши, нанеся мне удар в самое сердце? Они распяли маленького белого котенка, моего любимца, вот на этой березе. На коре до сих пор видны следы гвоздей…

Ах, месье, если бы вы десять лет подряд приходили в это место, всегда в один и тот же час, и видели, как эти бедные создания сбегаются к вам со всех сторон, из самых дальних уголков парка, вы бы непременно были счастливы от того, что помогаете им!

*

Две горлицы провели всю свою жизнь, воркуя на одном и том же окне дома на площади Мобер – их единственной клеткой было чувство благодарности к кормящей их руке.

*

Одна маленькая птичка, живущая на крыше Зимнего цирка, поет каждый вечер и замолкает позже всех – словно излив наконец душу, переполненную больше остальных.

*

В сквере возле башни Сен-Жак стайка воробьев суетится вокруг одной-единственной хлебной крошки, почти неразличимой – но они оспаривают ее друг у друга, сражаясь до крови.

*

Каждый вечер старичок и старушка, оба маленькие и хрупкие, никогда не выходящие из своей мансарды, садятся у распахнутого окна подышать свежим воздухом, не видя ничего дальше своих ящиков с геранью, которая словно освещает их лица.

*

Воскресными вечерами по улицам предместий движутся мрачные толпы обитателей особого мира, покинувших свои трущобы как будто для того, чтобы поглазеть на казнь. Вскоре само солнце начинает казаться окровавленным срезом шеи после удара лезвия, отсекшего голову. Воистину это казнь, окончательно убивающая прошедшую

неделю.

*

Перед уличным лотком, закрывая его полностью, горой высится чья-то спина, поверх которой видна лишь мужская рука, возлежащая на голом женском плече.

*

Сквозь решетки на окнах сумасшедшего дома чаще всего можно увидеть мясистые лица тех, кто живет чужими болезнями и смертями.

*

Над триумфальной аркой победно вскинутых рук возницы, который только что высыпал груду щебня из своей телеги в стоящую у причала баржу, видна голова пегой лошади, настолько великолепная, что способна затмить головы Диомедовых коней – кажется, что, подобно им, эта лошадь вместо травы поглощает языки пламени разожженного где-то на иных берегах костра.

*

Когда мадам Маландрен, консьержка из дома 26, видит, что кого-то из жильцов увозят на «скорой» в больницу, – тем более если шансы вернуться оттуда у него невелики, – она обычно говорит, выпрямившись во весь рост и уперев руки в бока, с облегченным или даже довольным видом: «Ну,

теперь будет почище!» – как будто вся жизнь для нее – сплошная грязь.

*

Я часто встречаю на рю Ренуар монахиню из Сен-Венсан-де-Поль, прекрасную, как Венера Медицейская. Она совершенно непринужденным жестом просовывает руку под белый фартук, опоясывающий ее роскошные формы, и касается ею промежности, собираясь, очевидно, приподнять спереди край платья из боязни на него наступить – хотя со стороны кажется, что она идет, не касаясь земли. Голова ее гордо поднята, а взгляд, устремленный куда-то вдаль и ввысь, скользит над головами встречных, подобно летящей голубке.

*

Этим утром я надолго застыл от изумления на рю Бобур перед птичьей клеткой, в которой какая-то мегера, скорее всего ради развлечения, поселила десяток птиц совершенно разных видов, в природе не живущих вместе никогда: там был кардинал, две вдовушки, попугайчики, канарейки, щегол, еще кто-то – вплоть до воробья. Ужасающий образ нашего мира, в который мы заключены волей неведомого безжалостного божества. Мы не в силах ни убежать, ни избавиться от гнусной тесноты соседства с себе подобными – с которыми, однако, у нас нет ничего ни сходного, ни общего, кроме равного для всех тяжкого бремени существования, которое мы по необходимости влачим. Всё остальное нас разделяет, заставляя каждого восставать против всех: наши темпера-

менты, наши характеры, наши устремления, наше происхождение, классы, к которым мы принадлежим, и особенно – те обычаи, которым мы считаем за благо следовать; я не решаюсь сказать: «наши свободы» – какая уж свобода в клетке? (Впрочем, один янсенист, сидевший в Бастилии при Людовике XIV, говорил, что у него оставалось их тринадцать – и с ними король ничего не мог поделать.) Назовем это «наши почитаемые мании». Даже у двух братьев они могут быть противоположными, взаимно ограничивающими, обоюдно неприемлемыми, несовместимыми. Профессии, таланты порождают конкуренцию, гениальность – зависть, любовь – ревность, патриотизм – войну, религия – фанатизм; и что может быть опаснее человека, уверенного в своем обладании истиной и твердо решившего принести счастье всем остальным: он скорее перемелет их в прах, чем откажется от своего замысла.

Но вернемся к птицам. Итак, я наблюдал за ними сквозь прутья клетки, и они подавали мне множество примеров того, как можно создавать какое-то подобие роскоши даже в стесненных обстоятельствах, как прогонять скуку и с пренебрежением относиться к гурманству. Но вот я заметил обитателя клетки, явно переносящего неволю хуже всех остальных: самого скромного и, как следствие, самого униженного и забитого; он был несчастнее других именно потому, что был сотворен более живым и подвижным, более веселым, сильнее всего любящим петь и порхать, более привычным довольствоваться малым – иными словами, наиболее приспособленным к тому, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом можно было догадаться по его яркому, как у всех щеглов,

оперению, ничуть не потускневшему в неволе, и резвым бусинкам глаз. Покрытый испражнениями собратьев, изгнавших его на низший уровень своего общества, он сидел, опустив голову, с печально-задумчивым видом, словно понимая, что обречен на долгую жизнь и долгое страдание, – он, воплощенная веселость! – молча, без движения. Глядя на него, можно было подумать, что вся вселенная замыслила его погубить – и что он это сознает. Ах, будь я самим Творцом – я бы отказался от всего своего блеска и славы, чтобы освободить это безвинно страдающее существо!

– Вы ошибаетесь, – ответил мне первый же прохожий, с которым я поделился своими размышлениями. – Вы не заметили другого узника, которому еще хуже, чем этому, и который занимает место еще ниже, чем он, – можно сказать, на самом дне. Вот кто самый несчастный из всех.

– Вон тот воробей, который бьется о прутья? Напротив, он самый счастливый – он скоро умрет.

*

Двое мальчишек лет четырнадцати-пятнадцати, возвращавшихся из школы – бледных, тощих и жалких, – уселись рядом на сиденья в метро и начали тараторить без умолку, словно изголодавшись по разговорам после долгого молчания на уроках. Но вот в вагон вошли две молодые женщины, веселые, оживленные, в мехах и кокетливых шляпках, и встали возле них, не сомневаясь, что те уступят им место. Ничуть не бывало. Поглощенные своей болтовней, мальчишки, казалось, их не замечали. Женщины несколько раз пыта-

лись привлечь к себе внимание, но всё было напрасно. Тогда они воззвали к окружающим, чтобы выставить невеж на публичный позор. И тут один старик, добровольно взяв на себя функции арбитра в этом конфликте, за нарастанием которого он внимательно наблюдал, приблизился к двум нарушителям приличий и произнес фразу, вызвавшую всеобщий хохот:

– Ну-ка, ребятишки, вставайте и уступите места этим двум немощным!

*

Мы вышли из кафе «Вавилон». Полицейский автомобиль, перегородивший улицу, вынудил нас остановиться у дверей ночного клуба, откуда выносили на носилках молодого человека, судя по виду, из высшего общества. По выражению одного из полицейских, у которого я спросил, что случилось, его «вырубила» чрезмерная доза кокаина.

Наконец мы добрались до метро, но в одном из переходов внезапно услышали резкий хриплый крик, в котором не было ничего человеческого. Оборвался он столь же резко и неожиданно. Единственным человеком в поле нашего зрения был благообразный старик, чинно стоявший у стены. Только он и мог издать этот крик. Однако вид у него был совершенно безмятежный. Я подумал, что это, скорее всего, сумасшедший, и, охваченный невольной жалостью, приблизился. Старик держал перед собой руку ладонью вверх, и я положил в нее несколько монет. Но стоило мне отойти, как меня нагнала пожилая дама и спросила: «Знаете ли вы, месье, кому только что подали ми-

лостыню? – Нет. – Инспектору сыскной полиции в отставке. Он живет в одном доме со мной вот уже пятнадцать лет. Он разыгрывает эту комедию каждый вечер в разных местах и, будьте уверены, неплохо на этом зарабатывает. Он страшный скряга, месье! Жадность – вот что им движет!»

*

В период оккупации у магазинов возле Лувра выстраивались очереди почти бесплотных, грязных людей, над головами которых висело огромное панно с надписью позолоченными буквами, выглядящими так, словно они мнили себя золотыми: «Благородство белизны» – как будто благородство и белизна еще имели что-то общее с этим миром.

*

В автобус заходит негр, и какой-то ребенок говорит матери:

– Он некрасивый!

– Почему же, дорогой, он красивый – для своей страны.

*

Сегодня, стоя на автобусной остановке в Порт-Майо, я наблюдал за столкновением двух передвижных средств, о которых еще не скоро забуду. С одной стороны шла пышнотелая горделивая ма-

трона, катящая перед собой детскую прогулочную коляску с пологом из розового атласа, отделанным кружевами. В коляске сидела обезьяна с пресыщенным, брезгливым выражением почти человеческого лица. Хозяйка даже прибегла к помощи полиции, чтобы заставить всех встречных расступаться перед этим королевским экипажем. С другой ехал человек на дряхлом, полуразвалившемся велосипеде, к рулю которого была прицеплена плетеная корзина с сидящей в ней собакой. Судя по несчастному виду животного, это неудобное, тряское путешествие продолжалось уже долго. Но я никогда не встречал такой нежности, как та, что отражалась в глазах этой собаки, неотрывно глядящих на лицо хозяина, от которого она ни разу не отвлеклась всё то время, что я за ними наблюдал. И он, в свою очередь, тоже сосредоточил всё внимание на ней. Они явно были далеки от благополучия – со стороны оба выглядели нелепыми, жалкими изгоями, – но тем теснее становилась их близость, служившая им защитой от невзгод. Ах, если бы сердечность была той единственной основой, что определяет человека, – сколь многие животные заслуживали бы того, чтобы встать вровень с нами, и сколь многие люди, презирающие их – быть изгнанными на низшую ступень.

*

Проходя мимо моста Гренель, двое детей лет шести-семи увидели статую Свободы. Один сказал:

– У нее пики на голове!

– Да нет, это шипы.

– А–а.

– Да, папа с мамой мне рассказывали эту историю. Там было еще что-то про злых людей и про крест…

– А что за история?

– Да я уже забыл…

*

На станции Перер в поезд кольцевой линии заходят две девушки странного вида, с безучастными лицами лунатиков. Обе в темной одежде, у каждой приколот к волосам букетик цветов. Еще две такие же садятся на Трокадеро, еще две – в Пасси, и так далее. Между собой они не обмениваются ни словом. Такое ощущение, что каждая говорит сама с собой: их губы слабо шевелятся, но лица остаются совершенно пустыми, лишенными всякого выражения. Может быть, это роботы или ходячие манекены? Нет, по некоторым признакам все-таки можно догадаться, что это существа из плоти и крови. Но чьи же руки увенчали их пионами – таких безобразных, столь нелепо накрашенных, что невозможно представить себе маскарада более гротескного, более издевательского? Некоторые, самые старшие, носят впридачу пояса из живых роз на своих располневших талиях почтенных матрон, что придает им вид загулявших жен огров, или провинциальных монахинь из ордена «Детей Марии», превратившихся в вакханок, или упившихся деревенских скромниц. На лицах – ни тени улыбки, лишь некое навязчивое упорство, почти одержимость. Завороженный этой непонятной, всё увеличивающейся процессией, я начинаю воображать себя перенесенным каким-то волшебством в необычную страну, где живут люди

без глаз, как вдруг случайно узнаю, что все они – и в самом деле слепые, собравшиеся на свадьбу одной из своих подруг. Без сомнения, если бы они были зрячими, если бы могли увидеть себя такими, как увидел их я, столь нелепо разодетыми, они бы умерли от потрясения, от изумления и стыда.

*

Воскресным вечером я увидел на авеню Терн сидящего на скамейке человека, похожего на нищего. Казалось, он наблюдает за чем-то в отдалении. Проследив за его взглядом, я заметил подвешенную к дереву клетку, совсем крошечную, в которой бился дрозд.

– Вы его продаете? – спросил я.

– О, что вы, месье! Конечно, нет! Как же мне без него? Это единственная радость в моей жизни, мой единственный друг на всем белом свете. Но вам, я вижу, интересно узнать, что мы оба здесь делаем. Так вот. Я живу на первом этаже, в глубине сырого двора, где всегда темно, даже днем. И вот по воскресеньям, после обеда, когда я иду гулять, я беру клетку с собой и время от времени выставляю ее на солнце. Видите, как он радуется!

*

Три дня назад уличный музыкант решил обосноваться на улице адмирала Брюи, почти под самыми моими окнами. Его инструмент – некое подобие скрипки с коротким грифом, струнами разной толщины, явно приобретенными по случаю и натянутыми кое-как, и таким же убогим смычком. Невозможно вообразить звуков более отвра-

тительных и менее похожих на музыку. Бог весть почему – может быть, именно из-за этой какофонии? – деньги сыплются на него дождем. Каждый прохожий будто считает своим долгом подойти – а порой даже перебежать ради этого улицу, рискуя попасть под колеса, – и вознаградить моего палача. В самом деле, для меня это наихудшая пытка. В какой-то момент я не выдерживаю, одеваюсь и со шляпой в руке иду на поклон к мучителю, умоляя перенести свой концерт чуть подальше. Он с готовностью соглашается – и, разумеется, такая услуга не может остаться без щедрого вознаграждения с моей стороны.

На следующий день всё повторяется.

*

Сегодня, жарким июльским днем, в два часа пополудни, на рю Ренуар почти ни души – только двое рабочих из службы городской канализации. Один из них, гигант атлетического телосложения, по пояс обнаженный, с висящим на поясе алюминиевым фонарем, собирается спуститься в открытый люк, но перед этим изображает в лицах боксерский матч, на котором, очевидно, присутствовал накануне – исключительно для собственного развлечения, поскольку его компаньон курит, повернувшись к нему спиной.

Не будь меня, единственного зрителя, вся естественная красота этого импровизированного представления пропала бы даром! На мгновение он поворачивается ко мне в профиль и склоняет голову, так что она оказывается точно на середине его торса, словно замещая фонарь, который он

передает своему напарнику. И в довершение всего, словно павлин, распускающий хвост, он делает «колесо» вдоль всего тротуара. Я как будто наяву увидел ожившего «Копьеносца» Поликлета, демонстрирующего все приемы древнего искусства борьбы ради меня одного.

*

Два клошара повстречались в полдень на площади Шатле. У обоих были дешевые солнечные очки. Оба смерили друг друга взглядом и ухмыльнулись. Когда они разошлись и отдалились друг от друга на несколько шагов, оба одновременно повернули головы, и каждый слегка приподнял плечо, всем своим видом изображая презрение.

*

Я влюблен в старенькую консьержку с улицы Дюрель. Ее муж парализован. Мы с ней не знакомы и никогда не сказали друг другу ни слова, кроме «Добрый день!» однажды при встрече – оба одновременно, сразу же, как только друг друга увидели, но это приветствие с ее стороны сопровождалось очаровательной улыбкой (своей я увидеть не мог), которая столь явно давала понять, что я ей симпатичен, как если бы она хотела произнести это вслух, от всего сердца, и лишь из тактичности промолчала. Мне, всегда придававшему больше значения посадке головы, чем самой голове, и манере вскидывать ее, чем ее внешнему виду, было достаточно утонченности ее жестов, интонации ее голоса, выражения лица – очевидных свидетельств ее благородства, – чтобы почув-

ствовать тайную близость с этой женщиной, впитать ее душу, несмотря на ее почтенный возраст и низкую должность.

С тех пор наши встречи, всегда немые, своей счастливой атмосферой напоминают мне любовные свидания.

*

Каждый день, вот уже десять лет, я вижу мужчину и женщину, которые проходят рука об руку под окнами моего дома на улице адмирала Брюи, в семь утра и в восемь вечера – с такой точностью, что я могу проверять по ним часы. На вид им что-то около пятидесяти лет, судя по всему, они ровесники. Я думаю, они работают в одном из богатых буржуазных домов в районе Порт-Дофин. Они выглядят как образцовые слуги: всегда одеты с иголочки, обувь начищена до блеска, прически – волосок к волоску. Такого сейчас уже почти не встретишь. Кажется, ничто не в силах омрачить добродушного выражения их лиц, лишить их обходительных манер, нарушить их всегда неторопливую, размеренную походку. За многие годы они идеально приноровились к шагам друг друга. Женщина слегка склоняет голову к плечу мужчины, потому что он совсем чуть-чуть ниже ее ростом, и опирается на его большую руку – он, что называется, крепко сшит. Почти всегда они смотрят под ноги, как те, кому нет дела до окружающих пейзажей и посторонних людей, и у кого нет необходимости смотреть друг на друга, чтобы друг друга видеть. Произнося какие-то слова, подбирая выражения, они оба знают, что заставит другого улыбнуться или нахмуриться – им даже не нужно поворачивать голову, чтобы в этом убедиться.

Каждый из них – словно бревиарий для другого: со временем они выучили друг друга наизусть. На сгибе свободной руки у каждого висит сумка с провизией, а две другие руки так тесно сплетены, что издалека эти два существа кажутся неразделимыми, соединившимися в одно.

*

Чуть позже проходит еще одна пара: она совсем чуть-чуть, на полшага, впереди него – он хромает. Хочется крикнуть его спутнице, слишком резвой или не слишком внимательной, чтобы она умерила шаг, позволив ему нагнать ее – что он тщетно пытается сделать. В этом очевидном разладе есть нечто ранящее, трагическое.

Но то же самое, говорю я себе, можно наблюдать почти у любой семейной четы. Очень немногие созданы для того, чтобы легко приноравливаться к походке друг друга; и какое редкое самоотречение – из любви отказаться от своего собственного ритма!

*

Как только они скрываются под сенью платанов, настает очередь маленькой повозки на двух автомобильных колесах, в которую запряжена венгерская лошадка, мчащаяся во весь опор. Ею правит закутанная в шаль женщина крестьянского вида. Каждое утро, едва рассветет, она привозит парное молоко и другие свежие продукты со своей фермы какому-то знатному сеньору. Может быть, русскому князю? Чем-то это зрелище напоминает мне изображения «тройки».

*

С площадки автобуса, куда только что поднялся, я замечаю сидящего внутри молодого человека, чья манера чтения крайне оригинальна: внимательнейшим образом изучив очередную страницу, он вырывает ее, сминает в кулаке и выбрасывает в окно.

*

В маленьком частном автобусе иезуитского колледжа четверо учеников сидят с книжками по углам, прилежно повторяя уроки, а пятый, необыкновенно красивый, лежит, вытянувшись поперек сиденья, с мечтательно-рассеянным видом – судя по всему, получив на то позволение, хотя бы и молчаливое, от сидящего напротив отца-иезуита, который избегает на него смотреть, опасаясь, вероятно, что эта преходящая красота заставит его позабыть о вечности.

*

Сегодня, спускаясь в метро на площади Перер, я увидел одного необычного персонажа, которого раньше уже встречал в этом квартале – клошара, похожего на свихнувшегося книголюба-графомана, поскольку, несмотря на свой истощенный вид, он всегда таскает с собой две связанные и перевешенные через плечо сумки, спереди и сзади:

одну со старыми книгами, другую с ветхими рукописями. И вот он поскользнулся и упал, рассыпав весь свой груз буквально мне под ноги. Несколько человек тут же склонились над ним, кто-то приподнял ему голову, словно специально давая мне возможность увидеть его побледневшее окровавленное лицо. Я должен был первым броситься ему на помощь – кому, как не мне, в первую очередь подобало это сделать? – но им уже занялись другие, к тому же меня ждали мои ученики. Я с сожалением двинулся дальше, и, пока я размышлял об этом эпизоде, лицо клошара в моем воображении постепенно сменялось моим собственным. Когда я прибыл в пансион, мне уже казалось, что я оставил там, в переходе, самого себя, чтобы не опоздать на урок.

*

Жена виноторговца на авеню де Нейи:

– Ах, нет, что вы, месье, помилуйте! Нет и нет! Никогда мы с мужем не поедем вместе в отпуск! Это единственный случай раз в году отдохнуть друг от друга – как можно его упускать! Всё остальное время мы не расстаемся ни днем ни ночью: днем в магазине, ночью в постели. Рано или поздно это надоедает. К тому же, хотя в домашней жизни у нас одинаковые вкусы, отдыхать мы любим каждый по-своему. Мужу нравятся модные морские курорты, потому что там можно хотя бы две недели пожить роскошной жизнью. А я, во-первых, боюсь воды, а во-вторых, за одиннадцать месяцев устаю от людей, поэтому уезжаю в деревню. Чем ближе июль, тем сильнее я мечтаю снова

увидеть коров. Вот где настоящий отдых! Сама я родилась в Париже, но каждый год уезжаю на месяц в деревню.

*

Один клошар высказывает соображение первого мая:

– В такой день и навозная куча зацветет!

*

Слепой с Аустерлицкого моста улыбается так, словно видит человека, только что подавшего ему милостыню, – пожарного.

*

Сегодня утром наша горничная рассказала нам невероятную историю.

В доме, где она живет, у одной семьи болеет дочь, маленькая девочка. Ее родители, собираясь отвезти ее в больницу на обследование, искали транспорт подешевле. Кто-то из соседей посоветовал велотакси.

Девочка, невысокая и худенькая, полностью утонула в груде шерстяных покрывал, отчего такси стало напоминать тележку старьевщика, везущего ворох тряпья – хотя, возможно, еще на что-то пригодного.

Родители поехали одновременно с ними на метро.

Когда такси прибыло в Ларибуазьер, водитель вышел и, поскольку девочка не могла сама ходить, направился в здание и попросил первого встречного врача найти кого-то, кто помог бы ее перенести.

Помощника нашли не сразу, и когда наконец они с водителем, взяв с собой носилки, вернулись – о ужас! – велотакси не было на месте. Его угнали!

Можно вообразить физиономию грабителя, когда он развернул шерстяной узел, похожий на трофей мародера, и ужас и отчаяние родителей.

*

Нет, никогда, даже в самые лучшие времена – я хочу сказать, в XI и XII веке – не было изображения мадонны, сравнимого с той женщиной, что сегодня села напротив меня в метро, когда поезд тронулся, отходя от станции «Лувр». Необычное одеяние и величественные манеры еще сильнее подчеркивали ее экзотическую, дикарскую красоту.

Каскад ее разноцветных юбок, напоминавших цыганские, но еще более кричащих, пестрых цветов, ниспадал до самого пола, а спереди были намотаны один поверх другого еще несколько фартуков разной длины, всех оттенков синего цвета, вылинявших от дождя и солнца за много лет.

Плечи ее закрывала накидка, скроенная, судя по всему, из холщового мешка, из-под которой виднелись сатиновый корсаж и рукава, не доходящие до запястий. Руки казались вырезанными

из темного дерева – грубые, огромные, как вальки прачек, застывшие в торжественной неподвижности. Когда отдыхают руки, которые обычно много работают, они внушают благоговение, подобно священным реликвиям.

Голова возвышалась над всем этим великолепием, словно угрожающе вскинутый кулак, и выражение лица полностью ей соответствовало: оно было повелительным и в то же время вызывающим, но на этот вызов можно было ответить лишь глубоким почтением.

Самой экстравагантной деталью наряда этой Нотр-Дам-дез-Аль[8] были пришпиленные к лентам, украшавшим ее корсаж и запястья, бумажные этикетки – на них, возможно, ее память запечатлела те счастливые события, за которые она была благодарна судьбе. Эти своеобразные ex voto[9] окружали, как святыню, золотое сердечко, висящее на ленточке у нее на шее.

У ее ног, словно дары у подножия статуи божества, громоздились корзины с кочанами капусты, саженцами роз, лесной земляникой. Витавшие над ними ароматы едва пробивались сквозь резкие запахи чеснока и красного вина.

*

Сегодня рано утром, когда я отправился на рю Белль-Фей за конопляным семенем для моих голу-

---

8 «Богоматерь торговых рядов».

9 «Приношения по обету» (различные предметы, принесенные в церковь ради исцеления или в благодарность за него, в частности, таблички с выражениями благодарности).

бей, на рю де Помп мне довелось понаблюдать за отъездом некой важной персоны. Внизу, у дверей, этого человека ждал автомобиль (и какой автомобиль!), дверцу которого почтительно придерживала затянутая в перчатку рука лакея; впереди шли два секретаря, каждый с огромным портфелем, доверху набитым какими-то папками (несомненно, этот человек обладал рангом не ниже министерского), а позади – целая свита домашних слуг в одинаковых ливреях: один нес плед, другой – грелку, третий – подушку, и так далее. «Поистине, – сказал я себе, – власть делает человека странным образом схожим с больным!» Бедняга не знал, куда направить взгляд, чтобы его тотчас же не перехватил кто-то из его рабов, а его руки – изящные, праздные, обремененные лишь самими собой, – казалось, цепляются за пустоту.

*

Кажется, даже поезд не решается тронуться с места, а проводники – закрыть турникет и вагонную дверь при виде этой печальной, живописной, возвышенной процессии. Да и как можно разделить этих троих, крепко держащих друг друга за руки: слепого старика, которого только что забрали из больницы, его жену, маленькую, бледную, почти глухую, с видом полной покорности судьбе, и их внука лет десяти, который служит им провожатым. Он поминутно дергает и тянет их за рукава, но они с трудом решаются преодолеть сначала дверцу турникета на платформе, затем подняться в вагон – только вместе, тесно сплотившись бок о бок.

В какой-то момент, то ли ослепленный слишком ярким светом, то ли смущенный множеством прикованных к нему взглядов, то ли напуганный громадным блестящим локомотивом, который вот-вот должен был увезти всех троих, – ребенок растерянно застыл на месте, не решаясь вновь принять на себя командование своим маленьким отрядом. Еще немного – и мы бы уехали без них. Но тут уже вмешались все, включая начальника вокзала, и дряхлую чету вместе с внуком торжественно водрузили в вагон. Я попытался уступить место старику, который казался самым слабым на вид, но он замахал руками и запротестовал. Наконец он позволил усадить себя, но лишь после того, как убедился, что его жена, маленькая и хрупкая, села напротив него. Трясущейся рукой он неуверенно водил в воздухе, пока не нащупал ее колено, которое ему хотелось ради надежности ощущать рядом с собой. Вот теперь он был спокоен. Мальчик, стоя между ними, вслух произносил названия станций, мимо которых мы проезжали, и считал их, загибая пальцы. Это зрелище, столь плачевное, даже убогое, было столь преисполнено любви и достоинства, что вызвало у окружающих почти религиозное почтение – мало-помалу все замолчали, и это молчание было торжественным, как во время мессы.

*

На высокой каменной стене на рю де ла Сурс по вечерам можно увидеть странных насекомых: это муравьи, но почти с человеческими лицами. Длинной чередой они ползут по стене снизу вверх – возможно, в поисках Бога.

*

Африканцев почти не видно в сумерках – лишь иногда замечаешь мимолетный отблеск рукоятки ножа, что у каждого за поясом, а кончик лезвия упирается сквозь разорванную одежду в бок спутницы, которую каждый ревниво прижимает к себе.

*

Элегантность простого рабочего, который умеет вовремя распахнуть дверь перед молодой женщиной, посторониться, чтобы дать ей пройти, а затем отправиться за ней следом, не преследуя ее, имеет гораздо больше общего с природной вежливостью, нежели с благовоспитанностью. Вряд ли он ожидает, что ему скажут спасибо; скорее всего, ему наплевать. Эта вежливость – не для кого-то, а для себя самого. Галантность светского человека гораздо более подозрительна, менее искренна, менее естественна, полностью лишена непосредственности, чаще всего небескорыстна, запятнана либо иронией, либо тайным низким умыслом – в ней всегда заметно влияние привычки, сноровки врожденной или приобретенной, навязанных правил приличия.

*

И снова они!

Как передать эту походку, эту гармонию, этот единый ритм, свидетельствующий о нерушимой верности самим себе и друг другу? Мы уже видели их, проходящих мимо. Каждое утро, в один и тот же час, в будни и праздники, они выглядят одинаково: он в каскетке, она – с тщательно уложенной прической. Вечером они возвращаются, всегда в одно и то же время. Для наблюдателя, каким являюсь я, сидящий в своей стеклянной башне, нет более волнующего момента, чем дождаться их в урочный момент и не упустить – таких безмятежных, и, пусть не особо привлекательных внешне, но столь близких друг другу и столь похожих, с такой слаженной походкой, словно прожили вместе целую вечность и научились слышать одну и ту же музыку, звучащую лишь для них двоих, о которой я могу лишь догадываться по их едва заметным танцующим движениям. Он чуть ниже ростом, поэтому слегка прижимает голову к ее плечу, в то время как она склоняет свою, чтобы услышать, что он говорит ей на ухо, – как будто за все эти годы они еще не исчерпали темы для разговоров.

*

Уличный подметальщик, красивый малый, движется по устилающему тротуар ковру опавших листьев, сжимая в руках свой атрибут и прикрыв глаза. Его движения не хаотичны, а подчинены особому ритму: ноги следуют за руками, делая шаг, когда те замирают. Я изучил этот ритм лучше, чем он сам, – по изображениям танцоров на античных вазах.

*

Я шел по рю де Пасси, возвращаясь с урока, и вдруг какой-то предмет, вращаясь, спланировал передо мной, как парашют, и упал к моим ногам.

Это был зонтик от солнца.

Я сделал еще несколько шагов – и позади меня на тротуар шлепнулся другой предмет, распластавшись с влажным шорохом. Я обернулся.

На сей раз это оказался зонтик от дождя.

Я взглянул вверх и увидел маленькую девочку, которая еще успела столкнуть с балкона седьмого этажа фарфоровую вазу, прежде чем мать заметила ее маневры.

*

Когда я прохожу мимо Пале-Саган, со стороны можно подумать, что я любуюсь архитектурой. Но нет – меня восхищает чистота стекол. Вот пример того, как роскошь может быть доступна каждому!

*

Аптекарь с площади Сен-Фердинан говорит: «Вы не поверите, месье, но здесь, в самом центре Парижа, я почти полгода не видел ни одного нового лица! Кажется, во всей Франции не найдется такой глухой деревни, как этот квартал! Площадь Сен-Фердинан – настоящая дыра, и у здешних клошаров никак не меньше привычек и претензий, чем у буржуа, которые безвылазно сидят на сво-

их балконах. Боже вас упаси занять чье-то место на скамейке, которую тот облюбовал еще с незапамятных времен – греха не оберетесь! Живет тут неподалеку одна русская графиня, которая каждое утро, в том числе и по воскресеньям, садится на одно и то же место, напротив газетного киоска, и продает там бумажные цветы, которые сама же и мастерит. Это ее время – с десяти утра до двух пополудни. Потом настает черед слепого, к которому иногда присоединяется его жена – подышать воздухом после обеда. Вот так они сменяются, и у всех есть свои друзья и недруги, свои сообщества, свои привычные поставщики съестного, и всё прочее в том же духе. Они сговариваются между собой, чтобы добиться от нас, торговцев, разных уступок, скидок и других выгод, которые потом считают своими личными привилегиями, закрепленными за ними с незапамятных времен».

*

В час ночи между бульваром Гренель и задворками рю Дезе, у дверей небольшого модного магазина стоит коленопреклоненный человек в приличном костюме, с букетом роз в руках – кажется, будто он молится замкам и засовам. Шум моих шагов – единственный звук во всей округе – заставляет его мгновенно вскочить на ноги, и, рассыпая свои розы, броситься наутек, по дороге с легкостью акробата совершая прыжки и пируэты. Перед тем как скрыться в подземном переходе метро, он делает колесо среди рассыпанных цветов, словно желая сбить с толку преследователей, застигнувших его в момент исполнения обряда

слишком интимного, чтобы не быть тайным.

– Или подозрительным, – добавляет моя консьержка, услышав эту историю. – Кто знает, месье, может быть, это был обычный взломщик, просто чуть более оригинальный или лучше маскирующийся, чем другие?

*

512 Тридцать слепых юных девушек от десяти до шестнадцати лет (я их сосчитал) идут гуськом, держась за руки, к переходу Пасси под предводительством невысокого священника из церкви Сен-Жан-де-Дье в остроносых башмаках на плоской подошве – он один видит за всех. Ну и сарабанда! Как будто все тридцать дней месяца вышли на прогулку. Когда они оказываются на самой середине моста, при ярком свете дня, их видно отовсюду, будто со сцены: можно подумать, что они пьяны или частично утратили рассудок: одни пошатываются, другие гримасничают и слегка пританцовывают, словно поплавки на воде. Зрелище столь необычное, что прохожие в изумлении останавливаются, и даже само солнце будто застывает в зените (сейчас разгар дня), чтобы понаблюдать за процессией. В самом деле, как могли бы они, не видя ни самих себя, ни друг друга со стороны, придать то или иное осмысленное выражение своему лицу и упорядочить свою походку? Отсюда и эти нелепые гримасы, эта завораживающая игра искаженных черт, эти резкие жесты, эти неверные шаги, это ощущение легкого безумия, особенно явственное оттого, что они собраны все вместе. Самая высокая из девушек держится левой рукой за плечо священника, который через нее сообща-

ет указания касательно маршрута и скорости, передаваемые дальше, из уст в уста, до самого конца цепочки – самой маленькой из них. Ни одна не отстает и не обгоняет других – все движутся вплотную друг к другу, действительно напоминая звенья цепи (вероятно, слух и осязание у них крайне обострены, как только и может быть посреди абсолютного мрака) – и, обернувшись издалека, я вижу эту длинную вереницу живых колец, движущуюся как одно существо – мифическая гидра или дракон.

*

Любовники из Порт-Майо.

Ему, скорее всего, от семидесяти пяти до восьмидесяти лет. Он красив, статен, чем-то напоминает Флобера. Густые усы не скрывают чувственной нижней губы, свисающей почти до подбородка. Из-за того, что ему трудно дышать, рот всегда слегка приоткрыт, что позволяет увидеть руины некогда великолепных зубов. Светлый костюм до того истончился, что, кажется, распадется от единственного слабого прикосновения. Белье настолько грязное, что запах чувствуется уже за полтора десятка шагов. Небрежно завязанный галстук когда-то был роскошным, но сейчас превратился в тряпку. Однако эта неряшливость и это убожество происходят не от нищеты – будучи гурманом, он тратит все деньги на еду. Он почти ослеп, обоняние его притупилось, на всё остальное ему наплевать. Доказательством служит то, что он выходит из дома только на рынок. Он медленно бредет по тротуарам рю Перголез или по

бульвару Малакофф, неся на сгибе левой руки древний саквояж, потерявший застежку и одну ручку, отчего возможно мимоходом проинспектировать содержимое: это всегда съестные припасы, всегда отменного качества. Но он недолго остается один – к нему вскоре присоединяется спутница, на вид почти его ровесница, увядшая рубенсовская матрона, одетая в светлые тона, как и он, и такая же неухоженная. Однако она сохранила пышные волосы и нечто величественное в осанке, пусть даже это исключительно плотское величие. Их дряблые губы чуть соприкасаются, затем она опирается на его локоть свободной руки, и они вместе движутся дальше. Поскольку у обоих слабое зрение, они не особенно различают лиц друг друга, отчего у них нет необходимости подолгу друг на друга смотреть; и вот они шагают рядом, рука об руку, глядя перед собой и блаженно улыбаясь. Должно быть, эти улыбки отвечают их тайным грезам: они видят себя такими, как были много лет назад, какими любили друг друга и запечатлелись друг у друга в памяти навсегда. Что значат их гнилые зубы, гноящиеся глаза, сальные волосы? Ничто не может развеять воспоминания, которые они сохранили друг о друге, и неизбывную обоюдную нежность, некогда соединившую их на вечные времена. Их счастливая слепота хранит их от вида их общего убожества, очевидного для всех остальных.

У обоих есть супруги: у него – немощная жена, у нее – бессильный муж; но оба живут лишь ради того, что еще сохранилось от их былой любви и что заставляет их каждое утро выходить вместе на прогулку – от одного тротуара к другому, из одного магазина в другой. Весь квартал их знает: и

продавцы, к которым они заходят, и покупатели, которые встречаются с ними в магазинах, и консьержки, которые вот уже четверть века изо дня в день наблюдают за их прогулкой, всё более и более медленной, по мере того как тяжелеют их шаги и близится урочный час. Сами они не узнают и не замечают никого – только друг друга.

Самое трогательное – это их расставания. Он стоит на углу рю Перголез, словно Тристан на берегу, глядя вслед уплывающей Изольде; она поминутно оборачивается и посылает ему воздушный поцелуй. Он машет ей вслед еще долго после того, как она исчезает, отчего случайные прохожие из других кварталов пугаются, сочтя его безумным.

*

Студентка, которую ее сокурсники считают умалишенной, сходна с настоящими безумцами лишь в одном: для нее не существует ничего, кроме ее собственных идей и ее профессора. Зачастую и профессор отходит на второй план, оставляя только идеи.

Вот она идет, словно окруженная своей персональной атмосферой – растрепанная, в драном платье и стертых до дыр башмаках. Но что ей за дело? У нее нет зеркала, и она не хочет никому понравиться.

Когда она опаздывает на лекцию, что случается редко, профессор торжественно провозглашает: «О, вот и она!» – желая позабавить аудиторию за счет этой бедняжки. Однажды ей не нашлось места, и она вынуждена была сесть на ступеньку амфитеатра, откуда почти ничего не было слышно.

Поэтому в следующий раз она решила принести из дома табурет. Впервые увидев ее, возвышавшуюся в первом ряду на этом табурете, словно на троне, профессор спросил: «А почему не кровать?» – чем вызвал общий смех, но, судя по всему, преданная ученица ничуть не была задета – напротив, она придвинулась еще ближе к нему, словно желая сесть у его ног, и согласно кивала в такт всему, что бы он ни говорил.

Сегодня, когда все студенты с профессором во главе принялись поздравлять и чествовать ее, вначале это казалось очередной шуткой. Но нет – как выяснилось, она написала и передала ему (о чем он объявил во всеуслышание) целое научное исследование, посвященное одному из самых спорных и малоизученных исторических событий, – самое блестящее и самое убедительное из всего, что он когда-либо читал на эту тему. Героиня дня была такой же, как всегда – растрепанной, одетой и обутой кое-как; глядя на нее, можно было подумать, что она никогда не спит и знает абсолютно всё.

*

Недалеко от моего дома рабочие приводят в порядок железнодорожные пути. Их задача заключается в том, чтобы выдирать проросшую вдоль рельсов траву, и, очевидно, сочтя такую работу унизительной для себя, они нанимают девицу с мускулатурой грузчика. Наверняка им не нравится, что у меня достаточно свободного времени, чтобы наблюдать за всеми их перипетиями из окна в свое удовольствие.

*

Из окна автобуса мать показывает своему маленькому сыну все магазины автомобилей вдоль авеню Гранд-Арме и Елисейских полей, а также выставки бытовой техники в Большом и Малом дворцах. К счастью, ребенок ее не слушает и почти ни на что не смотрит.

Она не показывает ему ни Шатле, ни Нотр-Дам – он сам спрашивает, что это такое.

*

В табачной лавке на авеню Малакофф посетительница долго возится, доставая из сумки неловкими, негнущимися от ревматизма пальцами пять пустых спичечных коробков и меняя их на один полный. Со спины она похожа на верблюда – у нее горб, поверх которого наброшено потертое норковое манто, – но это сходство становится абсолютным, когда она поворачивается и я вижу ее длинное лицо, покрытое легким пушком, и огромные, выкаченные, почти невидящие глаза.

В этот момент появляется юная девушка, небрежно бросает на прилавок целое состояние и забирает дюжину пачек самых дорогих сигарет. Уже направляясь к выходу (что-то выдает в ней горничную из хорошего дома), она узнает в верблюдице, удаляющейся медленными неуклюжими шагами, подругу своей хозяйки и на ходу бросает ей:

– А я думала, что вы уехали, княгиня. Мадам

будет удивлена, узнав, что вы еще в Париже.

Девушке явно не хватает стиля – она не понимает, как горничной следует разговаривать с титулованной особой.

Однако она невольно заставляет меня вспомнить о Паскале и вместе с ним поразмышлять о том, как держатся сильные мира сего, когда предоставлены самим себе – я хочу сказать, когда окружающие не знают, кто они.

*

Толстая блондинка в декольтированном розовом платье отправляется на рынок в Нейи, словно на бал. Рядом с ней семенит неприметная Золушка с плетеной сеткой в руке.

Я гадаю, кто они друг другу. Скорее всего, две сестры, одной из которых, более красивой, повезло стать любовницей какого-нибудь отставного капитана, а младшей пришлось стать ее служанкой, которую в течение десяти лет кормят впроголодь и унижают вдоволь.

*

На парапете кольцевой линии метро за моим домом я иногда по утрам вижу карманника, вернувшегося с ночной охоты и изучающего свою добычу, поднося к глазам мелкие предметы один за другим. Есть нечто трогательное в этом обычно невыразительном лице, когда его озаряет отблеск очередного трофея – настолько искренними, почти детскими, выглядят его удивление или разоча-

рование. Каждый его жест читается как авантюрный роман.

*

Вчера наши гости ушли от нас около полуночи. Пока Элиза провожала их через сад, я, оставшись один, запирал ставни окон на первом этаже, выходящих в тупик Малакофф, – и вдруг, выступив из темноты, передо мной внезапно предстал человек, черный с головы до пят. Поначалу испугавшись, я резко захлопнул окно, однако его печальный, даже больше того – полностью отчаявшийся вид меня немного успокоил, и я решил выслушать его, чего бы мне это ни стоило.

Сначала он спросил меня, совершенно наивным тоном, повергшим меня в изумление, не найду ли я для него уголок у себя в доме до завтра, чтобы он смог поспать. Затем рассказал, что совсем недавно его избила жена – и вот, чтобы не убить ее и детей, он сбежал из дома в чем был, полуголый, без верхней одежды и без денег. «Видите, я весь черный, – добавил он, – это потому, что у меня не было времени даже вымыться и привести себя в порядок, когда всё это началось. По профессии я угольщик». Что было делать? Я одолжил ему немного денег, позволяющих снять комнату в ближайшем отеле, и напоследок протянул ему руку, которую он пылко прижал к сердцу, а в следующий миг резко повернулся и сразу же исчез, как человек, который ищет укромное место, чтобы выплакаться.

Я больше никогда его не видел.

*

Сегодня во второй половине дня, когда я шел через сквер Альбони, направляясь вести урок, я внезапно услышал душераздирающий крик, раздавшийся словно между небом и землей, – и тут же со всех сторон эхом отозвалось множество ответных криков. Я поднял глаза: вдоль стены семиэтажного дома, закрытой лесами (там ремонтировали крышу), где-то на уровне четвертого этажа обрушилось вниз облако пыли и мелкого щебня, в котором мне не сразу удалось различить человеческую фигуру. Не успел я опомниться, как человек рухнул на тротуар, всего в нескольких шагах от меня. Когда я приблизился, его уже со всех сторон окружили другие прохожие. Мы попытались его поднять, но это оказалось совершенно невозможно: у него не осталось ни одной целой кости, позвоночник был сломан в нескольких местах. Перед нами было уже не человеческое тело, и даже не труп, не останки – какое-то бесформенное месиво, растекавшееся под одеждой, как желе или вязкий клей. Только глаза открывались, закрывались и открывались снова, как будто только они и продолжали жить, преодолевая отвращение от вида всего остального, и губы судорожно подергивались, что-то бормоча – но вместо звуков наружу выходили сгустки крови.

Затем к нам присоединился начальник стройки и рассказал, что этот человек – рабочий, жил

недалеко отсюда, в квартале Гренель, в доме напротив. Дощатая платформа строительных лесов, плохо закрепленная, опрокинулась под его ногой и рухнула, увлекая вниз его и женщину, с которой они незадолго до того вместе обедали и которая в тот момент прибирала остатки трапезы – последней для них в этом мире.

*

Вчера утром один человек, чей силуэт я уже давно время от времени замечал в окрестностях нашего дома, расположился почти под самыми нашими окнами, с другой стороны от путей метро. Вид у него был сосредоточенный, словно ему предстояло решить серьезную проблему. Кажется, речь шла о том, чтобы разобрать и облегчить свой багаж, с которым он, судя по всему, недавно вернулся из дальнего путешествия. С его левого плеча свисал холщовый мешок, в правой руке был чемодан. И вот он начал доставать оттуда один предмет за другим, явно собираясь как следует их изучить и определить их ценность. Издалека я почти ничего не мог разглядеть, но дело было даже не в этом: я вряд ли смог бы опознать эти вещи даже с близкого расстояния. Единственным, что мне удалось различить, был красный шарф и пара обуви. Рассортировав свое имущество, он убрал мешок в чемодан, собираясь уходить. Однако то, что он оставил лежать на земле, очевидно, тоже представляло для него немалую ценность: он поминутно оборачивался, словно не решаясь с этим расстаться. Наконец он удалился в сторону пустыря, где, усевшись в железное садовое кресло, занялся своим туалетом. Открытый «несессер» лежал рядом с ним на земле, и с помощью его со-

держимого человек совершал все необходимые процедуры – тщательно, как заправская модница. Волосы и бороду он привел в порядок с помощью вилки, зубной щеткой смахнул пыль со шляпы и с воротника пальто. Потом вынул из кармана флакон и небольшую тряпицу, чтобы почистить жилет. Затем пришла очередь ногтей – он подстриг их портновскими ножницами размером с добрых полметра.

Разумеется, стоило ему подняться и уйти, как я, охваченный поистине кошачьим любопытством, добрался до железнодорожной насыпи, где он оставил часть вещей, и обнаружил там – на миг у меня даже перехватило дыхание – останки сломанной куклы: ее шевелюру, стеклянные глаза и розовые фарфоровые ручки.

*

Всякий раз, когда я иду навестить Веронику, я рад сделать остановку на рю Вьей-дю-Тампль, недалеко от того места, где убили Людовика Орлеанского, чтобы погладить кота, подопечного монахинь из приюта Сен-Венсан-де-Поль, – большого, пушистого и лоснящегося благодаря заботе ветеринара. Вид у него отрешенный, он полностью сосредоточен на себе – но когда я приближаюсь, надо видеть, как он поворачивает голову, чтобы продемонстрировать мне свое полное равнодушие и одновременно досаду из-за чужого докучливого внимания. Я почти слышу, как он бормочет себе в усы: «Опять им неймется!..» И почти сразу же закрывает глаза от прикосновения моей ладони, словно говоря: «Так и быть, я не стану тебе

препятствовать, но я не собираюсь смотреть, что ты там делаешь. Ты трудишься на мое благо».

Однако моя рука столь искусна, поглаживания столь приятны, что мало-помалу удовольствие берет свое, и он, больше не в силах сдерживаться, открыто поворачивается ко мне своей белой мордочкой, озаренной подобием улыбки, а его глаза, которые он время от времени чуть приоткрывает, наполненные истомой и негой, говорят столь красноречиво, как если бы он сказал мне это вслух на человеческом языке:

– Продолжай, ты мне небезразличен.

*

Мы собирались провести выходные в гостях у четы *А.* В шесть вечера они заехали за нами на своей машине. По дороге они сделали остановку на бульваре Бомарше, чтобы зайти в магазин. Мы остались в закрытой машине вдвоем – Элиза и я.

Едва они скрылись из вида, как в нескольких шагах от нас, на тротуаре, двое мужчин затеяли драку, причем непонятно было, в шутку или всерьез. В выражении их лиц время от времени проскальзывало что-то похожее на страх, но он не казался естественным, непроизвольным; наблюдатель более искушенный и более хладнокровный, чем мы, счел бы его фальшивым – в нем было что-то механическое, как в гримасах балаганных кукол. Самым странным в этой и без того не совсем обычной потасовке, разыгравшейся на тротуаре, словно на сцене, было то, что прохожие не обращали на нее никакого внимания. Они шли своей дорогой, как ни в чем не бывало – как будто де-

рущихся не видел никто, кроме нас. Постепенно обоюдная злость противников достигла наивысшей точки. Теперь они наносили друг другу удары с откровенной жестокостью. Неужели никто так и не вмешается, пусть даже они поубивают друг друга? Вот уже второй раз подряд более молодой на вид одерживал верх – поставив ногу на грудь противника, он безжалостно выкручивал ему руки, и в мучениях несчастного, корчащегося от боли, было нечто столь ранящее душу, столь невыносимое, что мы оба непроизвольно закричали, хотя эти крики были совершенно бесполезны – их слышали только мы сами, сидящие в машине взаперти. Двое полицейских, стоявших в нескольких метрах от нас, с нарочитым вниманием смотрели в другую сторону, а равнодушные прохожие, идущие по своим делам, если и видели наше смятение, скорее всего не понимали, что на нас нашло.

И вот наконец на сцене появился некий двойник Пьеро – бледный и тощий низкорослый человечек, который наряду с нами заметил происходящее. Больше того – он первым осмелился, отложив в сторону хлеб, который нес с собой, склониться над двумя одержимыми. Дорого же ему это обошлось. Едва лишь он коснулся живого клубка рук и ног, сплетенных как змеи, – и тут же оба врага, примирившись словно по волшебству, мгновенно вскочили и, объединив свои силы, набросились на него и отшвырнули к ближайшему углу дома, о который он со всего размаха ударился головой. Из проломленного черепа хлынула кровь, вперемешку с ней начал просачиваться мозг. Никто из окружающих опять же не отреагировал – прохожие с озабоченным видом спешили вдоль тротуара, безразличные ко всему, что их не касалось. Только

парикмахер, который вышел подышать воздухом у порога своего заведения, увидел все то же самое, что и мы. Его лицо стало белее обмотанной вокруг шеи салфетки, и он даже не подумал преследовать нападавших (печальный урок предшественника был мгновенно усвоен). Он ограничился тем, чтобы оказать помощь жертве, которую перенес, с помощью маленькой продавщицы каштанов, к ближайшей аптеке.

По-прежнему оставаясь на своих местах, мы не могли не отдавать себе отчет в том, что на наших глазах совершилось преступление и, пусть даже мы стали его свидетелями вопреки своей воле, но ничего не предприняли, чтобы ему помешать. Вспоминая эти события позже, мы точно так же не могли объяснить собственного оцепенения, как слепоты всех остальных и невероятного стечения обстоятельств, напоминавших какой-то вселенский заговор, которые роковым образом привели к совершенно бесполезному самопожертвованию несчастного Пьеро.

Но вот вернулись *А.*, и мы снова тронулись а путь. Из-за многочисленных заторов на улицах мы ехали медленно, и через каких-то пятьсот метров я вдруг заметил знакомую парочку, которая переходила через дорогу, направляясь прямиком в ближайший бар. Физиономии у обоих были мутные, словно у пьяных – они и впрямь казались опьяненными безнаказанностью, после того как явно не в первый раз поиздевались над трусостью окружающих. Сейчас они держали друг друга под руку, словно, обменявшись фальшивыми ударами, теперь оказывали друг другу фальшивые любезности – в то время как ни в чем не повинный, всего лишь в недобрый час вышедший купить хле-

ба к ужину бедняга, которого они столь незаслуженно покалечили, единственный, кто принял их стычку всерьез и набрался смелости остановить ее, вмешавшись в дела совершенно незнакомых ему людей, серьезно рисковал никогда больше не вернуться домой.

526 *

Только что напротив нас уселся пожилой господин, судя по виду, генерал в отставке или профессор академии: львиная голова, белые гетры, монокль, визитка, и всё в таком роде. (В автобусах еще сохранился первый класс, в который мы садимся, только если нет мест во втором.) Каким же нелегким достижением, должно быть, является доброта для людей, экипированных подобным образом и столь одержимых собственной важностью! Всё мировое пространство существует лишь для того, чтобы они разместили там свои руки, свои ноги, свои вещи. Если бы я или мой коллега, отец Мишель, с которым мы возвращались после уроков, случайно наступили ему на ногу, не сомневаюсь, что он бы использовал всю свою власть, чтобы потребовать для нас самого сурового наказания.

*

На классических французских утренних спектаклях забавно наблюдать за буржуа с густыми усами, их женами и детьми: очень скоро вы заме-

чаете, как они горды самим фактом, что присутствуют здесь – им, в сущности, не нужно ни смотреть, ни слушать, – и с какой бесцеремонностью они захватывают оба подлокотника кресел, едва убедившись, что вы, их сосед, – не из «высших».

527

*

Вчера, в отсутствие Элизы, я обедал дома со своим другом. Настоящий праздник!

Как только он ушел, появился голодный бедняк.

Я отдал ему остатки нашего обеда и вдобавок пачку сигарет и немного денег. «Я этого никогда не забуду!» – произнес он, уходя.

Четверть часа спустя он появился снова и, увидев струйку дыма, тянущуюся от моей трубки в полуоткрытое окно, нерешительно спросил:

– Месье, не оставил ли я у вас свой вещмешок?

Я спустился. Вдвоем мы обыскали всё, но тщетно; он совсем смутился и, очевидно, боясь показаться подозрительным, ушел, явно расстроенный.

На следующий день Элиза, копавшая грядки в саду, обнаружила вещмешок, висящий на ветке ели.

Что было делать?

Бедняга ушел насытившимся, но лишенным даже тех немногих вещей, которые составляли все его имущество.

Как же этот мешок меня тяготит!..

*

В метро я наблюдаю за странной парочкой. Девице самое большое семнадцать, она едва достает до плеча своего спутника. Видно, что они едва знакомы, но направляются куда-то именно для того, чтобы познакомиться ближе – и она столь же мало этим смущена, сколь он этим горд. Она следует к своей участи бездумно и безмятежно, словно овечка в стойло или кухарка в кухню. Он, здоровый полнокровный малый, на вид – ученик мясника в отпуске, взволнован куда больше нее. Можно подумать, что намеченная им жертва, несмотря на свою готовность отдаться без всякого сопротивления, внушает ему жалость или страх. Его губы и руки дрожат. Он явно избегает на нее смотреть – и тем настойчивее она пытается перехватить его взгляд своими беспечными, доверчивыми глазами.

*

Торговец коврами, выходец с Ближнего Востока, расхвалив мне свой товар, добавил:

– Я никогда не вру.

– Это очень разумно, – ответил я, – так вам будут верить на слово.

– Дело в том, месье, – сказал он, – что правда – это самая большая ложь, какая только может быть.

*

Вчера на площади Пигаль я видел человека, унаследовавшего от своих азиатских предков лишь черты лица и раскосые глаза – кожа его была белой. Это был водитель одной из двух недавно столкнувшихся машин, очевидно, менее пострадавший, который выслушивал своего взволнованного собрата по несчастью – тот перечислял ему все последствия столкновения, жертвами которого стали члены его семьи: «У моей жены сломаны два ребра, у старшего травма головы, у Люсьенн выбит глаз! Что до Жаклин, ей, возможно, придется ампутировать ногу!» И чем ужаснее звучали эти сведения, тем отчетливее проявлялось удовлетворение на лице азиата. Под конец он чуть ли не возликовал.

Впрочем, кто знает – возможно, он радовался, что те, о ком шла речь, всё же остались живы, хотя смерть прошла совсем близко от них, или поражался невероятному везению собеседника, который в отчаянии выкрикивал: «А у меня – ни царапины! Я вышел из этой мясорубки живым и здоровым, хотя сам же ее и устроил!» При этих словах азиат, уже не сдерживаясь, расхохотался воистину садистическим смехом во все горло, так, что на глазах даже выступили слезы, которые он принялся утирать рукавом.

*

Во время оккупации я однажды услышал разговор двух женщин на улице Виктора Гюго. Одна говорила другой: «Сегодня он эльзасец, завтра немец, послезавтра француз, а потом еврей. Когда

имеешь с ним дело, хорошо бы знать, кто из четырех сейчас перед тобой».

*

Соседская консьержка недавно снова вышла замуж. Второй муж оказался настолько похож на первого, что я некоторое время полагал их одним и тем же человеком. Когда я простодушно рассказал доброй женщине о своей ошибке, она ответила:

– О, месье, вот если бы вы, как я, спали с обоими, вы бы нипочем их не спутали! Манера обхождения у них совсем разная.

Это было сказано без тени иронии.

Позже она еще высказалась на ту же тему:

– Два человека не могут быть похожими, как две капли воды. Говорят: ну, он почти как тот. Тот, да не тот. Ни у кого нету второго себя. Один – это один, другой – это другой.

*

Сегодня вечером один покупатель в винной лавке жаловался владельцу, что его желудок не принимает аспирин, который, однако, необходим ему для лечения ревматизма.

– О, месье, так почему бы вам не поступить, как я? – отвечал виноторговец. – У меня тоже ревматизм, и я принимаю аспирин – но, так сказать, задом наперед. Поэтому мой желудок, который тоже не переносит его, не страдает. Сходите к мадемуазель Флипо, на авеню де Нейи, и скажите,

что вы от меня. Она выдаст вам сколько угодно свечей – по желанию.

– Что значит «по желанию»?!

– О, извините, месье, я не хотел вас обидеть! Я имел в виду – по предписанию.

*

Два месяца назад Альбертина вышла замуж в Двенадцатом округе – и с тех пор каждое утро, когда она выходила из автобуса на площади Виктуар, ее поджидала женщина, которая шла за ней и осыпала ее бранью всю дорогу до магазина, где та работала.

Однажды Альбертина пожаловалась на это своей матери, оставшись с ней наедине, без мужа, – в надежде, что мать, обладавшая луженой глоткой, согласится проводить ее и в перебранке одержит победу над злоязычницей. Но мать, не ставившая под сомнение порядочность дочери, рассказала обо всем зятю за ужином и добавила, что именно ему, Жозефу, а не ей, надлежит позаботиться о том, чтобы его жену уважали.

На следующее утро, несмотря на протесты Альбертины и собственное нежелание – но как было ослушаться тещи? – Жозеф сел вместе с женой в автобус и доехал до ее остановки. Обличительница была на том же месте, что и всегда, и сразу завела свою привычную шарманку. Жозеф приблизился к ней, чтобы заставить замолчать, как вдруг она огорошила его, заявив:

– Вам, молодой человек, может и наплевать на

свои рога, а мне нет! За неделю до вашей свадьбы я застукала вашу жену с моим мужем у нас в гараже. Они там хорошо проводили время, будьте уверены! Я решила, что ей это даром не пройдет, и отомстила, как могла.

У бедного Жозефа разом опустились руки. Вернувшись домой, он сказал теще:

– Я всегда знал, что счастье не для меня. Теперь моя жизнь погублена окончательно.

Несколько дней назад мы встретили его во время воскресной прогулки в Порт-Майо. Он шел между Альбертиной и тещей.

– Это что-то фатальное, – сказала Элиза. – Стоило мне взглянуть на него, я сразу подумала, что у него лицо мученика.

– Вот и я тоже.

*

Недалеко от Марсова Поля одна женщина заперлась в своем доме и около получаса выдерживала осаду полицейских, прибывших ее арестовать.

Наконец она появилась на пороге – высокая, костлявая, полностью одетая в черное. «Теперь я вас поведу!» – заявила она и двинулась вперед, словно императрица во главе своей свиты.

Комиссариат располагался не очень близко, и всю дорогу арестантка то и дело меняла походку и всю манеру поведения: она то семенила мелкими шажками, то устремлялась вперед почти бегом, и точно так же переходила от оскорблений – «Тупицы, грубияны, идиоты!» – к извинениям: «Не обращайте внимания на то, что я говорю, главное – что

я думаю. А думаю я, что вас мне сам бог послал – за такими, как я, должны присматривать ангелы….» – и тут же, прерывая сама себя: «Ангелы? Черти вы, а не ангелы!» Затем снова: «О, прошу прощения!» – и «Мне просить у вас прощения?! С чего? За что?»

Когда ее наконец доставили в полицейский участок, она двинулась по коридору, низко опустив голову, и, не видя ничего перед собой, с такой силой ударилась головой о стену, что упала на пол почти без сознания.

В тот же вечер я предпринял небольшое частное расследование – отправился к ее дому, чтобы расспросить соседей. «Ах, месье, – поведала мне консьержка, – это всё из-за кошек. Это из-за них ей кто-то отомстил». – «Каких кошек? За что отомстил?» – «Соседских кошек, каких же еще? Мою она похитила самой первой – подманила чем-то, и с тех пор я ее больше никогда не видела, бедняжку. Вот уже два года эта сумасшедшая воюет с ними, по всей округе… Может быть, она продает их шкурки, а мясо съедает? Ума не приложу, что еще, ради всего святого, можно с ними делать? С кошками-то?.. Но что я могу сказать наверняка – из-за нее они перевелись по всей округе, не только в нашем квартале. Для чего-то они ей нужны, и уж точно для чего-то нехорошего. Если хотите знать, что я думаю, месье, – никак не могу отделаться от этой мысли, – она наверняка ведьма!»

*

Проходя по улице Берлиоза, я часто замечаю в одном и том же окне прелестное женское лицо.

Передо мной будто оживает один из портретов Латура, выполненный в пастельных тонах: белокурые волосы с голубоватым отливом, длинные ресницы, прекрасные глаза, светлая шаль, повязанная крест-накрест на пышной груди, – и, словно для того, чтобы еще усилить это сказочное очарование, по обе стороны от нее возвышаются две статуэтки драконов из китайского фарфора.

К несчастью, однажды утром, по пути на рынок, я повстречал ее на улице – это оказалась карлица, с трудом ковыляющая на кривых коротких ножках.

*

«Шнурок» – так называли его во всем квартале, потому что к своему первому причастию этот разбитной малый явился, повесив поверх парадного костюма роскошные золотые часы на обычном шнурке и ничуть не смущаясь тем, как нелепо это выглядело. Часы были подарком крестной, который она передала ему утром, а вечером собиралась добавить к ним золотую цепочку. Так она и сделала – но прозвище уже прилипло к нему.

Повзрослев, он стал очень хорош собой и занялся частным извозом. В него без памяти влюбилась одна уродливая и богатая старая дева, которая, не найдя другого способа с ним сблизиться, стала его самой выгодной, а потом и единственной клиенткой.

Она нанимала его вместе с его лошадью и коляской на целый день и, сказав лишь: «В путь!» – все остальное время довольствовалась тем, что сидела рядом с ним, не говоря ни слова. Он тоже молчал всю дорогу, до самого возвращения.

В конце концов ему это наскучило, и он сказал

своей жене: «Давай уж и ты покатайся!» И вот они стали ездить все втроем, одними и теми же привычными маршрутами: от Марэ до площади Этуаль, от площади Этуаль до Порт-д'Итали.

Эти совместные поездки продолжались довольно долго и закончились лишь после того, как у мадемуазель Милу (такую фамилию носила старая дева) не осталось больше денег.

Тогда Шнурок и его жена позвали ее жить к себе домой, где очень скоро низвели до положения служанки. Кажется, именно по этой причине прозвище «Шнурок» приобрело новый смысл – среди жителей квартала оно стало использоваться для обозначения бессовестного обманщика и прощелыги. Бывает же так, что вполне обычное слово становится прозвищем, а потом превращается в метафору, и всё вместе напоминает сундук с двойным дном – забавно, не правда ли, Жан?

*

Странная манера знатной дамы: не менее трех-четырех раз в час маркиза де *Т.* подносит кончики пальцев левой руки ко рту, чтобы увлажнить их слюной, а затем проводит ими по бровям и гладко причесанным на прямой пробор волосам, умащивая их столь необычным бальзамом.

Эти непринужденные, грациозные движения, которые она совершает, не прерывая разговора с вами и ничуть вас не стесняясь, не лишены даже некоторого шарма, но есть в них и нечто омерзительное, отталкивающее. С другой стороны, когда имеешь дело с женщиной столь выдающегося ума, благородного происхождения и воспитания, не-

вольно думаешь, нет ли здесь чего-то нарочитого, умышленного – возможно, сознательной имитации чьей-то мании, о которой она узнала из книг по истории Великого Века, ее любимой эпохи[10], – мании, присущей какой-то известной титулованной красавице, княжеского или даже королевского рода.

*

Казалось, он сделал ее несчастной – но вот, стоило ему умереть, оставив ее богатой вдовой, она воздвигла на его могиле красивую часовенку из черного мрамора – не столько для того, чтобы там молиться, сколько для того, чтобы сидеть рядом в уютном кресле, прямо напротив огромного свадебного портрета ее и месье Живерно, с чтением или вязанием. Она приходила туда каждый день после полудня и оставалась почти до вечера. Чтобы не нужно было далеко ходить, она сначала приобрела домик неподалеку от кладбища Пантен, а потом, когда ноги совсем отказали, – лошадь и карету с двумя фонарями по бокам, затянутыми траурным крепом. И продолжала каждый день, к двум часам, приезжать на то же место.

– Судя по тому, во сколько всё это обошлось, – заметил я, – месье Живерно был по меньшей мере министром!

– О, ну что вы, вовсе нет! – отвечали мне. – Он всего лишь кредитовал с полсотни мясных лавок во всем Париже.

---

10 Имеется в виду период правления трех первых королей из династии Бурбонов – Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV, длившийся с 1589 по 1715 г.

*

На авеню Малакофф бабушка говорит внучке:

– Опять ты сидишь на самом копчике. Задница-то у тебя на что?

*

Месье и мадам *X.*, наши соседи, весьма богатые, живут затворниками. Он целыми днями ходит вдоль веранды первого этажа, повторяя без остановки: «Какая тоска, какая тоска!» – и наконец его недовольная жена появляется на веранде второго этажа и тоже начинает ходить туда-сюда, но, словно наперекор ему, всегда в противоположном направлении, бормоча: «Это всё ты, это ты на меня тоску нагоняешь!» Эта своеобразная гармония длится до тех пор, пока мадам не спускается на пять ступенек вниз, а месье не поднимается на пять ступенек вверх. Сойдясь на середине лестницы, они смотрят друг на друга с таким видом, словно готовы плюнуть друг другу в лицо, после чего каждый удаляется к себе в спальню.

*

Один из моих соседей рассказал мне, что у его знакомого, профессора ботаники, который живет

на последнем этаже дома на Елисейских Полях, любимое развлечение состоит в том, чтобы каждый вечер, приведя в порядок все свои растения, подняться в маленький бельведер и там допоздна играть на барабане.

*

538 Почти одновременно из-за угла авеню де Буа появляется грузный вальяжный господин с двумя великолепными немецкими овчарками, а из-за угла рю Перголез – приземистая пожилая дама в сопровождении двух бульдогов, таких же старых, жирных и с трудом ковыляющих, как и она сама, словно ей доставляет удовольствие множить вокруг себя образы собственной старости, ожирения и немощи. Если на грузного господина стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы полюбоваться его свитой, то с другой стороны – одно сплошное уродство. Однако оба «коренных» в этих тройках приветствуют друг друга и, остановившись, завязывают беседу – точнее, говорит только она. Будучи массажисткой на пенсии, которой доводилось, как поговаривают, видеть обнаженными и растирать «всех этих дам» от площади Этуаль до Порт-Майо и от Порт-Майо до Дефанс, – и, без сомнения, выслушивать их откровения, отнюдь не способные послужить украшению чьей-либо репутации, – она постоянно злословит обо всех подряд. Однажды пожилой господин, набравшись храбрости, упрекнул ее в этом. «Я бы и рада сказать хоть о ком-нибудь доброе словцо, – отвечала она, – так ведь никто мне повода не дает, даже я сама!»

*

Проходя мимо церкви Сен-Рош, я всякий раз думаю о том, что взгляд королевы Марии-Антуанетты, когда ее везли на эшафот, должен был остановиться на этих старых камнях. Смотрела ли она на статую Клотильды или святых Амвросия и Августина, похожих на небесные отражения епископов из «Золотого века» Бунюэля?

*

Сегодня вечером на улице я услышал романс, звучащий из открытого окна. «О, месье, какая прекрасная музыка!» – воскликнул проходивший мимо почтальон. – «Вы сентиментальны?» – «Да, месье». – «Ну что ж, придется вам страдать». – «О, месье, всё уже свершилось! Я страдаю». – «Что же с вами случилось?» – «Я был женат на женщине, слишком красивой для меня, и она ушла от меня к другому, более красивому, чем я. Я по-прежнему люблю ее, у нас есть общий ребенок двадцати месяцев от роду, которого она забрала с собой». – «Она еще вернется к вам». – «Нет. Ах, если бы я знал!.. Я имел глупость позволить ей работать в «Туристе», на авеню Гранд-Арме. Это была роковая ошибка. Будете проходить мимо – зайдите. Она работает в баре. Красавица, сами увидите. Невозможно в нее не влюбиться!»

И он ушел своей дорогой.

На следующий день я повстречал его буквально в двадцати метрах от «Туриста». «Ага, попались! – воскликнул я. – Стало быть, вы бродите

здесь в надежде ее увидеть?» – «О, нет, месье, как раз наоборот – я брожу здесь, потому что сегодня у нее выходной, я точно знаю. Если бы она была на месте, я бы не пришел. Для меня невыносимо ее видеть, но я украдкой смотрю на барную стойку и говорю себе: вот здесь она была вчера, здесь она будет завтра». – «Может быть, не стоит так страдать?» – «Ах, месье, когда любишь так сильно, забываешь обо всем – даже о том, что страдаешь».

*

В три часа дня на площади Виктора Гюго ждет автобуса слепая старая дева в сопровождении тучной дамы. Обеим очень жарко – сейчас июль. Но слепая, несмотря на свою хрупкость, кажется, страдает от жары сильнее остальных – вероятно, потому, что не может отвлечься ни на какое зрелище. Больше того – поскольку она не видит, как все вокруг нее обливаются потом, она подозревает, что жарко ей одной. Внутри у нее копится подспудное раздражение, вспышку которого ее толстая спутница с мокрым от пота лицом тщетно пытается отсрочить.

Наконец прибывает автобус. Он набит битком, войти никто не может, поэтому водитель почти сразу же собирается захлопнуть двери. Но слепая ничего не хочет знать – одной рукой она вцепляется в дверь, другой размахивает проездным билетом. Разумеется, она не представляет, сколько внутри свободного пространства, и к тому же одержима идеей своих прав и чужих обязанностей. Услышав решительный отказ во-

дителя ее впустить, она топает ногами, впивается ногтями чуть ли не до крови в жировую складку на руке своей спутницы, скрежещет зубами и наконец душераздирающе кричит, подобно тому как безвинно осужденный на казнь в последний раз взывает о пощаде: «Я прошу вас всех!..» Но никто не выходит, чтобы уступить ей место, ступенька ускользает у нее из-под ноги, и она с удвоенной силой продолжает свои «я хочу» и «вы должны». Деспотическая, угрожающая, беспомощная, она с пеной на губах рассекает воздух своим зонтиком с такой силой, что рискует кого-нибудь покалечить. Ее искаженное лицо, чье природное выражение скрыто двойной преградой слепоты и гнева, сейчас выглядит настолько уродливым, что все невольно отворачиваются, лишь бы его не видеть, и первой – тучная дама, явно больше стесняющаяся соседства этой фурии, чем собственной толщины. А сколько людей, не будучи слепыми, выглядят такими же отталкивающими, когда столь очевидно заботятся лишь о себе.

*

Раздухарившись после военного парада на площади Насьон, какой-то солдатик вызывает на бой самого сильного из борцов, устроивших состязания прямо на улице. Вызов принимают трое, все – более или менее точные подобия Геркулеса, тогда как их противник – обычный пехотинец, довольно хлипкий на вид. Он выбирает себе соперника и – удивительное дело – выходит победителем! Собравшаяся вокруг толпа аплодирует. Монеты дождем сыплются на ковер: «Для бедного солдатика,

которому сегодня повезло!» – торжественно провозглашает побежденный, великодушно простив более удачливого борца.

Теперь наступает очередь какого-то гражданского, которому не терпится схватиться с негром, как по волшебству вынырнувшим из-за занавеса. Каждый ставит на кон двадцать франков. И вновь одерживает победу случайный прохожий – хотя на сей раз арбитр оспаривает законность нескольких его приемов. Завязывается спор – сначала между победителем и арбитром, потом – между арбитром и зрителями, которые тоже спешат высказать свое мнение. Даже оказавшийся в толпе морской офицер снисходит до дебатов, в финале которых выглядит так, будто его сейчас хватит удар, – что немудрено, когда споришь с людьми, которые объединились против тебя и насмехаются над тобой столь дружно и изощренно, что все окружающие начинают хохотать, и в конце концов ты присоединяешься к ним; в сущности, все довольны. Однако вскоре выясняется, что всё это – сплошное надувательство, и даже фальшивый морской офицер был в сговоре с остальными. Это оказалось последней каплей – толпа разъярилась настолько, что едва не линчевала его, как будто у мошенничества есть какие-то правила или, по крайней мере, границы, которые на сей раз были нарушены.

*

После одиннадцатичасовой мессы из церкви Сен-Фердинан рука об руку выходят мать и дочь. Мать убеждена в том, что создала настоящее произведение искусства из дочери, на чье образова-

ние и роскошные туалеты ушли все ее средства, – а та ее презирает.

*

Сидящая на тротуаре девочка баюкает куклу без рук и без ног, время от времени с неподдельным пылом целуя ее в лоб. Разумеется, этот жалкий обрубок представляется ей совсем не тем, что вижу я со стороны.

*

В соборе Нотр-Дам я с восьми утра – дело происходит в Страстную Субботу – с интересом наблюдаю за весьма примечательной семейной четой, расположившейся неподалеку от ризницы и ни на минуту не отвлекающейся от нескончаемой службы. Обоим под восемьдесят. Он, огромный и грузный, сжимает в одной руке (и какой руке!) маленькую книжицу, в другой – тоненькую свечку, которая, судя по всему, не очень помогает разбирать мелкие буквы невооруженным глазом. Но даже в ее слабом свете я могу различить его одутловатое лицо сатира, если не Мефистофеля, отмеченное всеми пороками, напрочь лишенное даже тени утонченности или хотя бы иронии.

Поскольку парижские каноники при чтении псалмов побивают все рекорды быстроты, наш благочестивый мирянин едва за ними успевает – сбиваясь, задыхаясь, он сначала поет, потом читает вслух и наконец просто шевелит губами, проглатывая отдельные слоги и целые слова божественных откровений; часть слов ускользает

от него, и он словно бежит за ними, пытаясь догнать, но, не выдержав, останавливается и лишь провожает их глазами; его губы рассыпают крошки слов, подхваченных на лету.

Мадам сидит неподалеку от него, в складном кресле, – с которым, похоже, не расстается никогда, – как на пляже, заняв впридачу два ближайших стула: на одном разложены ее безделушки, другой служит ей пюпитром, на котором лежит раскрытый массивный бревиарий *in quarto*, возле него горит свеча в подсвечнике из тех, что в наши дни можно увидеть только на деревенских кухнях или в самых убогих отелях в Оранском тупике. Кроме пары очков, на носу у нее лорнет, но очевидно, что ее зрение уже почти угасло – даже этого оказывается недостаточно, чтобы прочесть огромные буквы, каждая из которых сама размером с книгу, – и она водит по строчкам огромной квадратной лупой, похожей на слуховое окно. Несмотря на всю сложность обращения с этой громоздкой механикой, наша Ева, как это часто бывает, справляется с делом гораздо лучше Адама и успевает следить за чтением. С какой быстротой она вновь находит нужное место, стоит ей ненадолго отвлечься либо на собственную живописную тень у своих ног, либо на окружающих – она косится на них с легким презрением, словно и впрямь сидит на пляже, а они неумело барахтаются в воде, вцепившись в свои молитвенники, как в спасательные круги, – и продолжает чтение, не сбиваясь ни на миг!

Я продолжал наблюдать за обоими, как вдруг молодая девушка, выйдя из исповедальни, приблизилась к старухе и заботливо поправила сначала поля ее темно-синей шляпы с вуалью, а потом сбившуюся набок шаль с бахромой. Я услышал,

как она почтительно произнесла: «Ваше высочество».

Но кто же они такие, гадал я, эти Престолы, Силы, Власти и Господства?..

Когда священник встает во главе крестного хода, княжеская чета, хотя и обремененная своим скарбом, быстро пристраивается позади него и следует за ним почти по пятам, ни на миг не теряя нить богослужения, вплоть до самого последнего *Amen*.

*

Каких только обличий не принимает религиозность в Париже!

Один из моих друзей однажды попросил меня сопроводить его в ближайшее воскресенье утром, не уточнив, куда и зачем, сообщив только, что хочет сделать мне сюрприз.

Мы проехали Елисейские Поля, улицу Риволи, предместье Сен-Антуан, и наконец в каком-то бедном квартале наш автомобиль остановился возле самого убогого дома. Поднявшись на пятый этаж, мы оказались в неком подобии мансарды, где нас встретили десятка два молодых людей обоего пола. Юношей было больше, чем девушек; выглядели все как студенты или служащие.

Сразу же после нашего появления присутствовавший на этом собрании аббат заговорил о недавно изданном теологическом труде под названием «Душа места». Я скромно признался, что не читал этой книги, в ответ на что раздалось сначала несколько приглушенных смешков, а затем надо мной принялись насмехаться в открытую:

подобное невежество с их точки зрения было явным признаком недалекого ума. Возможно ли, чтобы кто-то, полагающий себя христианином, да хотя бы и просто мыслящим человеком, имел какие-то другие духовные ориентиры, кроме этой «Суммы», каждая строчка которой являла собой компендиум всех наук, а полное содержание вызвало бы восторженные похвалы у работников последнего часа?[11] Мое смирение не послужило мне ни малейшим оправданием в глазах этих пылких неофитов, которые – я это чувствовал – раз и навсегда отлучили меня от своей общины, лишили своей благодати.

Далее разговор зашел о церковных обрядах, которые, по общему мнению собравшихся, произросли из магических. Несколько смущенный моим видом, аббат поспешил отвлечь мое внимание от этих рискованных утверждений, признав, впрочем, что некоторая доля истины в них есть, поскольку в Евангелии от Иоанна, пусть даже оно последнее из четырех и стоит как бы особняком, сказано: «В начале было Слово», и эту фразу всегда приводят в доказательство действенной силы экзорцизма.

Затем перешли от разговоров к действиям, то есть к Святой мессе. Надо сказать, что присутствие на ней отнюдь не ослабило моего изумления. Мы перешли в другое помещение – узкую комнату с затянутыми белой тканью стенами. Посреди стоял грубо сколоченный деревянный стол, накрытый обеденной скатертью, а над ним воз-

---

11 Отсылка к библейской притче (Матф., 20:1–16). В широком смысле "работниками последнего часа" в христианстве называют пророков, апостолов, мучеников, Отцов Церкви, религиозных философов и т.д.

вышался простой гладкий крест: это был алтарь. Служба началась, и вскоре я был невольно заворожен видом окружавших меня лиц: на всех было одно и то же экзальтированное, почти экстатическое выражение. Мирские одеяния собравшихся скрылись под балахонами из небеленого холста, которые, как мне показалось, символизировали подвенечные наряды.

Настоятель здешней церкви, горбун с восковым лицом, читал псалмы – стих за стихом, с глубоким волнением, от которого всё его тело охватывала дрожь. Казалось, он не читает текст, а пророчествует в лихорадочном бреду.

И, разумеется, весь этот маленький мирок свят – но его уверенность в том, что он один обладает истиной, придает ему такое самодовольство, такую претенциозность в стремлении отлучить, отторгнуть от себя всех тех, кто к нему не принадлежит, – что я начинаю ощущать почти физическое удушье. Что может быть невыносимее, чем эта елейная атмосфера, это скопление одинаково фанатичных лиц? Я едва удерживаюсь от того, чтобы взмолиться о пощаде, или распахнуть окна, или выбежать за дверь. Я мечтаю только об одном – поскорее оказаться на воздухе.

После службы начинается общая трапеза, состоящая из чая с сухариками. Обрадованный тем, что наконец-то все хоть немного расслабились, я пытаюсь выяснить, какую цель ставит перед собой это новоявленное братство. Полученный мною ответ сдобрен такой щедрой порцией иронии, что я лишь утверждаюсь в своем мнении о том, что цель у них одна: отделиться, обособиться от всех и вся, чтобы превозносить самих себя и обливать презрением остальных христиан и це-

лый мир – так презирает своего соседа, носящего шляпу, тот, кто считает за благо обходиться без нее. Когда я берусь за свою собственную, я окончательно превращаюсь для них в посмешище. Оно и к лучшему!

*

548

Я навестил по его просьбе одного художника, живущего уединенно неподалеку от меня в небольшом доме, из которого он сделал что-то вроде больницы или морга для старых вещей – хотя сам он предпочитает именовать его музеем. Здесь он собирает самые разные предметы, ветхие или сломанные, а также причудливые детали и обрывки непонятно чего, и окружает их заботой, словно священные реликвии. Здесь можно увидеть обломки игрушек, статуй, надгробных плит или алтарей, архитравов и колонн всех видов, целые коллекции карнавальных масок, париков, исторических костюмов, ветхие клочья дорогих тканей из далеких стран или знамен – как старинных, так и подобранных на полях недавних сражений. Здесь и там – букеты искусственных цветов или образчики редких минералов, соседствующие с разрозненными костями скелетов. Огромный выбор элементов и собственное искусство позволяют ему создавать удивительные композиции, чарующие, почти завораживающие, из этих случайных вещей, этих свидетелей былых эпох, этих осколков великой драмы, «драмы Жизни», которую, кажется, воссоздаешь перед собой столетия спустя, и которая сохранится навечно, даже после

того как будут стерты последние воспоминания о человеке и о земле.

Например, стоящий в окружении множества фарфоровых кукольных голов всех размеров гипсовый крест, в центре которого укреплены две соединенные полукругом кукольные ножки, служит подставкой для букета искусственных лилий с кружевными лепестками, обшитыми греческим тюлем. С потолка здесь и там свисают гирлянды разноцветных лампочек вперемешку с четками из граната и ляпис-лазури, и целые гроздья хрустальных подвесок, некогда украденных с венецианских люстр. Но все эти вещи не имеют почти ничего общего с собственными изображениями на фотографиях – вот где они раскрывают в полной мере и свой смысл, и отсутствие смысла, и сквозящий в каждой из них неповторимый оттенок своеобразного безумия.

Н. совершенно непринужденно занимается своей живописью в этой атмосфере. Он признался, что моделью для одной из его картин послужил один из тех деревянных или восковых бюстов, что назывались когда-то «симфорозами» – раньше их можно было увидеть в салонах модисток и в магазинах нижней одежды. Настоящее чудо было в том, что на картине эта образина улыбалась, как Эриния, готовая, впрочем, преобразиться в Эвмениду[12].

Н. отдает предпочтение картону перед холстом – вероятнее всего, из скромности. От этого с первого взгляда лица и пейзажи предстают бледными, тусклыми, и вы уже готовы разочаро-

---

12 Эринии – в древнегреческой мифологии богини мщения. Эвменидами (т.е. «Милостивыми») называли Эриний, проявлявших милость к раскаявшемуся преступнику.

ванно отвернуться, как вдруг замечаете какой-то необычный отблеск, потом еще один – и вот они всё множатся, по мере того как вы вглядываетесь в картину – до такой степени, что если прежде какая-то деталь казалась матовой, полностью лишенной блеска, то теперь она блестит и переливается, словно покрытая лаком, заставляя вас моргать от изумления.

Там, где вы прежде увидели зловещую сову, внезапно оживает райская птица. В мрачном обличье бледного, нездорового молодого человека вдруг проступает хрупкая утонченность Прекрасного Принца, которой так настойчиво искал Оскар Уайльд, в неверном свете отблесков ночной грозы.

*

Первые дни весны 1951 года.

Я останавливаюсь перед уличным газетным прилавком, за которым стоит моя любимая молоденькая продавщица – она хороша собой и ни на минуту об этом не забывает.

Солнце золотит газетные страницы, отблески света озаряют ее лицо, она вся сияет.

– Вы ослепительны! – говорю я от чистого сердца.

Она отвечает со столь же непритворной искренностью:

– …и ослеплена!

*

Когда я приблизился к Лувру, чтобы пересечь площадь и отправиться к Ришару Анакреону, я заметил впереди бесформенную расплывчатую фигуру. похожую одновременно на привидение и на огородное пугало. Ускорив шаги, я разглядел, что это женщина в невероятной шубе, сшитой из клочков самого разного меха: тут были каракуль и белка, опоссум и выдра. Поравнявшись с ней, я повернул голову. Ее лицо было со всех сторон окружено ворохом мешков и свертков, которые громоздились у нее за спиной или свисали с плеч.

Набравшись храбрости, я спросил:

– Эй, мадам, куда это вы собрались в таком виде?

(Я обожаю клошаров.)

– В Канаду! – ответила она пропитым голосом.

– А, тогда понятно, зачем вам шуба…

– Да, – отвечала она, – но вы знаете, месье, я не слишком тороплюсь. Если хотите, меня всегда можно найти в одном отеле, недалеко отсюда…

– Спасибо, я буду знать. Но, поскольку я не еду в Канаду, я, наоборот, тороплюсь…

Ничуть не смущаясь моим ответом, она продолжала:

– А как вы думаете, месье, там можно стать счастливым?

– Почему бы нет? Счастливым можно стать везде. Достаточно захотеть им быть, или поверить, что ты уже счастлив.

– Вы правы. Решено, я никуда не еду!

И пошла своей дорогой.

*

В автобусе, следующем от площади Мадлен к площади Бастилии, напротив меня развалился человек, чем-то похожий на Марселя Пруста – слегка оплывший, бледный, с тонкими усиками, в мягкой шляпе, сдвинутой на одно ухо, и огромными выпученными глазами, обведенными чернотой – такие до сих пор можно увидеть нарисованными на дне сувенирных ночных горшков.

Женщина, сидящая рядом с ним – его любовница, как я предположил, – одета с элегантностью начала века: плюмаж, боа, ботики на пуговках. (Или это его мать? Она выглядит старше него.)

Но что же за газету читает Марсель? Я слегка наклоняюсь, чтобы ее разглядеть. «Юманите»!

Альбертина, заметив мой излишний интерес к своему другу (или сыну?), слегка подталкивает его локтем и раздраженно шепчет:

– Еще один…

– …скользкий гад! – тут же добавляет он.

*

Сегодня утром я заставил Андре *Б.* посетить Нотр-Дам. Эти молодые люди устраивают пикники на соборных башнях – и даже не думают о том, чтобы войти в святилище!

Потом мы зашли в колбасную лавку и купили сосисок к обеду, а после, когда на пути у нас оказался цветочный рынок, я не мог удержаться, чтобы не познакомить Андре со своей любимой цветочницей, вылитой постаревшей Режан[13], единственной, которая продает настоящие сердцецветы, а

13 Знаменитая французская комедийная актриса (1856-1920)

не какие-то ужасные сорняки, пахнущие аптекой.

Сколько блеска и остроумия в речах этой славной женщины, сколько достоинства в ее манере кивать головой, сколько величия в каждом жесте! И особенно ее прическа и ее голос напоминают мне ту великую актрису, на которую она так похожа – комичную именно потому, что она никогда не смеялась, заставляющую вас смеяться на грани слез, сочетающую флегматичность и скрытую страсть.

– В сущности, – сказал мне *Б.* после этого знакомства, – под вашей хрупкой и уязвимой наружностью таится настоящий колосс – недаром вам так нравятся женщины-титаниды! Только они – единственные, кто вам под стать!

*

В метро я случайно услышал трогательный разговор двух мужчин, которые очень долго не виделись и вот теперь снова встретились – за четверть часа они рассказали друг другу всю свою жизнь. Но самой волнующей была их манера замолкать, опуская глаза, когда они случайно касались друг друга плечами.

Поскольку мое восхищенное внимание не могло не отразиться на моем лице, какой-то японец, сидящий напротив, в течение всей поездки смотрел на меня столь пристально, что, когда я встал и вышел на своей остановке, меня не покидало ощущение, что я грубо разорвал невидимые нити, связавшие за это время его и меня.

*

В это январское утро 1951 года в первом классе метро напротив меня села невозможная, невероятная, совершенно неправдоподобная женщина – ноги ее были скрещены чуть ли не под подбородком, юбка слишком коротка, чтобы не заметить комбинации, на плечах – норковое манто, на запястьях – браслеты столь же массивные, сколь и дорогие. Глаза газели на костистом лице алезанской кобылы, длинном, словно уходящим под золотистую гриву, пряди которой колыхались подобно водорослям. Что-то очень юное и вместе с тем древнее во всем облике. Что-то от Зверя Апокалипсиса.

Лишь когда она встала, собираясь выходить на площади Этуаль, и случайно задела рукой край своего шейного платка, я заметил на изнанке крупные инициалы (даже я смог их прочесть): «Ее Светлость *Y. de S. C. G.*» (весьма знатный род).

– Неужели еще существуют подобные создания? – потрясенно выдохнула рядом со мной какая-то мидинетка.

– Скоро они вымрут, как динозавры, – отозвался я. – И нам останется любоваться лишь на муравьев.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ

В 1948 году шестидесятилетний философ Марсель Жуандо познакомился с двадцатилетним солдатом Робером Коке. Их любовный роман продолжался 12 лет. В книге «Школа мальчиков» собраны письма Робера и поклонника Жуандо Анри Роде (1917–2004), раскрывающие тайны этой истории. Лишь после смерти Жуандо открылось, что письма Робера писал Анри, подстроивший встречу своего кумира с юношей.

Марсель Жуандо

НЕПРИСТОЙНЫЕ ПИСЬМА

Гетеросексуальность – это коммерция, индустрия; гомосексуальность – искусство. Древние греки запрещали гомосексуализм рабам. Что до меня, я хотел бы, чтобы он был дозволен лишь му-

дрецам.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишенные всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

Рене Кревель

ТРУДНАЯ СМЕРТЬ

В 1925 году на вопрос сюрреалистической анкеты о самоубийстве Рене Кревель ответил «Это, возможно, самый верный и совершенный выход». Пьер Дюмон, герой его знаменитого романа «Трудная смерть» (1926), тоже не находит другого выхода. Он страстно влюблен в американского композитора Артура Браггла, а тот делает вид, что

Пьер ему наскучил.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

ЛЮБИТЕЛЬ НЕОСТОРОЖНОСТИ

«Липсе сидел на обочине дороги, видом и облачением подобный ангелу. Земля была нежной, как ласка, и неподвижная улыбка моего друга меня успокоила. Я прижался головой к его сердцу. И тут же его руки превратились в огромный волшебный лес, где я увидел странных птиц и огненных хищников – львов и тигров, которые смотрели на меня с любовью и восхищением, словно я был местным божеством. Я позвал Липсе, и лес ответил мне его шепотом; каждый листок знал мое имя».

Хьюберт Селби

БЕС

Гарри Уайт надеется разбогатеть, сделать карьеру, жить с очаровательной женой и милыми детьми в большом доме. Всё это ему удается, но темная сила не позволяет Гарри насладиться достигнутым. Благополучный менеджер одержим запретными желаниями: он жаждет совокупляться, воровать, убивать!

Издательства Kolonna Publications и Митин

Журнал представляют

Гертруда Стайн

ИДА

10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал отречение от престола ради того, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Известие об этом стало мировой сенсацией. История британского короля и его возлюбленной привлекла внимание Гертруды Стайн. Она решила написать роман «Ида», героиней которого стала бы Уоллис Симпсон. Но постепенно замысел книги менялся. Ида все меньше походила на герцогиню Виндзорскую. Она путешествовала по Америке, перебираясь из одного штата в другой, заводила собак, встречала разнообразных мужчин, порой выходила замуж и наконец обрела Эндрю, своего короля.

Эрве Гибер

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС

„Цитомегаловирус “ был опубликован в январе 1992 года, всего через несколько недель после смерти Эрве Гибера в больнице, куда его доставили из-за попытки самоубийства. „Слова побеждают все!“, – говорил писатель. Его дневник это подтверждает.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

Я И МОЙ ЛАКЕЙ

Очень странные ощущения, когда открываешь посреди ночи глаза и видишь стоящего рядом лакея – в домашнем халате или пижаме, которую я носил, когда был молод, или же голого, с накинутой на плечи меховой шубой, которую я заказал себе, когда ездил в Москву, – лакей смотрит во мраке, не говоря ни слова, сверля меня взглядом поблескивающих желтых глаз.

Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

МОИ РОДИТЕЛИ

Почему двоюродная бабка Луиза перевернула вверх дном квартиру своей сестры Сюзанны? Какие документы она пыталась отыскать, и что было в сожженных письмах? Правда ли,

что в них говорилось о постыдном проступке матери Эрве Гибера? Зачем его отец срочно покинул Ниццу, бросив свой ветеринарный кабинет, парусник, зеленый форд, двух лошадей и невесту? К какому шантажу прибегают родители маленького Эрве, дабы заполучить семейные реликвии? И где спрятано золото, которое то закапывают, то выкапывают, не в силах расстаться с ним? – Для родителей нет ничего страшнее неудержимой тяги сына к поискам истины.

Эрве Гибер
ГАНГСТЕРЫ

Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом смерти. Критик газеты Le Monde назвал эту книгу «трактатом о боли».

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер
ПОРОК

Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста, открывая для себя видения и страхи писателя и фотографа. Книга, задуманная и написанная в конце 70-х годов, была опубликована незадолго до смерти писате-

ля.

Эрве Гибер

ПРИЧУДЫ АРТУРА

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

СМЕРТЬ НАПОКАЗ

Язык и член – полны жизни – оголены, у них нет кожи. Язык – говорит, мокнет в слюне, ест, сосет, входит внутрь и выходит. Член – его едят, он сам ест и льет свое семя. Излияния слов, слюны, спермы. Гомосексуальное тело – анально-фаллическое письмо. Именно тело, конечно же, говорит, пишет, исследуя себя и вписывая себя в текст. Устраивает представления, впадает в истерику, занимается садомазохизмом. Говорит о желании и оргазмах. Раскрывается, рвется, буравится. Описывает свои органы и заставляет играть их, словно музыкальные инструменты. Состоять в садомазохистских отношениях с письмом, – по-

средством его – вскрывать, препарировать собственно тело и препарировать самое письмо.

Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персонажами, меняющими имена и предстающими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Катрин Колом

ДУХИ ЗЕМЛИ

Древние волны потихоньку разрушают стены замков, деревья плетут заговор, лесные существа, боящиеся света, обступают деревню плотным кольцом, ядовитые пауки бегут с берегов озера на террасы, черви заползают в желудки, и дети-призраки, играющие на зеленых трубах, вот-вот найдут звук, точный, вражеский, от которого дома и церкви рассыпятся до основания.

Кэти Акер

ЭВРИДИКА В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ

Главными темами текстов, собранных в этой книге, – от исповеди «Политика» (1972), написанной, когда Кэти Акер работала в секс-шоу на 42-ой улице в Нью-Йорке, до драмы «Эвридика в подземном царстве» (1997), завершенной незадолго до смерти писательницы от неизлечимой болезни, –

остаются чувственность, язык, насилие, принуждение, власть. Письмо, безумие, власть, насилие, тело. Чувственность, язык, тело, власть, безумие.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Гертруда Стайн

АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, когда я могу рассказать историю моей жизни». Стайн подробно рассказывает о своей юности, об отношениях с братом. Но особенно ее волнует трансформация собственной личности, случившаяся после выхода «Автобиографии Элис Б. Токлас». Детально описана поездка в США, перемены, происшедшие с Америкой за тридцатилетнее отсутствие Стайн. «Автобиографию каждого» Стайн заключает словами: «Быть может, я – это не я, даже если меня не укусит собака моя, но, так или иначе, мне нравится то, что у меня есть, а сейчас – сегодня».

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Герард Реве

ПО ДОРОГЕ К КОНЦУ

Романы в письмах Герарда Реве (1923–2006) стали настоящей сенсацией. Никто еще из голландских писателей не решался так откровенно говорить о себе, своих страстях и тайнах. Перед выходом первой книги, «По дороге к концу» (1963) Реве публично признался в своей гомосексуальности. Второй роман в письмах, «Ближе к Тебе», сделал Реве знаменитым. За пассаж, в котором он описывает пришествие Иисуса Христа в виде серого Осла, с которым автор хотел бы совокупиться, Реве был обвинен в богохульстве, а сенатор Алгра подал на него в суд. На так называемом «Ослином процессе» Реве защищался сам, написав блестящую речь, и все обвинения с него были сняты. Две книги, впервые публикующиеся в русском переводе, сыграли в жизни Герарда Реве решающую роль и стали подлинным событием литературы XX столетия.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Йозеф Вахал

КРОВАВЫЙ РОМАН

Созданный прямо в типографском наборе без рукописи «Кровавый роман» – литературный памятник, которому нет аналогов. Его можно воспринимать, как образчик автоматического письма, которое проповедовали сюрреалисты, как постмодернистский коллаж, пародию, произведение книгопечатного искусства, а можно просто читать как приключенческий роман.

Хуан Гойтисоло

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

Образ репья, растоптанного сапогами российских солдат, сначала отправленных воевать в Чечню царем, потом Ельциным, потом Путиным – часто возникает в моей повести, я пишу об абсурдности и нескончаемости варварства. Зверства побеждают прогресс, в этом смысле в обществе немногое меняется, а жестокости гражданской войны в Испании повторяются во всех войнах. Возможно, нас следует назвать бесчеловечной расой?

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Александр Ильянен

БУТИК VANITY

Светящееся здание «Бутика Vanity» теперь открыто для посещения. Пустующие этажи романа-

с-ключом и романа-без-вранья, нового романа и петербургской повести Александр Ильянен заполняет прозой высокой концентрации, прекрасной ясности, хирургической точности – и давно забытого образца. Чтобы оценить возможности этой эфирной скорописи, не нужны навыки дешифровщика: так мог бы писать какой-нибудь пушкин-007 – обезьяна, тигр и француз в одном прозрачном флаконе. Книга удостоена премии Андрея Белого за 2007 год.

Джордж Сильвестр Вирек

ДОМ ВАМПИРА

Первый американский декадент Джордж Сильвестр Вирек (1884–1962) впервые приходит к русскому читателю с романом «Дом вампира» (1907). В книгу включены записи разговоров Вирека с Адольфом Гитлером, Зигмундом Фрейдом, Магнусом Хиршфельдом, материалы о его отношениях с лордом Альфредом Дугласом и Алистером Кроули.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эдвард Морган Форстер

ФАРОС И ФАРИЛЛОН

Британский писатель Эдвард Морган Форстер (1879–1970) был одним из создателей «александрийского мифа» XX века. Его усилиями египетский город, живущий торговлей «хлопком, луком и яйцами», в котором, казалось бы, не осталось ничего от города Александра, Клеопатры и Анти-

ноя, превратился в одну из важных тем европейской литературы. Форстер разглядел в скучной улице Розетт, безуспешно пытающейся подражать парижским бульварам, Канопскую дорогу города Александра Великого, а в обитателях городского дна – персонажей александрийской поэзии.

Джеймс Парди

Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ

Престарелая, но прекрасная наследница нефтяного состояния уговаривает истекающего кровью чернокожего юношу следить за объектом ее желаний – девяностолетним Илайджей Трашем, актером ослепительной красоты. Однако ветреный Илайджа любит только одно существо – своего немого правнука. Впервые на русском языке – сюрреалистический роман великого американского прозаика.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Жиль Себан

ДОМОДОССОЛА. САМОУБИЙСТВО ЖАНА ЖЕНЕ

Жизнь Жене напоминает комическую сценку, душераздирающую и наводящую ужас, – что-то вроде циркового номера, по окончании которого клоуны выходят за ограду шапито, влезают в автофургон и с фатальным лязгом захлопывают двери, а затем, даже не сняв грим, нажимают на курок и вышибают себе мозги.

Ладислав Клима

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ

Пятеро гимназистов, сдав экзамены на аттестат зрелости, встречаются в пивной, и каждый провозглашает свой жизненный идеал. Один клянется посвятить жизнь науке, другой – женщинам, третий видит смысл жизни в деньгах, четвертый наблюдает в себе ростки поэтической гениальности. А пятый – по имени Нездешний – утверждает, что эти мечты и идеалы не стоят и ломаного гроша - как и весь земной мир с его «добродетелями» и «ценностями». И именно его пророчества сбываются спустя 30 лет...

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Герард Реве

ПИСЬМА СИМОНУ К.

Единственное – это Искусство. Я имею в виду, это единственное, что дает удовлетворение. Телесная любовь, вино, – они подавляют всё. Искусство дает опору ввиду своей полнейшей никчемности. И Церковь, конечно, покуда она не имеет смысла и не ввязывается в общественные перебранки, в которых до сих пор с безошибочной уверенностью отдавала предпочтение убийцам, гангстерам и черни.